

1

АРТИКУЛЬ 1

АРТЛІКЛЪ



№ 1

2016

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Дина Рубина. Туман.....	3
Анна Файн. Зеркало времени.....	38
Алина Загорская. Уроныч.....	57
Марта Кетро. Между временем.....	65
Афанасий Мамедов. Пароход Бабелон.....	77
Григорий Розенберг. Перед Йом Кипур.....	122
Давид Маркиш. Священник Коган.....	137
Яков Шехтер. Несносный праведник.....	142

ПОЭЗИЯ

Катя Капович. В темечке темнеет раньше.....	148
Юлия Новикова. Дело наше – сторона.....	152
Ирина Маулер. Выйду замуж за город.....	154
Феликс Чечик. Парный носок.....	160
Борис Херсонский. Два Илии.....	165
Михаил Сипер. Не транзит сик.....	169
Александр Елин. Из цикла “Совы”.....	173
Ханох Дашевский. Переводы с иврита.....	181

НОНФИКШЕН

Игорь Губерман. Заметки вдоль текущей жизни.....	189
Давид Шехтер. Шарон, каким я его запомню.....	208
Михаил Сидоров. Комплекс Измаила.....	219
Яков Нелькин. Тупая игла.....	234
Эдуард Бормашенко. У единицы.....	241
Денис Соболев. “Закат гуманизма” и литература сегодня.....	246
СТИХИ И СТРУНЫ.....	268

ПРОЗА

Дина Рубина

ТУМАН

1

Нежно застрекотал будильник: первая, обреченная на провал, попытка воскрешения Лазаря.

Сейчас стрекот перейдет в перетаптывание трех звоночков – такое *до-ми-соль* в ближний к тумбочке висок... Но и это еще не пытка. После инквизиторского арпеджио грянет подлый канкан, а вот до этого доводить уже не...

– Арка!.. Я улетела через три минуты!

Он выпростал из-под одеяла руку и на ощупь раздавил ненавистную кнопку.

– Ты когда это вчера явился? – спросила Надежда, навешивая перед зеркалом на свитер несколько рядов бедуинских бус. Она любила крупные броские восточные украшения, от которых его воротило. Иногда он говорил ей: «Ну что ты бренчишь монистами, как пятая жена хромого бедуина?»

Странно, что он еще не стал мизантропом с этой проклятой жизнью...

– Часа в четыре...

– Опять что-нибудь *веселенькое*?

– Она остановилась в одном сапоге у двери. Второй в руках. Все еще лежа, Аркадий через дверь спальни разглядывал жену. Наконец, рывком откинул одеяло и спустил ноги. Здравствуй новый день, как бы тебя прожить.

– Да, самоубийство. Девушка покончила с собой, и очень странно это проделала... Ну, ты только не трепись там в своей аптеке. Ничего еще неизвестно...

– Это кто... где?

Кажется, Надежда забыла, что собиралась «улетать» три минуты назад.

Аркадий молчал: ожесточенно скалясь, чистил в ванной зубы, и она дожидалась, когда он сплюнет.

– Ты, может, помнишь, – такой пожилой полицейский, Валид... мы с ним столкнулись в Акко, в порту, после пикника на прошлый Юлькин день рождения.

– Не помню, – сказала она. – А что?

– Вот его дочь. Старшая, незамужняя... Девушка-то она относительно, ей лет тридцать пять было... Есть еще младшая, теперь сможет выйти замуж. У них же младшая раньше старшей выскочить ни-ни...

– Ну, и что? – спросила Надежда, заранее раздражаясь. – Ты-то чего переживаешь? Прикончили они ее, что ли?

Он посмотрел в окно и ахнул: стена тумана – буквально, словно кто в двадцати сантиметрах от дома выставил глухой серый щит. Круглый фонарь у балкона укутан в вату и похож на яблоко «белый налив».

– Это как же я сегодня поеду? – спросил сам себя Аркадий. – А? Что ты сказала? Прикончили? Похоже на то...

– О-ос-с-пади! – воскликнула Надежда в проеме уже отворенной двери. – И стоит, качаясь, тонкая рябина! Ты ж сам говорил, что таких дел тьма-тьмушая – они своих баб, как мух, дают, режут и жгут! Ну и что теперь?

– Ладно, топай, опоздаешь... – буркнул он.

Надежда любила пройтись по его «нежной психике», с которой музыку вундеркиндам преподавать, а не с обгорелыми трупами возиться.

– Постой... – Она даже порог переступила обратно, в квартиру. – А ты разве имеешь право его допрашивать? Ты же говорил – дела, связанные с полицейскими, передают в Министерство юстиции?

– Надь! – крикнул он весело, натягивая свитер. – Бросай клизмы продавать, идем ко мне в следственную группу! Ты так законы знаешь, даже завидно.

Она хлопнула дверью.

Все, надо уже ехать к ежедневному селекторному совещанию, тем более, что пробираться в зимнем тумане придется на ощупь.

Но он все медлил... еще пять блаженных минут... Чашка кофе на своей кухне...

Надька-то молодец, вечная отличница, железная память. Да, скорее всего, дело передадут в Минюст. Но на этапе предварительного следствия попотеть придется именно ему, то есть его группе, отнюдь не великой. Цфат – город маленький: он сам да два сержанта-следователя – вот и вся могучая интеллектуальная наличность.

На столе лежала книга, которую уже дней пять с увлечением мусолила дочь – «Ведьмы и колдуны». Завлекательное название.

Допивая кофе, он брезгливо пододвинул к себе этот шедевр с бородатым старцем шамановатого вида на глянцевой обложке. Открыл оглавление: да-да... «Черная месса»... «Пламя сатанизма»... «Охота на ведьм»... – очень, очень хорошо! Выпороть безжалостно, вот что надо сделать с этой четырнадцатилетней ведьмой, у которой, если не ошибаюсь, там какой-то должок по математике.

Он пролистнул наугад две-три страницы: все ясно, обычный мусоросборник, куда валом накинаны статейки из какой-нибудь смоленской газетки «Русич» вперемешку со статьями из научных журналов. Так-так... «Охота на ведьм в западноевропейских странах». Господи, зачем это ребенку? Что она в этом находит? «...В Брауншвейге было воздвигнуто столько костров на площади казни, что современники сравнивали это место с сосновым лесом. В течение 1590—1600 гг. были дни, когда сжигали по 10—12 ведьм в день. Магистрат города Нейссе соорудил особую печь, в которой в течение 9 лет были сожжены более тысячи ведьм: среди них и дети в возрасте от 2 до 4 лет... В свободном имперском городе Линдгейме 1631—1661 годы замечательны особенно жестокими преследованиями. Подозреваемых женщин бросали в ямы, “башни ведьм”, и пытали до тех пор, пока...»

Захлопнул книгу. Поднялся, стал натягивать и шнуровать ботинки...

И пока надевал форменную куртку, выходил из подъезда в сырую вату зимнего утра, включал «дворники», разогревал мотор... перед глазами всплывали картинки вчерашней ночи, словно выныривая из кисельного тумана.

Просторный, пустоватый и чисто прибранный дом Валида – фотографии старцев в золоченых багетных рамах на стенах... Посреди большой парадной комнаты на первом этаже – печь-буржуйка с целым набором медных джезв; самая малая, с потеками сбежавшего кофе, еще остывает.

Валид с сыном сидели в разных углах дивана, безучастные к появлению в доме все новых лиц, грозно-замкнутые, как и полагается: *мужчины в горе*.

Умершая лежала в комнате на втором этаже, в своей кровати, укрытая одеялом под подбородок. Высокий ворот зеленого свитера придавал мертвому лицу землистую желтизну.

Заплаканная младшая сестра, в длинной галабии и белом платке, запахнувшим нижнюю часть лица, сидела, сгорбившись в кресле, искоса послеживая за странными челночными передвижениями следователя по комнате.

– Значит, вчера еще была здорова? – в третий раз уточнил Аркадий.

Та опять дежурно взывала. Он переждал, терпеливо и сострадательно глядя на девушку. Из-за этого платка, стершего губы и подбородок, ее большие красивые глаза чем-то напоминали часыходики в подмосковном доме бабы Кати, под которыми он проспал все летнее детство.

Жива-здорова, жива-здорова, горячо подтвердила она. Только печальна... Все говорила, что ей жить надоело, и просила последить за нею, а то чувствует, что может покончить с собой.

Аркадий совершил по комнате бог знает какой по счету круг, опять остановился напротив девушки.

– Что ж ты не следила? – спросил он участливо.

– Я следила-следила, а потом заснула... – ответила та. – Просыпаюсь утром – а она мертвая.

Ага, вот почему эти глаза напоминают ходики: девушка все время держит в поле зрения Варду, которая сейчас растеклась телесами в соседнем кресле и, кажется, не прочь вздремнуть. Господи, дождется ли он ее ухода на пенсию в будущем году, чтобы вытребовать себе какого-нибудь шустрого парнишку и гонять его в хвост и в гриву, а не мотаться везде самому! В последние годы он жалел предпенсионную Варду и не дергал ее попусту. Что уж говорить, старушка накатала уважительную биографию; тридцать лет на одном месте. Кстати, у нее неплохая интуиция и поразитель-

тельная бабская память на тряпки – может без запинки сказать, во что ты был одет, когда в прошлом году случайно столкнулся с ней в супермаркете. Однажды это сыграло-таки свою роль в расследовании безнадежного дела, и Варда заботилась, чтобы никто и никогда этого не забыл. Таким образом, толстуха стала живой легендой еще до ухода на пенсию. Напрочь отсутствуют у нее только мозги. Однако сейчас она необходима, хоть и дремлющая: Валид с сыном – даже и растерянные, даже и парализованные неожиданным для них столпотворением в доме – ни за что не допустили бы уединения его, мужчины, с девушкой.

Он еще потоптался в комнате, дожидаясь вызванной им мобильной криминалистической лаборатории. Несколько раз останавливался и смотрел на изможденное каким-то тягучим страданием желтое лицо покойной... Казалось, нечеловеческая мука прочно угнездилась в этом теле, уже покинутом душой, и продолжает раздирать добычу.

Отвернулся и вышел на галерею, опоясывающую весь второй этаж.

Деревня погружалась в сон...

Лезвие новенького месяца на поверхности небесной глубины и крошечная неподалеку от него звезда казались фрагментами чьего-то лица, частью закрытого, – скажем, бровь и родинка на щеке. Сюда несло запахом навоза и дыма, во дворе отрывисто лаял пес, и где-то выше на горе постреливали с крыш: видать, кто-то что-то праздновал – *они* никогда не упускают возможности показать, что в доме есть оружие.

Аркадий достал из пачки сигарету, закурил.

В комнате за его спиной уже работал приехавший с лабораторией Рон Деген; на галерею невнятно доносился его спокойный голос – Рон беседовал с Вардой. У этих патологоанатомов, подумал Аркадий, всегда такое ровное настроение и такие уютные голоса, будто не жмуриков они потрошат, а орхидеи выращивают. Особенно Рон – никогда не повысит тона. Однако интересно, что он скажет об этом случае.

Опытный специалист, Рон обычно на глаз определял, надо ли забирать тело на вскрытие. Ибо это всегда означало – скандал.

Ни один из живущих здесь народов, ни одна из многочисленных национальных групп не любили отдавать своих покойников на

вскрытие. Нужны были чрезвычайные обстоятельства. Вон ультраортодоксальные евреи – те и вовсе, черт те что вытворяют, чтобы вскрытия избежать: крадут тела родных из морга, из больниц. Само по себе это еще не означает ничего подозрительного.

К тому же, семья была не чужой: и Валид, и его сын Салах жили в полиции...

У сына странные прозрачные глаза – травянисто-зеленые, красивые, но с еле приметной раскосиной; впечатление, будто смотрит сквозь тебя. Да еще под левым глазом дергается желвак, точно он подмигивает кому-то за твоей спиной.

Говорят, умершая сестра вынянчила его с младенчества – мать рано скончалась. Так что эта была ему как мать. То-то линейная патрульная служба, вызванная «скорой», решила не мусолить дело, закрыть глаза – мол, семейная драма, к чему людям в душу лезть? И только въедливый Давид, везде и во всем подозревающий противоестественную смерть, настоял вызвать следователя.

Вот его-то мы и вытребуем себе вместо Варды. А что? Послать на курсы переквалификации... Парень с мозгами и принципами... Характер, правда, заядлый. Ничего, ничего... столкнется.

Теперь предстояло самое неприятное: заставить родственников подписать бланк на разрешение вскрытия.

А может, бог с ним, с этим семейным делом, подумал он... Род приходит и род уходит, и ничего не меняется в этих деревнях с их вековым укладом, сиди здесь наместник Османской империи, британский комиссар или начальник следственной группы полиции Израиля. Покончила девушка с собой, или ей помогли родственники... а не исключено, что и жертва и палачи слились в этом высоком деянии... Можно, конечно, пуститься в опасные дебри под названием «восстановление семейной чести» и, все вокруг разворотив, посчитать себя вершителем справедливости. Но никто из полутора тысяч живущих в деревне мужчин и женщин не почувствует жертве и не поблагодарит полицию. Наоборот!

Однако интересно – что же натворила эта несчастная...

На галерею вышел Рон, оперся рядом на перила и негромко проговорил:

– А на шее-то у нее – странгуляционная борозда.

Аркадий затаился последний раз сигаретой, придавил окурки о балясину каменных перил и отщелкнул вниз.

– Будем забирать, – сказал он.

Оглянулся на дверь в комнату, освещенную ярким светом пятаковой люстры, отсюда, из темноты ночи, похожую на сцену. Там, по-прежнему страдальчески подняв брови над озорными глазками, сидела в кресле младшая дочь Валида.

– Здесь подожди, – сказал Аркадий, проходя мимо Варды, – я сам попытаюсь, по-хорошему... Они оба с пушками.

* * *

Всю неделю влажная муть носилась над горами Галилеи, ошметками облаков цепляясь за щетину хвойных лесов. Затем три дня подряд выпали ясными, земля запарила, задышала... С высоты Цфата озеро Кинерет, море Галилейское, казалось выпуклой продолговатой линзой. С такой точки обзора становилось совершенно очевидным, что земля круглая.

По склонам глубоких лощин кое-где стелился бело-розовый дымок, будто кто-то печет картошку; это просто зацвел миндаль.

Но к началу новой недели хлынули дожди и опять забыли за собой прибраться: все висело и висело в воздухе дырявые пары... Не рассеивались.

В понедельник пришли результаты вскрытия из института судебной экспертизы, в просторечии именуемом «Абу-Кабир», поскольку находился он рядом со знаменитым следственным изолятором того же названия.

Аркадий смотрел на голый колючий куст бугенвиллии за стеклом. Летом пышный и рдьяный – мельком глянешь в окно, и такой глазу праздник! – сейчас он сиротливо дрожал на ветру, протыкая длинными колючками туманную вату.

Томительные зависания пауз, робкие всхлипы, одинокие потерянные созвучия: Дебюсси, этюды – вот что такое этот долгий туман. Этюды Дебюсси, которые так любил покойный Станислав Борисыч...

Он опустил глаза к стандартным бланкам, перечитал. Пробегал по столу быстрыми пальцами...

Он скучал по инструменту, к которому жизнь проклятая не подпускала ни на минуту, и часто проигрывал какой-нибудь пассаж на любой, что под руку попадалась, поверхности. Этюд Дебюсси он играл на панихиде по любимому профессору, в большом зале консерватории, где обычно выставляли гроб для прощания...

Почему, почему именно в периоды зимнего тумана особенно часто вспоминался Станислав Борисыч?

Он почесал ручкой за ухом...

Согласно результатам экспертизы, господа мои хорошие, девушка (он мысленно называл ее «старой девушкой») вовсе не была накануне «жива-здорова-жива-здорова»... а умирала четверо суток – страшно и мучительно. Это ж любо-дорого, что понаписали тут наши друзья из «Абу-Кабира»: и паралич дыхательной системы, и сожженный пищевод – увлекательная повесть, черт бы вас всех драл. Главное, смерть от инфаркта – видимо, не вынесла страданий.

Он вспомнил конвульсивный желвак под глазом у Салаха, окаменелые скулы отца, заплаканное, но омытое ожиданием лицо младшей, смазливой сестренки.

Старшая-то была нехороша – черты угловатые, нос длинен. Впрочем, при жизни, наверное, все это как-то смягчалось женским обаянием.

Н-да... экспертиза ядов здесь вообще вопрос вопросов. Специалисты раз, два и... действительно, раз и два: один русский, другой аргентинец – два веселых гуся. Работа адова, каждый следователь умоляет ускорить результаты. Да и результаты, мягко говоря, неоднозначны.

В нашем случае: за четверо суток яд в организме успел рассосаться. Поди докажи – чем ее отравили... Теперь надо исхитриться, извернуться в тесном бюджете, выкроить средства и послать *ткани* на экспертизу в Лондон, в FFS – удовольствие не из дешевых, что уж говорить – все-таки частная коммерческая фирма, эта замечательная лаборатория...

К полудню серая мгла не то чтоб поредела, но как-то двинулась, зашевелилась... потекла киселем.

Из окна щитового домика, где размещалось полицейское управление, открылся склон ближней горы с ржавыми рядами низких, голых по зиме виноградников.

Немного просветлел и повеселел воздух, и в серебристой зыби возникли очертания домов, минарета, башни отеля; мощными гренадерами встали и задышали по краям дороги голубые атлантические ели, которые в детстве он знал «кремлевскими», а встретив в горах Галилеи, ахнул и остался здесь жить. Хотя уже не раз на работе ему предлагали перейти в Центральный округ.

Но он любил старый Цфат, крутую гору, где каменные ступени либо уходят в небо, либо обрываются в никуда; где скворечники пяти-, семи- и девятиэтажных домов словно прибиты к скале чьей-то могучей рукой и – глянешь с дороги снизу – как бы висят в воздухе. Где огромные, кокардами, фонари в сумерках наливаются желтым медом, а решетки балконов, ставни, притолоки и даже каменные заборы горожане красят в голубой и синий, что, как известно, отпугивает от жилья демонов, диббуков и привидений.

Здесь на каждом шагу встречались цветные шероховатые стекла. Их вставляли в окна, двери, решетчатые ограды; взгляд там и тут умилялся всем оттенкам синего, красного, фиолетового, зеленого и желтого. А если поутру проснуться в таком вот старом доме, когда в высоком арочном окне вспыхнет перезвон красного с солнечно-желтым – в тебе всеми духовыми и медными так и грянет неумное счастье: ты проснулся в раю, прозрачном, многоцветном, горнем раю!..

Но до лета еще далеко.

По дороге домой он сделал крюк, чтобы проехать любимой голубой аллеей атлантических елей. Это всегда поднимало ему настроение...

Зима в горах... – была книжка с таким названием, прочитанная в юности. Автор – Уэйн, кажется. Там тоже герой все кого-то ищет, и бродит, бродит в тумане...

Дома уже была Юлька, дочь. Валялась на диване и читала книгу. А ведь восьмой класс, между прочим, довольно сложная программа...

– Ой, папа! – обрадовалась. Отец нечасто заруливал среди дня.

– Я на полчасика, – сказал он. – Доча, сооруди быстренько что-нибудь пожарить!

– Можно борщ погреть... – задумчиво сказала она, переворачивая книгу брюхом на диван.

– Не корейж книгу, сколько раз и так далее?!

– Пап... поставь сам кастрюлю на огонь, ладно? Мне тут дочитать полстраницы...

Не снимая ботинок, Аркадий зашел в кухню, вытянул, чертыхаясь, из холодильника мерзлую кастрюлю, локтем подхватывая баночки, которые при этом посыпались с полки... Поставил кастрюлю на газ, подумал – а стоит ли на полчаса снимать ботинки? И не снял.

Ели они молча – отец думал о своем, девица дочитывала главу.

Когда она вскочила к телефону, Аркадий повернул к себе обложку: тыфу! – все те же «Ведьмы и колдуны».

Вот тут бы и провести назидательную беседу, но Юлька все трещала с подругой, а уже пора убегать. Так и ушел под хохотливые дочкины рулады. Интересно, как это грассирующее «рейш» в ее иврите мгновенно уступает в русском твердому «эр». И происходят ли какие-то изменения в строении гортани у двуязычных детей?... Вот бы чем заняться, а не искать следов яда во внутренностях убитой – да, убитой, и он это докажет! – женщины.

Он вышел из подъезда, сел в машину и поехал на работу. Сегодня надо еще переделать кучу дел. Съездить в суд, обсудить с ребятами бюджетные проблемы, провести следственный эксперимент с этим молодым джазистом, «случайно» убившим соседа. Написать запрос в криминалистическую лабораторию в Лондон... И не забыть бы: один из двух его следователей, Йони, хотел, чтобы Аркадий сам допросил того психа или косящего под психа владельца фалафельной, который заманивал школьников в заднюю комнату и демонстрировал разные картинки, за которые ему бы оторвать именно то, что он демонстрировал... Главное, на допросах псих тарачил дикие глаза-сливины и, устремясь грудью через стол, таинственным шепотом кричал, что получал эти картинки приказом, факсом – в спичечный коробок!

Вдруг он решил проехать через деревню. Глянуть только, что да как, – сказал себе.

Часто и сам не мог он объяснить, зачем совершает те или иные необязательные поступки, которые, к тому же, отнимают время, и

без того скукоженное до пяти сигареток в день. Совершал их... не «по наитию» – терпеть не мог это дамское словцо, – а вследствие некоторого музыкального образования. Перед глазами вдруг возникла клавиатура «Бехштейна» в его родной аудитории номер 24, когда, бывало, перед уроком композиции почти вслепую нащупываешь созвучия: там тронул, здесь трепыхнулась триоль в верхнем регистре... тут левая поддержала аккордом... и вдруг рождается нечто вроде мелодии, или – как говорил покойный Станислав Борисыч – свежая музыкальная мысль...

Так вот она, свежая музыкальная мысль: пройтись по деревне, заглянуть в стекляшку-забегаловку неподалеку от дома Валида... Поглазеть вокруг... Заодно и поесть, в самом деле! – этим Надеждиным овощным борщом никогда он не наедался.

– Питу и *лабанэ* побольше, – сказал он парню за прилавком. – И *заатар* не жалеи! Давай, давай, сыпани еще!

Тот белозубо улыбнулся, зачерпнул ложкой *лабанэ* – нечто вроде сметаны, чуть более терпкий вкус, – размазал щедро по поверхности большой *лафы* – друзской питы, не полой, а похожей скорее на лаваш, выпекаемой на чугунной, выгнутой шатром печке. Движением сеятеля разбросал по белому полю темно-зеленую, с зернышками сезама, пудру *заатара*, пахучей приправы. Круговым движением кисти выдавил из резинового носика бутылки густую струю зеленого золота – деревенского оливкового масла. И закатал *лафу* в рулон.

Аркадий потянул зубами пружинистую мякоть... Вкусно!

За все эти годы он привык к здешней еде, и в последнее время, оказываясь за границей, очень по ней скучал, в ресторанах брюзжал и критиковал изыски французской и итальянской кухонь. Вообще эти полтора десятка лет, проведенные «между земель», среди гор Галилеи, в бесконечных разъездах от одной арабской деревни до другой, друзской или черкесской, не то чтобы изменили, но как-то загустили, заквасили все его существо, как зимой заквашен здешний воздух створоченным туманом.

Сидя у стеклянной стенки, заляпанной снаружи сохлыми брызгами грязи, он наблюдал типичную деревенскую улицу – насколько позволяла ее видеть клочковатая муть, – восходящую в горку, кризую и узкую, где трудно разминуться двум легковушкам. Как раз

сейчас две машины тяжело протирались боками, водители сигналили, яростно жестикулируя и ругаясь...

– Это не Валид там, в машине? – лениво спросил Аркадий, кивая на дорогу.

Разумеется, не было никакого Валида в машине. Уже дней пять они с сыном сидели в следственном изоляторе. Аркадий сам допрашивал обоих. Без особого успеха. Оба твердо держались своего: увы, Джамиля покончила с собой. Она вообще склонна была грустить, бедная, такая уж родилась. Вот и покойная мать ее... Одним словом – семейное дело...

Сегодня истекает последний день, когда по закону можно удерживать подследственного за решеткой. Завтра он вынужден отпустить их домой за отсутствием доказательств, то есть признать себя побежденным. Доказательств чего? – спросил он себя, хмыкнув. Что девушку заставили сначала вешаться, а потом напоили сельскохозяйственной – так предполагают ребята из лаборатории – отравой? А если она и вправду сама решила сжить себя со свету подобным неэлегантным способом?

– Нет, – сказал парень, бросив взгляд в белесоватое марево за стеклом, словно там можно было разглядеть что-то определенное. – У Валида, во-первых, серая «субару»...

Что там во-вторых, он не договорил, прикусил язык. Тем более что из кухонного закутка вышел старик в галабие и белом платке, обернутом вокруг головы на женский манер. Справа материя обегала оттопыренное волосатое ухо. Старик держал в руке красный нектарин и маленьким ножиком спускал с него алую ленточку кожур.

– Валид... – вздохнул он... – Валид...

И так был живописен в темно-синей галабие, в белоснежном платке на голове и плечах, с пышными, перечного цвета усами и с красным светящимся плодом в руке.

Аркадий залюбовался.

– Болен совсем Валид... – наконец проговорил старик. Молодой быстро глянул на него, не повернув головы, только глаза скосив.

– Болен? – Аркадий огорченно и уважительно покачал головой. – А мне кажется, я его видел не так давно.

– Болен-болен... – Старик вырезал из нектарина аккуратный красный сегмент и на острие короткого ножика отправил его в рот.

Неторопливо прожевал и принялся вырезать следующий кусок. – Сердце у него больное. В прошлую среду приступ был. Мой племянник – он врач – смотрел Валида, говорил: поедem в больницу!.. Не захотел!

Аркадий глядел на старика... Похоже, это было правдой. Скрывать они могут все, но придумывать детали, присочинять племянника-врача! Вряд ли... Тогда что же получается, друзья мои? Если врач в прошлую среду смотрел пациента у того дома... а смерть старой девушки наступила... та-а-к... минус четыре дня... вот и выходит, что врач осматривал Валида в то время, как наверху мучительно умирала дочь!

Ну что ж, это вполне свежая музыкальная мысль, Станислав Борисыч, дорогой...

Он вспомнил, как, выкатив бычьи глаза и хватаясь за сердце, Валид швырял на пол бланк на вскрытие и кричал: «Не делай мне этого, Аркады!!! Ты не сделаешь мне этого!!!» Да, мучительно то, что семья не чужая... И, похоже, у отца действительно с сердцем хорошо.

Сейчас же снарядить Варду проверить наличие племянника-врача, и главное – сроки, сроки!

Он поднялся, выложил на прилавок мелочь, попросил банку апельсинового сока. Не стоило бы, конечно, покупать эту шипучую дрянь, опять вечером изжога замучит.

И вышел...

В небе все уплотнялся туман. В ясную погоду Цфат отсюда казался белым гнездом на своей горе. А сейчас только серая мгла неслась и неслась по хребтам темных гор. Значит, там, на вершине, и вовсе ни зги не видать.

Он набрал на мобильнике номер Варды и сказал:

– Буду минут через двадцать. Пусть привезут этого, младшего... Салаха.

2

Бесшумно отворив дверь, он вошел в квартиру и в темноте, не снимая куртки, на цыпочках двинулся в кухню. Здесь было чуть светлее: фонарь за окном вяло тянулся ощупать хотя бы несколько метров палисадника. Ломоть сырого света упал заодно на аптечную тумбочку у стены.

Забавно шарить по шкафам в собственной кухне, как ночной вор...

Он протянул руку вглубь верхней полки, где должна бы стоять банка с содой, дутым рукавом куртки задел какие-то бутылочки, потащил на себя и... черт!!! Звон разбитого стекла в тишине спящего дома грохнул, как взрыв снаряда на полигоне.

Ну вот... Все потому, что света не зажег, будить не хотел... забо-о-о-тливый! Теперь уж давай, мудила, включай свет, раздевайся и подметай осколки с содой заодно. И мучайся до утра этой проклятой изжогой! Впрочем, до утра осталось часа два...

Он подметал и спиной чувствовал, что Надежда стоит в дверях. Но не оборачивался, давая ей минутку для *нормализации* настроения.

– О-о-ос-с-спади... – услышал привычное, заспанным голосом. – Который час, а? Будет у меня хоть одна спокойная ночь? Ну что ты колобродишь – опять изжога?

Вдруг у него благодарно стиснуло горло: помнит вот о его изжоге, ласточка моя!

– Надя... – выговорил он и сел на стул, спиной к ней, с веником в руках.

Она подошла, обхватила его голову и прижала к своей мягкой груди, обеими ладонями быстро оглаживая лоб, щеки, горло... что-то приговаривая и чуть ли не напевая...

У нее были хорошие руки, у Надежды, что-то такое они излучали, даже приезжий экстрасенс из Нижнего Новгорода, что в прошлом году давал здесь, в Доме Культуры, бабам сеансы массового гипноза для похудения, сказал, что она чем-то там обладает.

И минуты через три Аркадий правда немного отмяк, отпустил ядовитый спазм в груди, когда невозможно вздохнуть. Он склонил голову набок и благодарно зажал руку жены между плечом и горящим ухом.

– Вот, соду рассыпал, – сказал виновато. – Изжога такая, Надя, просто... до слез!

– При чем тут сода! – воскликнула она. – Что за тьмутаракань! На вот, возьми «алказельцер», – и сама налила воду в стакан, стала размешивать в нем таблетку, повторяя сто раз им слышанное – что это нервное, и пищевод тут ни при чем, что при такой работе у всех нормальных людей рано или поздно наступает привыкание, что нормальным людям – нормальным, понимаешь?!

– на восьмой год работы плевать, когда очередной *чучмек замочит свою чучмечку*... А у него с привыканием – никак, и никакие таблетки не помогут – помнишь, что творилось с тобой в прошлом году, когда были разборки в деревне под Акко, и ублюдки из одной *хамулы* убили трехлетку-малыша из другой *хамулы*, а дело ваша группа расследовала, помнишь? Ты тогда спать перестал, и тебя качало от стенки до стенки... Да просто нужно уйти наконец из этой проклятой полиции, сколько можно просить!

Вспомнила она, не удержалась, и его покойную маму, которая настояла, чтобы после третьего курса он оставил консерваторию и поступил на юридический. Кусок хлеба, видишь ли, ее заботил. Хорош кусок хлеба, поперек горла у всей семьи торчит! И вот вам, пожалуйста, результат – он скоро в психушку попадет! Так хоть бы сидел в нормальной конторе, завещания писал и страховки выигрывал – нет, полез в самое пекло, в самое это зверство криминальное!

Через полчаса они все же легли, хотя будильник скоро должен был подать свой мерзкий голосок...

Спать Аркадию совсем не хотелось, и он, минуя часы изнурительного допроса, который и передать-то на словах невозможно – Надя, это как симфонию Малера объяснять потактово! – стал рассказывать ей с момента, когда Салах, младшенький, любимец и выкормыш умершей сестры, – как он держался, Надя, все эти часы, какая выдержка, воля! – перед внезапно выкинутой на стол фотографией мертвой Джамили побелел, осунулся и затих. Только желвак под глазом вибрировал и бился.

И в наступившей тишине Аркадий сказал ему:

– Ну... Будь мужчиной!

Тот кулак на стол уронил тяжело, как крышку погреба, где покойника прячут, и глухо выговорил:

– Надоело... Пиши!

...Вот как оно было, дело-то, Надя. Эта его сестра полюбила солдатику и стала с ним встречаться... Солдат моложе ее лет на пятнадцать, на такой брак отец никогда не дал бы разрешения. А просто встречаться – невозможно, смертельно опасно, родственники приговорили бы немедленно... Она выходила из дому ночью, в мужской одежде, на лицо натягивала черный лоскут.

– С ума сойти... Средневековые какое-то! Маскарад.

Ну и по деревне поползли слухи, кто-то видел незнакомца в черной маске. Наконец, однажды ночью с ней столкнулся ее собственный дядя. Навалился, сорвал с лица лоскут, узнал племянницу, обомлел... плюнул ей в лицо и напрямик направился к Валиду. Все доложил. В этот день Джамиле был подписан смертный приговор. С этого дня она прожила еще три недели.

– Средневековые! – повторила в сердцах Надежда.

Приподнявшись на локте, она всматривалась в лицо мужа. Страдала за него... Тот лежал навзничь и, прикрыв локтем глаза от света прикроватной лампы, вполне задушевного, но все равно слишком яркого сейчас, рассказывал монотонным, охрипшим за ночь голосом, еле шевеля губами. Временами казалось, что он засыпал, голос переходил в бормотание, но Надя не хотела его торموшить, понимала, что это он так *отходит*...

– Дядя, видимо, не удержался, рассказал все жене, хотя Валид просил покрыть это землей... Та – насплетничала своим сестрам, и пошло-поехало... Слухи разрастались. И в одно прекрасное утро...

...Самое интересное, что он абсолютно ясно представлял себе это и вправду прекрасное утро, одно из тех, когда природа Галилеи чутко отзывается на первое, еще февральское, слабое тепло, а красную мякоть земли чуть ли не за ночь прошивает мгновенная трава пронзительно зеленого, почти истеричного цвета – из-за густой россыпи стронцианово-желтой сурепки.

Этим утром Салах вошел к старшей сестре и сказал:

– Я не могу больше смотреть в лицо позору. Один из нас двоих должен умереть.

Джамиля привалилась спиной к стене, как будто он толкнул ее. Закрыла глаза.

Они стояли друг против друга в той комнате, где сейчас жили обе сестры, где прежде болела и умирала мать. И где после ее смерти Джамиля купала маленького Салаха, потому что комната была солнечной и теплой.

– Я, – сказала она. На меловом лице мгновенно зачернились густые мужские брови. – Я умру.

– Как ты это сделаешь?

Он стоял перед ней, высокий сильный мужчина, под глазом дергался желвак, вернее, небольшой шрам: трехлетним, стоя на

лестнице, Салах обернулся на зов сестры и упал, глаз чудом остался цел. Она таскала его на спине лет до пяти и помнила теплые выемки под острыми коленками, когда, останавливаясь среди игры, подкидывала его повыше, поудобнее.

– Как ты это сделаешь? – настойчиво повторил он.

– Приму таблетки... – прошептала она.

– Даю тебе два часа, – бросил он. – Через два часа я должен увидеть тебя мертвой!

Вышел, сел в полицейский джип и весь отпущенный ей на казнь срок разъезжал по деревне, остервенело крутя руль, распугивая кур и собак.

Спустя два часа он въехал во двор своего дома. Выйдя из джипа, окинул взглядом все вокруг и увидел, как из колодца посреди двора высунулась судорожно растопыренная рука, потом другая... уцепились за каменный край; показалась мокрая голова сестры: глаза выпучены, губы трясутся...

Несколько мгновений они смотрели друг на друга – он и это ужасное, изжелта-бледное лицо со жгучей красной полосой на шее.

Он кинулся к сестре, подбежал, обхватил подмышки, помогая вылезти.

– Что же делать, что делать... – бормотала она, повиснув на нем и плача взахлеб, как ребенок. – Проглотила двадцать таблеток «вабена» – меня вырвало... Пошла вешаться в подвал – веревка оборвалась... В колодце – там мелко, ушиблась только. Что мне сделать? Скажи – что-о? Ну, убей меня ты, убей меня!..

– Пойдем, – сказал он и потащил ее в подвал, где в ряд у стены стояли мешки с удобрениями, те, на которых нарисованы череп и скрещенные кости и написано: «Осторожно, яд!».

Она рухнула на один из мешков и, облепленная мокрым платьем, сидела, бессмысленно глядя перед собой. С волос стекала вода, лицо посинело от холода, нос торчал, как из чужого лица. Из ноздрей медленно ползли два мутных ручейка.

Салах снял с полки большую мерную кружку, зачерпнул из открытого мешка кристаллический порошок, налил воды из крана, развел.

– Пей! – приказал. Стоял над сестрой и смотрел, как, давась, она глотает смертельное пойло.

Ее мгновенно вырвало.

Тогда он опять развел в воде химикалии, и снова велел:

– Пей!

Выпила, выпрямилась... Качнулась... Медленно стала подниматься по ступеням из глубины подвала... Но на пороге свалилась ничком.

Салах кликнул вторую сестру, та примчалась – вмиг все поняла, завизжала! – но когда он ударил ее наотмашь по лицу, умолкла и стала очень оживленно ему помогать, сверкая алой щекой.

Вместе они заволокли Джамилю наверх, раздели, вытерли насухо полотенцем, натянули зеленый свитер с высоким воротом, чтобы закрыть след от веревки, и уложили в постель...

– И четверо суток та молча умирала в страшных мучениях... – пробормотал Аркадий. – В страшных мучениях... Так, что сердце разорвалось.

Минут на пятнадцать перед рассветом он все же уснул – вернее, ему показалось, что уснул: на повороте сумеречной деревенской улицы мелькнул солдатик и скрылся за углом стеклянной забегаловки в парах тумана... Ах да, солдат... А при чем тут солдат? До него никому и дела нет...

Когда застрекотал будильник, он по-прежнему лежал на спине, закрывая локтем глаза.

* * *

День, как и всегда, начался с селекторного совещания. Аркадий слушал голоса, узнавая всех до того, как назовутся.

– Акко, привет!

– Здорово, Кармизль, что у вас?

– У нас за ночь... (две ложки сахара, о'кей?) – за ночь разбили витрину лавки на улице Герцля, унесли так, по мелочи – скорее всего, подростки балуют... И на дискотеке в драке ранен парень... А так вроде ничего...

– Доброе утро, Рош-Пина, Рош-Пина... у нас вот история. Помните, бродяга в декабре замерз в рощице недалеко от заправки...

Он слушал голоса... отмечал в блокноте, что произошло за ночь в Галилее, одновременно пытаюсь принять и утрясти собственную утреннюю новость, не то чтобы оглушительную, но: за час до начала следственного эксперимента Салах отозвал свое

признание в убийстве сестры, заявив, что показания дал под давлением следствия, на самом деле ни в чем не виноват – Джамиля покончила с собой по собственной воле, ради семейной чести, не в силах пережить позора.

Ну что ж. Он может так искренне считать, этот бравый полицейский. Ведь он только *помог ей умереть*, как она и просила. Если б не эта его бледность при виде истерзанного страданием лица мертвой сестры...

– Цфат! Что у вас, почему молчим? Алё, орлы! Вы там в спячку не впали в своем тумане?

Он прокашлялся. И заговорил быстро и спокойно...

Потом Аркадий провел рутинное заседание. Писал рекомендации по делам, распределял их между все теми же *орлами* – предпенсионной Вардой и Йони, который и так все ночи не спит над своими пятимесячными близнецами... После обеда – не пообедав – выехал в прокуратуру, для освежения памяти по делу, которое расследовалось год назад. Затем, уже под вечер, поехал просмотреть, что записалось на диски камеры слежения...

Время от времени перед глазами возникал пульсирующий на лице Салаха шрам, и тяжелый молот кулака, вбок откиннутый на стол: «Пиши!»

Вот и все. Я не имею больше права держать его за решеткой. Никто не продлит ордера на арест, никто... Ты проиграл, старичок, это бывает, в том смысле, что Запад есть Запад, а допрос есть всего лишь допрос, как бы тебе ни хотелось вернуть ему кишки наизнанку, дабы он понял, как умирала сестра. Ладно, смирись... Все равно дело передадут в Минюст, люди там серьезные... кто знает, может быть...

Уже поздно вечером, дома, отказавшись от ужина, Аркадий обнаружил, что сегодня вовсе не ел. И, что интересно, совсем не хочется.

Изжога была тут как тут, паяльником выжигала черный узор где-то под горлом...

Но ты лишь отдаленно представляешь, что испытывала перед смертью старая девушка...

Он отыскал в аптечке и торопливо развел в воде таблетку «ал-казельцера», чтобы Надежда не видела – а то прицепится с расспросами. Пошел прилечь на минутку в спальне, как был – в одежде.

Сюда доносилась смешная и трогательная музыка французского композитора Космы – жена и дочь смотрели старую комедию с Пьером Ришаром. В темноте вялая рука Аркадия наткнулась на обложку книги, что валялась на покрывале. Он потянулся, включил настольную лампу и обнаружил все ту же гляцевую чернуху, которую Юлька никак не могла одолеть. Опять она, паршивка, пластает книгу! Щурясь в полутьме, он машинально побежал по странице воспаленным взглядом: «Во Франции преследования ведьм начались очень рано. Один из иезуитов того времени пишет в 1594 году: “Наши тюрьмы переполнены ведьмами и колдунами. Не проходит дня, чтобы наши судьи не запачкали своих рук в их крови...”».

Отчаянная злоба вдруг перехватила Аркадию горло. Он размахнулся и с остервенением шарахнул книженцией об пол.

Да что это ты – спятил? Что тебе далась именно эта средневековая казнь несчастной старой девы?.. У тебя подобных дел – вагон и тележка. Вон, в пятницу в лесочке под Акко опять нашли обгорелый женский труп в машине... Очередное «восстановление семейной чести». Они так веками жили и жить будут еще сто веков именно так. Ты их перевоспитать намерен? Но откуда ты знаешь, несчастный запад-есть-запад, что на их месте и в их шкуре не стал бы убивать свою Надежду, или вон Юльку, за то, что книги не бережет?

Но ни о чем договориться с собой не мог. Все представлял, как младшая, хорошенькая, злодейка, четверо суток ходила мимо кровати сестры туда-сюда, туда-сюда... Глазки-ходики... Подавала кофе доктору, лечившему отца. И все это время дожидалась освобождения – приметливая, хищная, оживленная, омытая предвкушением новой жизни. Злодейка!.. Вероятно, к ней уже сватались.

Когда Надя, нахохотавшись с Юлькой над голой задницей Пьера Ришара, вошла в спальню – сменить халат на пижаму и лечь, она нашла мужа на кровати одетым, пунцовым от жара, с дурными полуприкрытыми глазами. Он бормотал, то ли во сне, то ли в бреду...

– Арка, ты что, заболел? – тревожно спросила она, склонясь над ним.

Он скрипнул зубами и отчетливо произнес:
– Злодейка!

* * *

Отвалявшись дней пять с ядреным гриппом, каким не болел с третьего класса, с тех пор как по миру лютовал знаменитый гонконгский вирус, он получил повестку на резервистские сборы и, как всегда, не то чтобы обрадовался – но ощутил легкое каникулярное волнение. Хотя род войск – танковых, – в которых он дослужился до командира взвода, на санаторий никак не тянул.

В прошлом году учения проходили в Эльякиме – тут, неподалеку от дома. Жили в палатках, спали прямо на танках часа по три-четыре, уставали, как последние собаки, но – странное дело! – домой он всегда возвращался именно как после каникул – загорелым, успокоенным и чертовски влюбленным в Надежду.

Утром Аркадий явился в часть, отоварился формой и автоматом «Галиль», а часа через полтора обедал в Эльякиме...

Уже расцветали наперегонки плодовые деревья, там и тут вспархивал белый выдох миндаля. На обрывистом склоне, где паслось стадо пятнистых шоколадно-белых коз, выбивалась из-под травы пурпурная изнанка сырой земли. Травянистые, с проплешинами черного базальта, холмы после череды дождей будто кто желтком обмазал: островки дрока, озерца желтой каши... В этих обширных яичницах россыпью красного перца выглядывали маки.

Влажный ветер нес отовсюду терпкие запахи новорожденной травы – чабреца, мяты, базилика, и вся тревожная эта благодать сливалась с запахами еды из большой шатровой палатки, где размещалась столовая.

В прозрачном воздухе дальние гряды гор сложились одна за другой с такой графической четкостью линий, словно туман предыдущих дней был всего только чистящей пастой, которой некая усердная хозяйка надраивала небо, горы, дороги, дома; и вот грязные остатки вчера смыты обильным дождем, а сегодня, куда ни глянь, все вокруг сверкает новенькими боками.

Аркадий закинул голову к небу и минут пять следил, как по свежему густому слою голубой эмали за еле видимым самолетом-стрекозкой тянется рыхлая лента...

Когда же опустил голову, смаргивая солнечную синеву, – первым, кого увидели омытые глаза, был его подследственный Салах. Стоял неподалеку, возле соседней палатки – в форме, с тем же «Галилем» в руке, угрюмо-насмешливо глядел на следователя...

Ну да, спохватился Аркадий, он же упоминал на допросах, что год назад освобожден из армии и служил в танковых частях...

Несколько мгновений Аркадий смотрел в щели сощуренных зеленых глаз, отвернулся и вошел в свою палатку.

Минут через десять его вызвали к командиру, в щитовой домик на сваях. Тот сидел за столом и меланхолично хрустел галетой из сухого пайка.

– Аркады... сядь... – С минуту молчал, внимательно рассматривая на свет пластиковую баночку с тхиной. – Слушай... – наконец, сказал он. – Что, этот Салах... он правда твой подследственный?

Аркадий отвернулся к окну – там на сияющей глади ультрамарина все еще истаивало остатнее перышко от истребителя. А может, это вновь уже наплывали облака?

– Да, – ответил. – А что?

– А то, что он сейчас явился ко мне и сказал, что за себя не ругается... Мол, сам понимаешь, оружие в руках... Тот еще тип... Что думаешь?

– А что я должен думать? – вспыхнул Аркадий.

Командир вскрыл баночку, поддел ножом немного тхины, взял на язык, прислушался к себе.

– Почему мне всегда кажется, что она у них тут скисшая? – задумчиво произнес он. – Я понимаю, мамину тхину мне здесь не дадут, но, по крайней мере, может она быть свежей?!

Он вздохнул, отложил нож и баночку, поднялся из-за стола и стал рыться в картонном ящике в углу, наклонившись и шумно дыша...

За последние годы Габи отрастил себе приличный животик. Когда-то они с Аркадием пропахали бок о бок две тяжелые операции в Ливане, но после армии Габи подписался на сверхсрочную, закончил офицерские курсы и вот дослужился до майора.

– Я, знаешь, – пробурчал он, не оборачиваясь и продолжая шуршать оберточной бумагой, – пожалуй, отпущу вас обоих от греха подальше с глаз долой, *кебенимат*... Так оно будет спокойней.

– Как? – Аркадий оторопел. – Когда?

Габи выпрямился, на побагровевшем лице его крупными выпуклыми белками светились серые глаза, такие же, какими были в молодости, лет пятнадцать назад.

– А прямо сейчас, – сказал он. – Вон, Шломи через полчаса едет на базу. Он тебя подбросит. Сдай оружие и форму... А того маньяка я уже отпустил...

Автобус на Цфат надо было ждать еще минут сорок. Они и ждали, оба: следователь и подследственный. Сидели на деревянных скамьях друг против друга, с одинаковыми банками пива «Гольдстар» в руках, одинаково подобрав под скамью ноги. Кажется, и джинсы у них были одинаковыми...

Центральная автостанция крутила свою колготливую карусель, изливалась с каждого лотка руладами восточных песен, торговала, вопила, выгадывала, обманывала, предлагала шепотом травку, гремела медяками в кружках, прижимистым грозила вслед божьим наказанием...

Низота города, наш контингент...

Как и во многих странах, общественным транспортом здесь пользовались не самые обеспеченные слои населения.

За те пару часов, пока оба они сдавали в части форму и оружие, пока добирались – каждый как придется – до автостанции в Хайфе, погода опять стала портиться. Видать, бесконечный этот февральский туман еще недобрал своего. Небо вскоре затянуло серым, и темная масса все сгущалась и грузла, будто наверху шли какие-то строительные работы по засыпке земли...

Они сидели и посматривали друг на друга. Салах, внешне спокойный, раскованный, явно был удовлетворен тем, как обернулось дело. Поднося ко рту банку с пивом и закидывая голову для глотка, из-под прикрытых век он внимательно и даже чуть улыбаясь глядел на следователя. И невозможно подняться, уйти, переждать где-то время до прибытия автобуса.

А главное, невозможно объяснить всем тем, кто не отсюда, почему это никак невозможно! Почему свое унижающее значение имеет и банка пива в руке, и то, как Салах закидывает голову, и

как посматривает... Просто здесь, уважаемый запад-есть-запад, надо прожить всего-навсего полжизни, чтобы различать хотя бы азы этого непроезжистого языка взглядов, жестов и знаков.

После пива перед дорогой хотелось отлить, но и тут Аркадий дождался, пока первым не выдержит Салах, и направился следом. Так и стояли оба над писсуарами неподалеку друг от друга...

Тот и в автобусе устроился неподалеку, позади, и Аркадий заставил себя ни разу не обернуться, затылком чувствуя тяжелый отравный взгляд.

Вышел Салах у своей деревни. Валко прошел по салону до передней двери и, выходя, неторопливо шатнулся на ступенях, как бы невзначай, полоснул узким взглядом по лицу следователя, усмехнулся... И снова Аркадий заставил себя две-три бесконечные секунды смотреть прямо в эти травянистые глаза.

Вот и все... Что тут сделаешь? Тем не менее, он вновь и вновь неотвязно перебирал варианты, при которых смог бы доказать вину Салаха. Почему, собственно, только его вину? А что отец, что сестра-гиена, молчаливо стерегущая последний вздох той, *другой*, со следами ржавой смерти на шее? Ну, тогда, сказал он себе, треть здешнего населения должна сидеть по тюрьмам... Оставь их, оставь, простонал он беззвучным голосом Надежды, они так веками жили. Пожалей свою душу, изжаренную на сковородке постоянной изжоги!

Выйдя в Цфате на конечной, он выдохнул облачко пара и огляделся.

По ступеням автобуса следом за ним сошли трое молодых хасидов – все высокие, тонкие, в черных плащах и черных шляпах с тульями на манер цилиндров. В руках у каждого зачехленный черный зонт с полукруглой ручкой. Двое опирались на них, как на трости.

Негромко переговариваясь по-английски, молодые люди осмотрелись и двинули вверх по дорожке, огибавшей неказистую коробку автобусной станции, – там пересекала молодой лесок гористая улица. И те несколько мгновений, пока восходили цепочкой в дымно-синие, опаловые облака, они – отстраненные и посторонние здесь – напоминали какой-то рисунок Домье.

Последними в седое озерцо тумана канули шляпы.

И эти чужие мне... Все друг другу чужие в здешнем туманном мире...

Хотелось выпить.

Честно говоря, хотелось напиться.

Он нечасто прибегал к этому сильнодействующему лекарству от безысходной ярости. Ну и ладно. Вот и правильно... Благо, Надежда думает, что он сейчас где-нибудь на стрельбах, присмотренный и утепленный.

Он взял такси до центра...

И здесь хозяйничал туман; горы черной волной замкнули город, самым высоким гребнем, горой Мерон, грозя захлестнуть и понести во вселенную весь этот жалкий сор человеческого обитания: дома под черепичными и плоскими крышами, с прутьями ржавой арматуры и тарелками спутниковой связи; обломки каменных стен и заборов, лавки, задраенные рифлеными жалюзи, машины, велосипеды...

На выющейся под гору улице Монтефиори мутными нимбами светились фонари. В фиолетовой мгле едва угадывался минарет бывшей мечети с игрушечным балкончиком, что опоясывал конус.

Аркадий расплатился с водителем, прошел через арку и по ступеням спустился в большой, мощный плитами внутренний двор здания Постоянной художественной экспозиции. Сюда выходили двери галерей и разных питейных нор, побольше, поменьше. Сейчас здесь был открыт единственный бар, где он заказал выпивку и орешков – много выпивки и вдоволь орешков. И засел, обстоятельно накачиваясь коньяком и сквозь стеклянную стену наблюдая за редкими фигурами, пересекающими вброд колодец двора. Попадая в гущу облака, прохожий на миг растерянно замирал, словно высматривая надежную кочку среди болота, и неуверенно пускался как бы вплавь, непроизвольно разводя руками.

Все обитатели этого города зимой превращались в сомнамбул.

Что ж, надо идти домой. Попросить бармена вызвать такси...

Не набрался ли ты, как последняя свинья, дружище оплеванный?

– Приятель, – спросил бармен, вытирая стойку и выстраивая шеренгой высокие бокалы темно-красного стекла, отчего те напомнили тонких юных хасидов в тумане, – ты как, в порядке?

– Я в полном порядке! – четко проговорил Аркадий, подняв ладонь.

– Вижу, – заметил тот. Он был, что называется, упитанным – уютный такой, хлопотливый, ни на минуту не присаживался, хотя, кроме Аркадия, в эту паршивую погоду в баре не было ни души. – А ты на всю ночь зарядился? Мы, знаешь, вообще-то до часу только открыты... Так что ты сиди еще полчаса на здоровье.

– Не волнуйся, – сказал Аркадий. – Со мной проблем не будет.

– Боже упаси! – воскликнул толстяк. – У меня и в мыслях не было... А если захочешь, я тебе такое местечко покажу – будешь век меня вспоминать.

Аркадий тепло и насмешливо улыбнулся:

– И какое такое новое местечко ты мне в нашей деревне собираешься показать?

– Увидишь, – отозвался тот и еще минут двадцать возился над стойкой, полируя ее каким-то средством из бутылки, складывая посуду в нижние ящики, щелкая кассой и позвякивая ключами.

Наконец, снял фирменную куртку заведения, надел поверх свитера длинный плащ и превратился в элегантного горожанина средних лет.

– Пойдем, – сказал он и отворил стеклянную дверь наружу, в туман, после чего минут десять терпеливо запирали упрямый замок, не проронив ни единого бранного слова по его адресу.

Вот бы мне такого терпеливца в следственную группу, подумал Аркадий.

Они поднялись по ступеням к площади, где днем обычно парковались автобусы, привозившие группы туристов. Вся площадь ходуном ходила в тревожной круговерти облаков, и в этом беспокойном движении рождала то бродячего кота на каменном заборе чьей-то студии, то крышу припаркованной на углу «ауди», то бледное замкнутое лицо позднего прохожего.

– Ну, мне направо, – сказал бармен, – а ты смотри, – и он держал Аркадия за плечо, слегка развернув в сторону забитых туманом, глухо освещенных фонарями улочек. – Поднимешься к синагоге Святого Ари... пройдешь немного вперед до первой улицы направо. Это даже не улица, а так, тупичок... Третий от

конца дом, на вид запертый, и ставни закрыты... кажется, что никто в нем не живет, но рядом с лимонным деревом там ступени в подвал. Дверь синяя, железная... Толкнешь и войдешь. Просто.

Аркадий не помнил в этом и вправду коротком тупике ничего похожего на кафе или бар.

– А что там? – спросил он.

– Ну... вроде караван-сарая... Кабаллисты собираются, всякая забавная публика... Иногда человек по пять, а бывает и пустая ночь. Но у хозяина – он человек ночной – можно спросить вина. Если тебе так уж нужно. И вино, скажу тебе – вино особое, они сами дают из винограда, что собирают в ночь полнолуния, причем, с какими-то своими святыми песнями.

– Надо же. А я там с ними случайно ангелом не стану? – спросил Аркадий. Бармен хлопнул его по спине и добродушно сказал:

– Не похоже... Хозяин – старик, зовут Ду?вид-Азис. Особых рекомендаций не требуется. Он тебя сам рентгеном просветит! – Засмеялся и махнул рукой: – Можешь передать привет от Ави, это вроде я.

Аркадий послушно двинулся вверх к синагоге раввина Ицхака Лурии, кабаллиста, купца, философа и мага, в народной памяти – Святого Ари, – который жил в этом городе в XVI веке, знал толк в чудесах и похоронен на здешнем кладбище.

Даже выучив, как свои пять пальцев, каменную путаницу старого Цфата, в туманные зимние ночи можно запросто заблудиться в ее петлях и узелках, неожиданных подворотнях и тупиках, коварных переулках; туман морочит тебя, путает и меняет местами дома и фонари; привычная топография знакомых улочек ускользает, повергает тебя в оторопь: завернув за угол дома, вместо привычной лестницы на верхнюю улицу ты находишь каменный колодец с огромной деревянной бадьей, которого никогда здесь не было, и назавтра попробуй его отыщи! Туман, как сон, приоткрывает двери и дает заглянуть внутрь бездонного пространства, но стоит переступить порог, как глубина эта плющится, под ногой хлупает лужа, а перед носом вырастает глухая стена со следами голубой краски на стыках камней. Ты видишь стрелку с табличкой «сыры Цфата» и устремляешься в указанном направлении, чтобы прикупить знаменитого овечьего, козьего, с чесноком, тмином и укропом, да немного маслин в придачу, да грамм триста халвы с

орехами... Но трижды свернув и четырежды вынырнув в череде проходных дворов, упираешься в ту же табличку со стрелой, острием уже направленной прямо в тебя.

Покрутившись минут двадцать в поисках нужного тупика и не найдя ничего похожего, Аркадий попал в замкнутый дворик какой-то синагоги, которую никак не мог опознать, и в досаде уже хотел повернуть назад, но тут в углу приметил узкие – в полметра шириной – каменные стертые ступени, которые вели наверняка на нижний ярус улиц, и он припомнил, что именно здесь – да-да, конечно! – должен быть почти вертикальный проход вниз.

Спустившись по крутым ступеням, он угодил во двор крошечного бара, давно закрытого, перелез через калитку и оказался на известной туристической улице галерей, лавок, ресторанов... само собой, запертых и утонувших в тумане.

Когда в вязкой зыби желтых фонарей он добрел, еле передвигая ноги, до описанного барменом дома – во всяком случае, похожего на тот дом, – то обнаружил, что окна и вправду плотно закрыты ставнями и совершенно глухи; не то чтобы покинутое или заколоченное жилье, но явно крепко запертое от тумана на все запоры – так подлодка в шторм задраивает люки и опускается на дно.

Однако лимонное дерево, да какое щедрое – все обсыпанное крупными, малахитовыми в свете ближайшего фонаря плодами, – и вправду росло у стены. Аркадий спустился к низкой синей двери в подвал и толкнул ее; та легко подалась, отворилась, и он, как переступил порог, так и остался там стоять, медленно выпрямляясь.

Ну и напился же я...

Это была довольно большая, со сводчатым зернисто-каменным потолком, подвальная комната, каких много в старых домах этого полузатерянного в поднебесье города. Освещалась она не электричеством, а толстыми свечами четырех больших семирожковых канделябров, поставленных на две бочки и на единственный в центре подвала квадратный стол, за которым друг против друга сидели двое.

Аркадий мысленно сразу назвал их *черный и белый*. Тот, что помоложе, *черный*, в обычном прикиде хасида – лапсердак, шляпа, черная с легкой проседью борода – сидел над книгой, развернутой двумя крутыми волнами на чистых, без скатерти, досках. Ничего в нем особенного не было, привычная фигура с улицы Старого Цфата.

Но другой, *белый*...

Аркадий только читал, что такие встречаются. Тот белым был весь, с ног до головы, от седых, тронутых желтизной кудрей под лисьим малахаем, до белых чулок и белых туфель с пряжками, словно взятых напрокат в костюмерной какого-то театра. Вот кафтан его был скорее жемчужного, дымчатого цвета, каким бывает испод большой морской раковины или старая слоновая кость, и сшит из особого сирийского шелка, редчайшего, производимого только в Халебе, ввозимого оттуда контрабандой.

Между этими двумя, погруженными в глубокое спокойствие, стояли два бокала и большая бутылка вина без этикетки. Все из толстого зеленого стекла местного производства, по которому при колебании пламени свечей стекали тяжелые желтые блики.

Ни *белый*, ни *черный* не повернули головы, скорее всего, и не заметив открывшейся двери. Они продолжали беседовать...

– Эй, *бахурчик*... – послышалось слева негромко.

Аркадий обернулся и увидел высокого старика в углу за стойкой, вернее, за тремя широкими досками, настеленными поверх двух бочек.

Это наверняка был старик-хозяин, о котором говорил бармен, и Аркадий удивился – надо же, как давно его не называли *лареньком*, а тут...

– Ты дверь-то прикрой, *бахурчик*, – сказал старик. – Туман заползет, нагонит сырость.

Медлительный, очень худой, с белой вязаной шапочкой на лысой голове, он напомнил татарина-дворника их московского дома по улице Лесная, шесть...

Аркадий поздоровался, хотел назваться и передать привет от Ави, но старик молча указал подбородком на тех двоих, выдвинул из-за стойки старый венский стул, согнав с него спящую кошку:

– Садись вот тут.

Кошка свалилась на пол, развернулась и выгнула спину. Она оказалась чудесной трехцветной выделки: черно-белой, с рыжими

всполохами, с полосатым, как деревенский половичок, хвостом. И рыжие заплаты на спине казались оранжевыми в одушевленном лепете свечей. Но самой удивительной была ее продувная физиономия, ну точно – маска Арлекина, разделенная по вертикали на черную и рыжую половины. И черная была ослепшей и застылой, а в рыжей пламенем свечи мерцал пристальный глаз.

Старик, видимо, был увлечен беседой *черного и белого*. Машинально, почти не глядя, снял с полки бокал дутого зеленого стекла, бутыл без этикетки, молча налил и поставил перед гостем на доски. Придвинул миску с высокой стопкой маленьких и мягких, как оладьи, пит.

Аркадий разорвал одну пополам, стал жадно жевать. Глотнул вина... Проголодался, пока искал это странное заведение.

Минуты через три он впервые прислушался к голосам тех двоих и насторожился, потому что говорили они на каком-то языке, отдаленно напоминающем иврит... Может, на арамейском? Впрочем, время от времени язык слегка прояснялся, точно дворники смахивали с лобового стекла водяную пелену или кто-то протирал запотевшие стекла очков полкой свитера. И тогда Аркадий вроде начинал понимать смысл фраз...

А, понятно, это какие-то древние тексты, которые они комментируют.

Голос *черного*, глуховатый и отрывистый, звучал контрапунктом, но он держал ритм, задавал темп беседе; голос *белого*, наоборот – певучий, богато интонированный, – то взмывал, то опускался до проникновенного речитатива. Говорил белый длинными выразительными фразами, чуть театрально, на окончаниях фраз помогая себе закругленными движениями кисти.

– Вот, сказано тут: «Кто сей змей, что летает по воздуху и ходит без провожатого, тогда как муравей между его зубов получает от этого удовольствие, начало которого в обществе, а конец в одиночестве? Кто сей орел, свивший себе гнездо на древе, которого не существует? Кто его птенцы, возрастающие, но не среди созданий, кои сотворены на месте, где они не были сотворены?».

При всей экзотичности наряда *белый*, в отличие от *черного*, казался проще и оживленнее. У него был широкий утиный нос,

острые веселые глазки, развитая грудная клетка, крепкие икры. Он вполне мог исполнить роль пожилого мушкетера в какой-нибудь голливудской бодяге, а внешне похож был на Рембрандта, с того автопортрета, где на коленях он держит некрасивую и белобрысую, но любимую Саскию.

– «Кто те, что, восходя, нисходят и, нисходя, восходят, два, составляющие одно, и одно, равное трем? Кто та прекрасная дева, на которой никто не останавливает своих взоров, чье тело сокрыто и открыто, которая выходит утром и скрывается днем, надевает украшения, коих нет?».

Что он несет? Или это я набрался до полного одурения?

Время от времени Аркадий нащупывал слева бутылку и наливал себе вина, довольно слабого, но приятного на вкус – неясно, что там в нем такого уж святого...

Замечательно, что здесь он никому не был нужен и никому не мешал. Старик, абсолютно поглощенный беседой двоих, лишь изредка оборачивался к случайному гостю и рассеянно улыбался ему. Время от времени, после того или иного аргумента в споре, он всплескивал руками, закидывал голову в немом восторге и подмигивал сам себе, мол, знай наших!

Только сейчас Аркадий понял, что стол стоит в центре комнаты не случайно – это как бы сцена, подиум для таких вот теологических диспутов.

– Когда в первый день творения Всевышний создал тьму раньше света, то под этим словом подразумевался празлемент огня, тот, что прежде чем проявиться в нашем мире как реальный огонь, дающий свет и тепло, оставался холодным и несветящимся... – *Черный* произносил фразы медленно, как говорят заики, преодолевшие свой недостаток.

– Верно! – подхватил *белый* и опять взмахнул рукой, то ли поощряя сказанное, то ли в подтверждение собственным словам. Так дирижер дает знак струнным вступить.

– Намек на это содержится в книге «Дварим». О Синайском откровении сказано: «И слово его ты услышал из среды огня», а затем – «И было, когда услышали они голос из мрака». Комментарий Раши на слово «Тьма».

– О чем они говорят? – спросил Аркадий старика. Тот поднятой ладонью велел ему помалкивать, и когда *черный* склонился列表 волны книги, шепотом пояснил:

– Идея в том, что, сопоставляя два разных изречения на одно и то же событие, они постигают его сущность... Ты слушай, слушай! Это большой человек, большой ученый, из Иерусалима. Его предок по женской линии – Магарал из Праги. Ты знаешь, кто такой Магарал, благословенна память его? Тот великий кабаллист, кто создал Голема... – Он восторженно покачал головой. – Большой человек... Но и *наш* не плох!

Аркадий хотел уточнить, кто из них *наш*, а кто иерусалимец, потомок Магарала, но – промолчал. Какая разница, подумал он.

По зернисто-каменным сводам потолка метались тени от канделябров, словно кто-то размахивал черным плащом.

Белый между тем продолжал с неподдельным воодушевлением, с каким актеры читают стихи:

– Но вот что пишет Рамбан: «Второй раз в том же абзаце слово “тьма” употреблено в обычном словарном значении, как отсутствие света, а не обозначение празлементы огня. В тот момент, когда произошло отделение света от тьмы, тьма и свет перешли в новое качество. Тем самым Всевышний скрыл первозданный свет, сделав его недоступным для нечестивых, которые – знал Он – появятся в будущем. И предназначил его для праведников в грядущем мире. Где же хранится первозданный свет?...».

– Но и свет и тьма нужны для управления миром, – *черный* слегка напряг голос, – об этом писал раввин Шимшон Рафаэль Гирш из Франкфурта: «Свет выявляет объекты в их индивидуальном существовании, а тьма, временно скрывая болезненно резкие воздействия, делает возможным взаимодействие сущностей, усиливая их эффективность...».

Боже, ну и напился же я...

Клоня голову на руки, Аркадий успел мысленно похвалить замечательно удобные доски на бочках – лучше любого стола и так по-летнему пахнут: деревом... вином... хлебом... Как же случилось, что, столько лет живя в этом городе, он ничего не знал о подвале Дувида-Азиса и мог бы и дальше жить, ничего не зная

очерном и белом. Мог упустить их, беседующих в золотой мгле туманной зимней ночи – в ночи, где смешались тьма со светом.

Трехмастная кошка с лицом Арлекина вспрыгнула на доски и улеглась рядом, у локтя. Словно была стариком приставлена стеречь гостя.

Несколько раз старик оглаживал мягкой тяжелой ладонью его спину и слегка потрепывал, будто проверял – крепко ли уснул гость, осиливший половину бутылки полнолунных песен кабаллистов Святого Цфата...

Но Аркадию казалось, что именно сейчас он слышит и понимает все, не пропуская ни единого намека, ни одного глубинного нюанса, ни одного дополнительного толкования; и каждое слово белого светится солнечной ясностью смысла, а каждое слово черного окутывает сущности и предметы тенью сомнений.

Аркадий чувствовал, что должен, должен задать вопрос, который так мучил его последние годы: если Всевышний, что так заботится о *проявлении объектов в их индивидуальном существовании*, все же допускает убийство одного объекта другим – не должен ли упомянутый Всевышний *проходить по делу как соучастник преступления?*

Но спросить не успел.

Вдруг они запели оба! – чистейшим дуэтом: бас и баритональный тенор – великолепно интонируя, словно долгими ночами здесь репетировали. Мелодия чем-то напоминала «Нигун» Блоха, этот страстный, отчаянный монолог парящей над фоном скрипки; и Аркадий совсем не удивился, так и должно было быть: где же, как не в музыке, свет и тьма соединяются безупречно, не уничтожая, но обогащая друг друга!

Не день и ночь, пели они, а утро и вечер – вот начало и конец, конец и начало, извечный круг познания. «Эрев» – вечер, время, когда расплываются очертания мира. «Бокер» – утро, время, когда вещи отделяются одна от другой, давая возможность разглядеть их отличия, ощутить их границы, осознать меру вещей, осязая душой красоту и величие мира...

...Когда он поднял голову с налитых свинцовой тяжестью рук и откинулся к гнутой спинке венского стула, рассвет уже зажег цветные пузырчатые стекла двух узких окон над дверью, протянув по зернистому своду потолка длинные полосы, красную и синюю.

Снаружи толковали рассветные горлинки.

Четыре мощных канделябра, увитых стылыми слезами отогрехших свечей, стояли там же, на столе, над одним рожком вился дым последнего прерывистого огонька, точно запоздалый аргумент в оконченном диспуте.

В подвале не было ни души, но огромная книга лежала, по-прежнему вздыбив страницы двумя крутыми волнами. Бутыли с вином стояли на полке, а на досках перед Аркадием лежал одинокий лимон, тихо лучась в рассветной струе зеленоватым золотом.

На полу, расстелив свой деревенский хвост-половичок, старательно вылизывала рыжую лапу молчаливая кошка с лицом Арлекина.

В приоткрытую дверь подвала доносилось бодрое шарканье – возможно, старик подметал возле дома. Надо было поблагодарить его за гостеприимство, но минувшая странная ночь почему-то вызвала к молчанию.

Пошарив в карманах, Аркадий выложил на струганные доски все наличные деньги – у него было смутное ощущение, что старик денег не ждет, но живет же он на что-то! – опустил в карман куртки подаренный лимон, дождался, когда шарканье стихнет, и покинул подвал.

Он шел рассветными улочками вдоль глухих каменных заборов со следами голубой краски, через новый, недостроенный район брацлавских хасидов, благодарно вгрызаясь в кислющий и терпкий лимон, морщась и улыбаясь – как это было кстати!

Вышел на гребень горы к старинному кладбищу, нависшему над дорогой.

За ночь туман рассеялся, только внизу плавали жидкие, как пена в корыте, остатки спитой ночи...

На соседней горе виднелись развалины каких-то былых домов, поросших торопливой жадной травой. Старые могилы сходили по склону во влажно мерцающую тень долины, словно бы в задумчивости приостанавливая торжественный ход и собираясь по три, по четыре. Так в похоронном шествии образуются заторы, группки беседующих на ходу.

Внизу они сгруппировались в небольшое каменное стадо, частью крашенное голубой краской – совсем древний участок кладбища. На каменной площадке у могилы Святого Ари стояли, раскачиваясь,

три высокие черные фигуры – эти уже заступили на первую молитву.

Из глубины долины вставал сирийского шелка туман, поднимался в небо, таял над горами...

Наступало утро – *время, когда вещи отделены одна от другой, и можно разглядеть их отличия, ощутить их границы, осознать их меру и осязать душой красоту и величие Божьего мира...*

Аркадий вспомнил, как тот, красивый и раскованный, перед похоронами сестры потребовал экспертизы – была ли она девственницей. И Аркадий написал, что была, мысленно поминая голубоглазого солдата. Аркадий всегда в таких случаях писал, что убитые были девственницами.

Он представил, как сидят на кладбище мужчины и старцы, в своих синих халатах, в галабиях, в высоких круглых шапках... Молча ожидают момента, когда шейх громко зачитает вслух содержание справки, произнесет молитву, и каждый поднимет ладони, загребет ими воздух, плеснет, как водой, на лицо, медленно огладив бороду.

– *Ал-ла ирхам-м-ма!* – пропойт мужчины сдавленно-сурово, из утробы души. – «Да будет к ней милосерден Господь!...»

Анна Файн

ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ

– Семнадцатый автобус вон там, за углом, прямо к центру города. А если хотите пройтись, направо до детского сада, там свернете налево и вниз, все время вниз по дороге. Она вас сама выведет к автовокзалу, только не сворачивайте никуда. Минут двадцать, двадцать пять.

Малка метнулась от обеденного стола к мойке, налила воды в чайник и таким же стремительным броском пересекла кухню в направлении столика с подставкой под чайник. Ее узкая в бедрах, поворотливая фигура на секунду вошла в пятно света и снова оказалась в тени. Я проследила, откуда тянулся луч. На стене напротив окна висело просторное прямоугольное зеркало, в верхней части которого был процарапан тонкий черный контур циферблата. Секундная стрелка двигалась вместе со своим отражением, по стенам, столам и стульям бегали солнечные пятна. Было бы красиво, если бы не жестяное корыто под зеркалом, из которого грубо торчали белые пластмассовые лилии – безвкусица, помноженная на два. Меня всегда поражает упорство, с каким религиозные евреи разрушают внешнюю красоту вещей, даже созданных их собственными руками.

Она поймала мой взгляд, скользнувший по зеркалу.

– Да, уродство. Но ничего не поделаешь. Муж любит эту штуку. Он вообще любит зеркала. Инженер-оптик, на космическом заводе когда-то работал. Десять лет отказа за допуск к секретам Полишинеля.

– Вы тоже сидели в отказе? – спросила я.

Малка вытащила из шкафчика кекс, отрезала два куска, взяла один. Благословила его громко и обстоятельно, так что мне пришлось так же громко и отчетливо произнести “амен”. Я тоже благословила свой кусок и вонзила зубы в сладкую желтую губку.

– Мы здесь поженились. В отказе он сидел с другой женой.

“Интересно, – подумала я, – как ее звали раньше? “Малка” значит “королева”. Наверное, Региной. А может быть, Милой. Людмилой. Какой Черномор утащил ее в Цфат?”

У нее были широкие ладони и ступни, немного вздернутый нос, влекущий за собой верхнюю губу. Легкая улыбка обнажала белые зубы. Вполне русская, крестьянская красота. Но черный завитой парик и большие зеленые глаза придавали ей сходство с женщинами нашего народа.

– Ваш муж и сейчас – инженер-оптик? – спросила я.

– Да нет. Он в гостинице работает. Святым человеком. Это должность такая – святой человек. Раздает благословения, высчитывает судьбу по недельному разделу Торы. Подбирает камень по знаку Зодиака. Дополнительный аттракцион для туристов. Четыре тысячи шекелей в месяц. У нас трое детей.

Она говорила это без злобы, цинизма или отчаяния. Просто говорила, отпивая чай из массивной глиняной чашки.

– Вот я и придумала – гостевые комнаты. Бизнес. Дешевле, чем у меня, вы не найдете ни в одной гостинице. И знаете, еще что? Бог вас любит. Мы три месяца чинили кондиционер в вашей комнате. Сначала вытек газ. Потом техник накачал новый, но при этом сломал электричество. В общем, чинили-чинили, думали – конец бандуре. А как только вы заказали комнату, кондиционер заработал. Так что вам у нас будет комфортно.

Я расплатилась за две ночи и спустилась по лестнице во дворик. Муж Малки как раз выходил из моей комнаты. В руках у него был гаечный ключ.

– Счастье, счастье, что вы приехали, – торопливо заговорил он, трясая черно-седой бородой, – хорошие люди приносят мазл, удачу. Вот бойлер для душа – не работал ведь. А теперь согревает воду, как песня сердце. Вы только красную ручку поверните. Ничего, что ржавый. Все, с Божьей помощью, будет в порядке.

Дорога до Цфата сползала с горы ленивой синей лентой. Я знала уже, что гора Ханаан, где стоял дом Малки, – цельный кусок доломита, устоявший в землетрясениях, много раз сокрушавших город. Там, куда я шла, башни целиком уходили под землю, их похожие на грибы верхушки становились опорами новых строений, а нижние этажи – подземельями. На этой ноздреватой, непрочной, вечно колеблемой подземным рокотом куче обломков возвыша-

лись руины крепости, построенной крестоносцами. Что заставляло людей селиться здесь? Говорят, святость. Говорят, после всемирного потопа тут жил Шем, прародитель семитов, и Эвер, давший начало евреям. Вместе они обучали своих одичавших потомков мудрости, идущей от Адама, первого человека. А в средние века в Цфате селились каббалисты. Они и сегодня здесь, измельчали только – кто вычисляет судьбы, кто продает камушки, подобранные по гороскопу, а кто просто важно просит милостыню, бродя по улицам в широких белых одеждах.

От низкой ложбины, где примостился автовокзал, дорога снова поползла вверх. Я вдыхала голубой воздух святости, я съела пронизанную святостью пиццу, и подала шекель святому человеку. Как вдруг из-за угла показалась знакомая фигура Малки. Эта женщина, кажется, успевала быть везде одновременно, перелетая через дома и горы, как солнечный луч.

– Смотрите, – заверещала она, – в нашем городке невозможно разминуться! Куда бы вы ни шли, везде знакомые. Я так и знала, что мы опять встретимся сегодня.

– Каково вам жить в городе, где нельзя скрыться от тех, с кем поссорился накануне после вечерней молитвы? – спросила я.

Она махнула рукой.

– И не говорите! Я читала лекции для девушек в колледже “Беит-Хана”. Однажды я рассказала им то, что девчонкам обычно не положено знать. Ну, вы понимаете. Кое-что из семейной жизни. На меня донесли, и я лишилась заработка. Но я каждый день.. да, каждый день видела доносчицу. Мы здоровались. Я не могла пройти мимо, какой бы дорогой ни шла. Эта Цфата-Моргана меня доконает когда-нибудь. А реб Арье, мой муж... Он может работать святым человеком только здесь. Понимаете, как крокодил Гена. Он мог работать крокодилом только в зоопарке. Я не жалею, нет. Всевышний заботится обо мне каждый день, каждую минуту. Сегодня он послал мне вас. А завтра я подкоплю денег, сделаю пристройку к дому, и у меня будут четыре гостевые комнаты вместо двух.

Я распрощалась с Малкой и принялась кружить по улицам старого Цфата в поисках того, ради чего приехала. Мне нужен был задний двор ешивы – вот только как она называется? Мне говорили, там стоит обшарпанное кресло, в котором когда-то сидела молодая женщина, умершая при странном стечении обстоятель-

ств. Она оставила сиротой новорожденного сына. Сидя в потертом клеенчатом кресле, еще будучи невестой, та женщина читала псалмы. А теперь бесплодные садятся в него, читают псалмы и вскоре беременеют. Это одно из чудес Цфата. Вот только все, у кого я спрашивала дорогу, не знали, где находится ешива. Наверное, мне попадались одни туристы. У Малки я не спросила – зачем ей знать, ради чего я отправилась в Цфат?

Вечером я долго крутила красную ручку, но, в какую бы сторону она ни поворачивалась, вода из ржавого бойлера оставалась еле теплой. Ванная, совмещенная с туалетом, была надраена широкими сильными ладонями Малки так, что каждая трещина на посеревшем от времени кафеле казалась украшением, эдакой росписью в виде паутины. Кондиционер охлаждал воздух, мерно гудя и вторя говорливому холодильнику. Над кроватью, застеленной новым бельем, красовался портрет бородатого старика в ермолке, с взглядом Ивана Грозного, только что убившего своего сына Ивана. Вокруг – мистические картины. Малка успела сообщить, что их нарисовал сам реб Арье. Разноцветные призрачные сферы, Левиафан в виде огромной буквы “йуд”, ныряющий в пучину вод, по которой разбегались круги – сотворенные Богом миры. Я наспех вытерлась и натянула халат и чалму. Все-таки надо было подняться наверх и попросить святого человека, чтобы он еще раз прошелся по сочленениям бойлера гаечным ключом и отверткой.

Реб Арье сидел за столом, уронив нос в огромный фолиант, по виду – трактат Талмуда.

– Я не хотела вам мешать... Но вода не очень горячая. Я могу подождать, пока вы закончите.

– Нет, нет. Знаете, я вызову техника. Хотя я инженер, но по другой части. Не все могу починить. Пока придет ремонтник, я еще почитаю, с вашего позволения. А вы сделайте себе чай или кофе. Ведь Малка вам показала, где у нас что, – он набрал номер на мобильнике и минут пять торговался с кем-то, потрясая бородой и жестикулируя свободной рукой. Потом отключился.

– Вы учите Талмуд?

– Талмуд, да не тот. Это “Учение о десяти Божественных сферах” рабби Иегуды-Лейба Ашлага. Слышали о таком?

– Мой муж тоже читает это. Сейчас все учат каббалу.

– Я когда-то был ешиботником, недолгое время, но не смог грызть гранит гемары¹. Впрочем, это долгая история. Дело не в том, что за десять лет отказа, пока я работал то дворником, то истопником, мои извилины затянулись ряской и тиной. Просто случилось нечто... В общем, меня выгнали из ешивы. И на этом моя карьера талмудиста прекратилась совершенно. История моей жизни необычна. Я расскажу, если хотите.

Он хотел рассказать, а я хотела послушать, но закон запрещал болтать с чужой женщиной. “Не говори много с женой, даже своей, а с чужой – тем более, – так сказали наши мудрецы. Да и не мог он долго оставаться со мной наедине все по той же причине. Но тут из внутренних покоев дома выбежал белокурый мальчик, очень похожий на мать, и уселся на стул напротив меня, широко распахнув глаза и приоткрыв рот. Для религиозных детей, лишенных телевизора, любой незнакомец – зрелище. Он буквально медитировал на новую постоялицу, слегка раскачиваясь на стуле. Как бы то ни было, мы с реб Арье уже были не одни, и он позволил себе продолжить.

– Шмулик, налей нашей гостье что-нибудь Чай, кофе?

– Вы будете рассказывать при нем? – я кивнула на ребенка.

– Он не знает русского языка. Не потому, что мы не хотели его учить. Так вышло. Шмулик долго молчал, лет до трех с половиной, вот мы и бросили русский.

Он помедлил, закрыл книгу и опустил глаза. Реб Арье не хотел смотреть на меня, ведь закон не разрешает рассматривать лицо чужой жены.

– Стоит ли рассказывать личную историю незнакомому человеку? – осторожно спросила я, видя, что он колеблется, – Если вы не уверены, я не буду настаивать.

– Я не говорил об этом периоде моей жизни много лет. Да и кому я расскажу? Наш город – осиное гнездо на горной круче. Даже Малка не знает всех подробностей. Но теперь прошлое тяготит меня. А вчера ночью ко мне явился один человек, мой бывший духовный наставник. Он велел рассказать обо всем, что случилось тогда, одному из гостей моего дома. С тех пор как стал учить каббалу, я знаю, к каким снам относиться серьезно, а какие отбрасывать и забывать.

¹ Гемара – более поздняя часть Талмуда, разъясняющая более раннюю – Мишну.

Нас выпустили только в девяносто первом году, – начал реб Арье, – на самом пике великого возвращения. Аэропорт захлебывался новоприбывшими, и чиновники старались распределять их по стране как-то равномерно, что ли. А в Галилее было много места. Чиновник спросил, не хочу ли я поселиться в Цфате. Я всегда мечтал жить у моря и поинтересовался, есть ли в Цфате море. “Есть, – заверил меня этот человек

– Так вас обманули в первый раз, но, наверное, не в последний? – предположила я.

– Нет, нет! – он горячо затряс своей бородой, похожей на хвост черно-бурой лисы, – меня никто никогда не обманывал! А я... я обманул самое чистое в мире существо, за что и поплатился. Но это было много позднее. Видите ли, мир – это зеркало. Зеркало человека. Вот поэтому я так и люблю зеркала. Что у нас внутри, то и отражает мир вокруг нас. Чиновник сказал чистую правду. Ведь озеро Кинерет называется еще “Галилейским морем”. Если в ясную погоду забраться на вершину вон той горы, оно видно сверху, как голубая заплатка на одеяле долины. А на автобусе всего полчаса. Так что мы живем у моря. Зимой там бывают настоящие океанские бури. Это оттого, что со дна нашего моря бьют ключи. Один из них называется “колодец Мирьям”. Впрочем, это уже другая история, это к делу не относится.

Первые несколько лет в Цфате я забыл. Провал в памяти. Наверное, из-за стресса, вызванного переездом. Развелся с женой, она уехала в Тель-Авив и там нашла работу. А я прирос к этим камням. Все стены, кажется, исползал здесь, как ящерица. Выучил историю города, даже пытался водить экскурсии. А потом один мой знакомый узнал, что я бывший инженер, и пристроил меня помогать в ешиве “Скрытый свет” отцу дома.

– Завхозу? – уточнила я.

– Ну да, завхозу. Видите, забываю русский, куда мне ребенка учить. Я ремонтировал все подряд – стулья, столы, электропроводку, унитазы.. даже единственный компьютер в офисе. Я не ремонтировал только холодильник и кондиционер, потому что этим двум товарищам нужен газ.

Платили они, конечно, мало, но семьи у меня тогда еще не было. Бывшая жена прекрасно зарабатывала и гордо отказалась от алиментов, а мне моих грошей всегда хватало. Так оно и шло, но однажды на меня упал взгляд рава Цфасмана, главы ешивы.

Фамилия “Цфасман” означает “человек из Цфата”. Корни его генеалогического дерева тесно оплели здешние камни, давно выросли в колодцы ушедших под землю башен. Когда он шел по городу, ему все кланялись. Одна минута “ехидута” с ним, то есть, разговора с глазу на глаз, ценилась у ешиботников выше.. не знаю даже, с чем и сравнить. Как минута в раю. Вот как.

И однажды я иду мимо – руки, простите, в дерьме, на голове казенная картонная ермолка, бритый подбородок. И он мне навстречу. И его взгляд падает на меня. Я не знаю, что он во мне увидел. Это было еще до того, как я пошел на обман. Видно, он разглядел во мне чистую душу. А может быть, смирение. Я, бывший космический инженер, руки в дерьме, но в сердце никакой горечи. Никакого разочарования, понимаете. И он велел мне зайти к нему, и... короче, я стал учиться в этой ешиве. В особой группе для таких, как я. Для возвращенцев.

Хотя мои мозги, как я уже сказал, успели затянуться ряской и тиной, но когда-то я был лучшим студентом на курсе, и такое дело, как сопротивление материалов, не очень-то мне и сопротивлялось, а физика и математика, извините за выражение, ложились под меня сами. Я налег на гемару, я грыз ее, как сопромат, и, хотя не дорос до уровня обычного студента ешивы, среди возвращенцев стал настоящей звездой. И тогда рав перевел меня в общий зал, где учили Талмуд по-настоящему. И тут я уперся в неодолимую стену. А еще через какое-то время мне перестали нравиться все эти логические задачи про быков, упавших в яму, вырытую на дороге, про быка, лягнувшего стельную корову, отчего та родила мертвого теленка, и про виды ущерба, которые хозяин быка возмещает хозяину коровы, и про ущербы, возникшие из-за вырытой на дороге ямы. Ну где, скажите, в современной жизни все эти ямы, коровы и быки?

Он помолчал, все так же не глядя на меня, Шмулик ушел в угол комнаты, вытащил из-за шкафа лист плотной бумаги, натянутый на подрамник, и гуашь, и теперь увлеченно рисовал что-то, быть может, подражая мистическим картинам своего отца. Жесткая кисточка, шурша, гуляла по бумаге, как метла по асфальту.

– Это потом я встретил каббалистов, и они мне объяснили, что яма – это сосуд. А бык, который падает в яму – это свет, попадающий в сосуд. Вам, наверное, это не понятно.

– Отчего же. Сосудом каббала называет желание, а светом – наполнение желания. А еще сосуд – это получение, а свет – отдача. Весь мир – комбинация отдач и получений, единиц и нулей. Только раньше у людей был мир, полный звуков и запахов, движения и страстей. Мир, где злыдни рыли ямы на дорогах, и быки падали туда, и люди спорили, сколько денег нужно заплатить хозяину коровы, потерявшей теленка. А теперь мир – как электрическая схема, и эти ваши каббалисты стоят и рассуждают, куда проходит свет, по каким проводам, или переводят всю живую Вселенную на язык единиц и нулей. Наверное, вам как инженеру это по душе, а мне нет. Вы, наверное, любуетесь дождем из падающих единиц и нулей, подобно герою фильма “Матрица”, за лавиной цифр видящего женщину в красном платье.

– Да, я забыл, что вы жена каббалиста. Вот и моя говорит то же самое. Я не собираюсь спорить с вами, хотя бы потому, что женщины всегда побеждают в спорах, а если проигрывают, то отвлекают из проигрыша пользу для себя. Не говори много с женой... Однажды рав Цфасман вызвал меня и объявил, что отныне я буду заниматься с индивидуальным учителем. Этот учитель – совершенно особенный. Никто не объясняет запутанные казусы Талмуда так, как он. Учиться у него – большая честь. Он расставит по ранжиру всех быков и коров, и я, с Божьей помощью, совершу прыжок к новому пониманию.

Рав Цфасман проводил меня до двери комнаты на третьем этаже, который у нас считался нежилым. “Входите, вас ждут, – сказал раввин. Я толкнул дверь. Вошел, огляделся. Комната была совершенно пуста, только стул и стендер, куда можно положить книгу, если учишься или молишься стоя. Я вышел в коридор, но раввин уже ушел, и мне ничего не оставалось, как снова войти в комнату.

– Подойдите к стене, не бойтесь, – раздался глуховатый голос. Только тут я сообразил, что у комнаты не было одной стены, ее заменяла гипсовая перегородка, не доходившая до потолка. Голос раздавался из-за перегородки.

Я подошел, представился. Голос не назвался по имени, он сразу стал учить меня – глуховатый, низкий, как мне показалось, мужской. Он объяснял все с отчетливой ясностью, словно развивчивая запутанный казус Талмуда, как часовщик разбирает

часы, а потом собирал механизм снова – и тот работал, отсчитывая время.

Я стал регулярно приходить в ту комнату. Не знаю, бывали ли там еще ученики. Голос немного оживился, пару раз даже пошутил, а один раз засмеялся. Смех показался мне женственным, немного звонким, как бывает у девушек. Я начал прислушиваться. Да, определенно, это был низкий женский голос, в пересчете на оперные голоса – контральто. Годится для исполнения женских и мужских партий.

Кем было это странное создание? Неужели андрогин, человек с признаками обоих полов? Наверное, из-за этого он скрывался там, за перегородкой, не желая, чтобы люди обсуждали особенности его тела. А может быть, женщина? Нет, вот уж это совсем фантастика. Женщин не обучают гемаре. Знаете, в религиозном обществе до сих пор бытует выражение “у нее мужская голова”. Так говорят об умной девочке, словно Бог отказал женщинам в умении мыслить. К тому же сам рабби Элиезер Великий сказал, что обучающий женщин Торе обучает их распутству. Талмуд – это судопроизводство. Узнав детали законов, по которым судят неверных жен, женщина, чего доброго, начнет изменять мужу, а затем выйдет сухой из воды. Вот что имел в виду рабби Элиезер.

– А вы сами как думаете? – спросила я.

– Я думаю то, что мне рассказали каббалисты. Гемара исправляет душу, а женщина совершенна и не нуждается в исправлении.

– Это ложь, – сказала я, – ложь, которую придумали мужчины, чтобы мы не просто мыли посуду и стирали белье, но летали по дому вдохновенно, как солнечные зайчики.

– И опять я не стану с вами спорить, – кивнул реб Арье, – женщин веками не обучали ничему, кроме домашнего хозяйства. Можете ли вы назвать хоть одну ученую, оставившую след в духовной истории нашего народа?

– Ну, например, жена рабби Ливы бен Бецалеля. Она была его хаврутой, партнером по изучению Торы. С ней он учил и Талмуд, и каббалу. Она редактировала его книги. Но простецы все равно не верили в мудрость раббанит. Народная молва изображает ее дурочкой из переулочка. Такая вечно спящая между рынком и кухней хлопотливая курица, то и дело превращающая Голема в мальчика на побегушках. Голем, созданного рабби Ливой совсем для иных целей.

– В самом деле? А я в те дни думал о другой – о Людмире Майд, знаменитой Деве из Людмира. Она руководила хасидским двором после смерти своего отца. К ней приходили страждущие, и она отвечала на их вопросы, сидя за занавеской, чтобы мужчины не видели ее лица. Каббалисты тех времен сделали особое исправление в духовных мирах, благодаря которому женщина смогла вести людей за собой. Оно работает до сих пор, это исправление. И если сегодня живут и действуют Тереза Мей, Ангела Меркель, Хилари Клинтон, то это лишь оттого, что безвестный местечковый праведник в обтерханном лапсердаке силой молитвы сдвинул засовы, разбил оковы и привел миры к новому равновесию.

Шло время, и я полюбил голос, звучавший из темноты за перегородкой. Ночами я фантазировал о ней... Нет, я не то имею в виду... Я просто фантазировал, что когда-нибудь смогу увидеть ее лицо. Или его лицо, если это все-таки андрогин. Осторожные расспросы в ешиве не приблизили меня к разгадке. Люди пожимали плечами, уклончиво хмыкали, кто-то говорил, что на третьем этаже вообще нет помещений, куда можно войти – там только хозяйственные склады, рухлядь, оставшаяся после ремонта, и полу-сгоревшие книги, ждущие очереди в генизу². Но однажды я все-таки нашел человека, рассказавшего мне о печальной тайне ешивы “Скрытый свет”. Вот как было дело.

В ложбине между Цфатом и горой Ханаан, напротив автовокзала, по четвергам собирается рынок.словно в отместку художникам из знаменитого цфатского квартала мастеров, денно и ночью творящих совершенные и безумно дорогие украшения, рыночные торговцы заваливают прилавки китайским ломом – пластмассовыми браслетами, обклеенными осколками зеркал, копеечными бирюльками и висюльками в уши, пальцы и на шею. Часы – из десяти штук девять сломаны. Кроссовки, расплзающиеся под первым дождем. Сверкающие тряпки кислотных цветов, пластмассовые цветы, синтетические скатерки, куклы, которыми только детей пугать. Конечно, и фрукты, и овощи – эти самые обычные, но по очень щадящей цене. Спасение для наших бедняков.

² Гениза – захоронение вышедших из употребления священных книг, не подлежащих уничтожению

Я остановился у прилавка с наваленными горой пластмассовыми часами. Немного порылся, поискал, и тут продавец, круглоглазый иракский еврей, внезапно спросил:

– Ты учишься в ешиве рава Цфасмана? – ничего удивительного в этом вопросе не было: в нашем маленьком городке все знают друг друга.

Я ответил утвердительно. Он спросил:

– А дочка его жива еще?

– Какая дочка? – я насторожился.

– Его старшая дочь Рахель, бедняжка. Она с рождения страдает детским церебральным параличом. Так это, кажется, называется, – он понизил голос. Разговор пахивал сплетней, а сплетничать у нас не принято.

– Больные ДЦП долго не живут. Говорят, до тридцати доживет, а дальше не протянет. Сидит на кресле, тело искривлено, руки скрючены и прижаты к груди, такая бедняжка, ох, какое горе. У вашего раввина ведь одни дочери, а он хотел мальчика. Рахель заменила ему сына, она ведь очень умная, просто мужская голова. Рав Цфасман научил ее всему, всему. Она и преподавать может, но делает это очень редко. Только если отец за кого-нибудь попросит.

– Почему же она не выходит из дома? Многие инвалиды гуляют везде, где хотят, в электронных креслах, с нянями-филипинками, или сами по себе. Развлекаются, работают, учатся. Странная какая-то история. В Цфате все друг друга знают, почему же ученики ешивы никогда не видели Рахель?

– Так она ведь сколько лет уже не показывается на люди, – объяснил болтливый иракец, – а ваши ученики все не местные, где им помнить ее маленькую? А из дома она не выходит потому, что ей жаль тратить время на что-либо, кроме Торы. Ведь жить-то осталось недолго. Лет пять, шесть от силы.

Я был совершенно ошеломлен. На следующем уроке с Рахель – если ее действительно так звали, – мой голос дрожал, я путался и не мог понять ни одного логического хода раввинской дискуссии. Моя визави за гипсовой перегородкой предложила прекратить урок. Я попрощался, но не вышел из класса, только хлопнул дверью, чтобы она думала, будто я ушел. Послышался легкий шорох, мне показалось – шелест длинной юбки, но ни скрипа колес, ни других звуков, какие могло бы издать инвалидное

кресло. Затем дверь на другом конце перегородженного класса закрылась, и снова наступила тишина.

Я стал учиться, как обезумевший ревнитель веры, по двенадцать часов в сутки, и еще шесть часов тратил на помощь завхозу. Учителя ставили меня в пример другим ешиботникам. Я не мог разочаровать Рахель, ведь, если ей и вправду недолго осталось жить на белом свете, пусть она хотя бы порадуетя, что ее ученик делает успехи. Я слишком боялся рава Цфасмана, чтобы задать ему прямой вопрос. Однажды завхоз, реб Элиягу, завел со мной странный разговор, окончательно сбивший меня с толку.

– Я знаю, что ты ходишь на третий этаж, – сказал он, выдавая садовые ножницы для стрижки кустов, росших во дворе ешивы, – берегись!

– Чего беречься, рав Цфасман сам предложил мне заниматься там, – сказал я.

– Я имею в виду вот что. Даже не пытайся посмотреть на Двору. Даже не думай.

– На какую Двору?

– Старшую дочь рава. Ту, что учит тебя гемаре.

– Разве ее не зовут Рахель?

– У рава Цфасмана нет дочери по имени Рахель. Мне ты можешь верить. Я всю жизнь провел в этой ешиве, знаю тут каждый гвоздь в лицо и каждого таракана – по имени. Девушку зовут Двора, и она – ослепительная красавица. Такая красавица, что на нее просто опасно глядеть. Это все равно, что смотреть на лик Шехины³. Ты ведь знаешь, что, когда Первосвященник раз в году входил в Святая Святых Храма, к его ноге привязывали веревку. Если, узрев Шехину, он умирал, товарищи за веревку вытаскивали мертвое тело наружу. А вот глупый сын лавочника Пини не привязал к ноге веревку, когда пошел гулять по улицам Цфата. Навстречу ему попала Двора, и он, нарушив строгий запрет не пялиться на женщин, так засмотрелся на нее, что сердце у него дрогнуло и покатилося, как камень под гору. Он оступился, и упал. Плохо упал, неудачно. Там пролом был в стене, соседи ремонтировали дом и сдуру разрушили городскую стену, а за ней открывалась пропасть. Беднягу тут же, конечно, нашли внизу, но было уже поздно.

³ Шехина – Божественное присутствие в Храме, а также женский аспект Божественности.

Завхоз сделал паузу и добавил:

– В этих местах жили когда-то суфии, мистики ислама. Их женщины отличались такой красотой, что никогда не выходили из дома без паранджи, хотя местные арабы – сунниты, и у них не принято закрывать лица женщинам. Но теперь настали другие времена, и красавицы рождаются у нас.

– Я уже не знал, что и думать, – продолжил свой рассказ реб Арье, – кому верить? Каждый заявлял, что именно он – коренной житель Цфата, его предки лично знали Святого Ари, кости его прапрабабушки лежат на местном кладбище. А копнешь, проверишь – этот коренной цфатянин просто мясник из Жмеринки, приехавший сюда в семидесятые, потому что в родной матери Украине ему грозил “трояк” за мелкое хищение государственного имущества.

Но еще через полгода состоялся новый разговор, окончательно сведший меня с ума.

Я шел по улице, и навстречу мне попалась... нет, не красавица Двора, а старуха, из тех нищенок, которые просят подаяние, одевшись в белые одежды и намотав на голову белый шарф. Я хотел было подать ей пару грошей, но она вдруг поманила меня за собой в щель между каменными боками древних строений. Мы зашли во дворик, где росло рожковое дерево, а под ним стояла низкая скамья из ноздреватого камня, все поры которого забились пылью не менее старой, чем прах Шема и Эвера. Старуха плоской, как древесный лист, кистью руки смахнула сухие рожки на землю, села на скамью и жестом пригласила меня сесть рядом. Я повиновался.

– Так ты и есть тот матмид, тот прилежный ученик из ешивы “Скрытый свет”? – спросила старуха.

– Я не знаю, кого вы имеете в виду. Я Арье, бывший инженер из Советского Союза и бывший отказник. Вот и все.

– Нет, не все. У тебя чистая душа. Беги, беги из этой ешивы, пока не поздно.

– Почему?

– Потому что ты обучаешься Торе у шейды.

– Как, у шейды? У демона?

– Конечно, мой мальчик. В нашем городке не скрыться ни от друзей, ни от врагов, ни от тех, с кем поссорился во время вечерней молитвы. Все знают всех. Все перебивают друг у друга гроши, как в еврейском местечке где-нибудь в Польше два века назад. А эту девушку никто никогда не видел. Как ее зовут? Двора, Рахель,

Лей? Как она выглядит? Вот то-то же. Она возникает, когда ее отец, колдун Цфасман, произносит особое заклинание, И пропадает, когда сила заклинания рассеивается, как эти облака, – сморщенным коричневым пальцем она ткнула в небо, словно призывая облака в свидетели.

– Знай же, что каббалисты Цфата всегда делились на белых и черных. Белые носили, как я, белые одежды, и шли за Святым Ари⁴. А черные одеты в черное, как ты, и учатся у таких, как Цфасман. Беги оттуда, пока не поздно. Твой раввин – колдун, чернокнижник. И он дает тебе фальшивую гемару. Каждое слово там – ложь. Когда ты и твоя шейда учитеесь вместе, в Цфате болеют дети, молоко скисает, не успев простоять и часа на кухне, чистые яблоки, принесенные с рынка, вдруг начинают кишеть червями.

– Как вы можете доказать правдивость ваших слов? – спросил я. Старуха явно была не в себе.

– Да очень просто. Мужчины и женщины не учатся вместе. Ни в одной ешиве мира. Знаешь, почему? Не потому, что парни и девушки влюбляются друг в друга во время занятий. Уж я-то знаю. Я родилась в этой стране и училась в сионистской школе, где все ученики, что парни, что девчонки, ходили в шортах и готовились стать бойцами Хаганы. Влюблялись ли мы в парней? Да, но не в своих. К своим мы относились как к братьям.

– Женщины и мужчины не учатся вместе, – продолжала старуха, – потому что у них головы устроены по-разному. А если тебя обучает женщина, ты видишь мир ее глазами. Это все равно, что увидеть его в кривом зеркале. Хотя неизвестно еще, чье зеркало кривое – мужское или женское. Но настоящие раввины не разрешают своим дочерям обучать парней, даже если это гениальная дочь. А Цфасман – колдун, колдун и чернокнижник, и его дочь – демон. Беги отсюда, я тебя предупредила.

– Странно все это, – пробормотал я, – почему он не сделал мужского демона? Почему оставил ключ к разгадке?

– Колдуны да черти всегда прокалываются на какой-нибудь мелочи, – сказала старуха, – для точного соблюдения закона нужно чистое сердце.

⁴ Святой Ари – рабби Ицхак Лурия Ашкенази, создатель лурианской каббалы, главные термины которой – сосуд и свет.

Я чувствовал, что схожу с ума, и свихнусь окончательно, пока сам не увижу, кто сидит в полутемной комнате за гипсовой перегородкой, и шуршит ли это существо длинной юбкой или черными крылами демона. Но как это сделать? Конечно, можно позаимствовать из инструментария ребя Элиягу тоненькое сверло и просверлить дырочку в перегородке. А вдруг она старая и рыхлая, как любая другая цфатская стена? Сверло, даже тонкое, разворотит дырищу, которую мне же придется замазывать новым гипсом. Будет заметно. Меня тут же разоблачат. Нет, не годится.

И тут я вспомнил мои оптические приборы, милые сердцу линзы и зеркала. У того же торговца, который рассказывал о больной девушке Рахели, я приобрел зеркальце-книжку. Женщины носят такие в сумочках. Если раскрыть зеркальце под нужным углом, то одна его половинка схватит образ таинственной учительницы, отразит на другую, а оттуда швырнет на третье зеркало – на моей стороне комнаты. Надо только установить зеркала в правильных местах. Под потоком комнаты тянулись деревянные балки, опутанные электропроводкой. К такой балке я и собирался прикрепить два первых зеркала. Но как заставить их поворачиваться в нужном направлении, менять угол разворота книжки? Я купил в магазине игрушек радиоуправляемую машинку, содрал с нее пластиковую оболочку, а нутро соединил с шарнирами зеркала-книжки. Я долго возился с пультом управления, чтобы добиться его бесшумной работы. Наконец, мне показалось, что моя техника на грани фантастики готова.

Я сказал ребя Элиягу, что балки в комнате, где я занимаюсь гемарой, покрыты пылью веков. Куски слежавшейся пыли и паутины вот-вот начнут падать на раскрытые листы Талмуда. Такого святотатства ни в коем случае нельзя допустить. Он посмотрел на меня подозрительно, но выдал ключ от комнаты и высокую стремянку. Я забрал с собой таз с мыльной водой, тряпку, а под пиджак спрятал изготовленный мной прибор. К счастью, реб Элиягу был слишком занят другими делами и не вызвался помочь с уборкой. Я протер тряпкой выбранное место на потолочной балке, привинтил мой агрегат и слегка замаскировал его свисающими проводами.

“Вот лжец, – подумала я, – как всякий лжец, он яростно втирает мне туфту про чистоту сердца и смирение. Ведь ржавый бойлер не сумел починить, такую тупую железную дуру. А строит из себя инженера Талмудовского с висячим носом”.

– Затея удалась. Но то, что я увидел, поразило меня совершенно. Поразило своей обыденностью, не похожестью на сказки старого Цфата, которыми все, кому не лень, растрavляли мое воображение.

Это была самая обычная религиозная девушка. Увидишь такую на улице – не заметишь, не обратишь внимания. Пройдешь мимо, и не только в пропасть не свалишься – даже взглядом не удостоишь. Она сидела на стуле, а не на инвалидном кресле. Сидела, сгорбившись, потому что студенткам ультра-ортодоксальных семинарий предписано горбиться, чтобы прятать грудь. Серая блузка на два размера больше, чем было нужно ее худосочному телу, пузырилась вокруг талии, скрывая верхнюю половину фигуры. Длинные рукава оканчивались где-то в районе средней фаланги пальцев, а указательный палец правой руки она держала в нужном месте на листе гемары. Она даже не была левшой, вот оно что. Я не видел глаз девушки, потому что она смотрела вниз, на строчку, которую разбирала вслух своим низким контральто, более красивым, чем она сама. Из-под стола торчал край длинной синей юбки и тонкая нога в плотном чулке, и туфельке-подочке на плоском ходу. У нее были русые волосы, низко схваченные на затылке резинкой, и нос уткой. В общем, Серая Шейка под кустиком, с трактатом Талмуда на травке. Только и всего.

Я наверняка встречал ее сотни раз, но проходил мимо, не оставив взгляд. Я также видел ее сестер, неотличимых от нее, разве только возрастом. И, если бы я знал, что одна из них обучает меня в тайной комнате, то не понял бы, какая именно. Ее не нужно было держать взаперти. Лучший способ скрыть такую девушку – выпустить ее на улицы города, в толпу.

Но всю ночь я проворочался с боку на бок, не в силах забыть увиденное. Теперь я уже не хотел только посмотреть ей в лицо. Теперь я хотел увидеть ее всю.. Без серой кофты, чулок трупного цвета и старушечьей юбки. Вот что наделал один неосторожный взгляд. Я понял, что люблю ее и хочу как женщину. Я, опытный мужик почти сорока лет, люблю “серую шейку”, до времени превращенную в старуху богобоязненностью и приличиями.

А наутро меня вызвал рав Цфасман. Ничего не объясняя, и не требуя объяснений, он выгнал меня из ешивы. Выгнал совсем. Не разрешил ни учиться, ни продолжить работу помощником завхоза. Жить мне было негде – до того я перебивался в ешиботной об-

щаге. Меня ненадолго приютил реб Элиягу. Он говорил, что мне страшно повезло. Я, должно быть, нарушил его наставления и посмотрел в лицо Шехины, но вот – не умер. Всего-навсего был изгнан из дома, где обитает Шехина. Я промаялся какое-то время, а потом каббалисты взяли меня к себе, и я встретил Малку. Вот она действительно была хороша собой. Была и есть. И я получил добрый знак, когда ее встретил. Потому и женился на ней. Не из-за красоты, нет.

– У рава Цфасамна была скрытая камера в той комнате? – спросила я.

– Он сам был скрытой камерой, – ответил реб Арое, – знал, что я захочу увидеть его дочь. Я не прошел испытания.

За окнами совсем стемнело. Шмулик, прилежно водивший кисточкой по бумаге, вдруг встал и подошел к нам. Он зажег настольную лампу, и я увидела готовую картину. Вся поверхность ватмана была закрашена гуашью того ярко-голубого цвета, каким в Цфате красят переплеты окон, решетки, ставни и двери. По голубому фону катили темно-синие волны, маленькие у горизонта и большие у нижнего края картины. В ритмическом порядке между рядами волн били разноцветные фонтаны – красные, синие, желтые и зеленые.

– Двенадцать шекелей, – отрывисто сказал ребенок, – но для вас – десять.

Я рассмеялась, а реб Арье вдруг встал и прошел к двери, открыл ее и выглянул во двор.

– Ремонтник так и не пришел. Придется вам сегодня не мыться. Или, если хотите, воспользуйтесь нашей ванной.

– Скажите, а потом, после всего, вы встречали когда-нибудь Рахель? Или Двору..

– Вероятно, встречал, но не узнавал. Господь поразил меня неузнаванием, как праотца Яакова, который перепутал Рахель и Лею. А потом, годы спустя, реб Элиягу рассказал мне, что вскоре после моего изгнания рав Цфасман выдал ее замуж. Но долго она не прожила – умерла во время родов.

– Какая странная история, – сказала я, – в Израиле никто не умирает от родов. Не может такого быть.

– У нее было редкое осложнение. Околоплодные воды попали в кровь. Когда такое случается, ничего нельзя сделать.

Он немного помолчал, по-прежнему не глядя на меня. Потом сказал:

– В Талмуде написано, что женщина, неаккуратно соблюдающая законы чистоты семейной жизни, умирает во время родов. Я не могу себе представить, что эта девушка несерьезно отнеслась к такой вещи, как миква⁵. Но у нее могло быть свое мнение по поводу законов чистоты и нечистоты. Она ведь была образована почтище большинства мужчин. Могла принять самостоятельное решение, не посоветовавшись с раввином, и поплатиться за это. Впрочем, я не настаиваю на такой версии. Мои домыслы, больше ничего.

В гостинице, где я работаю, мне приходится подолгу разговаривать с женщинами. Иногда по полчаса. Но я никогда не смотрю на них. Зарекся. Вы не обижаетесь на меня?

– Ну, что вы, – ответила я, – у нас в Бней-Браке мужчины ходят по улицам, опустив взгляд себе под ноги, или в портативный томик Талмуда.

– Потому, что посмотреть на женщину – все равно, что лицезреть Шехину. Даже если это обычная “серая шейка”.

– Простите, а как звали вашу жену раньше? Погодите, я угадаю. Регина? Мила? Нет?

– Света. Ее звали Света. Это и было добрым предзнаменованием, которое помогло мне взять ее в жены. Она вообще-то приняла еврейство, а родилась в русской семье на Дону. Казачка.

– Знаете что? Я, пожалуй, спущусь вниз и вымоюсь холодной водой. Мне не привыкать. Стройотряды, картошка, не говоря уже о походах и пионерских лагерях. Мама пугала меня бесплодием, говорила – будешь мыться холодной водой – детей не родишь. У меня действительно нет детей. Но врачи считают, что холодная вода здесь не при чем.

– Так вы приехали в Цфат, чтобы...

– Да. И теперь я знаю, как называется ешива. Спасибо вам, реб Арье.

– Я попрошу Малку проводить вас. Наши цфатские улицы – настоящий лабиринт.

На лестнице, ведущей из двора, раздался топот, и та, о которой мы говорили, ворвалась в гостиную.

⁵ Миква – искусственный водоем для ритуальных погружений с целью очищения от нечистоты. В случае с женщинами – от нечистоты, связанной с менструацией.

– Арье, почему ты не предложил ужин гостям? У нас есть куриные ножки и гарнир из зеленой фасоли. Погодите, я сейчас суну все в микроволновку.

Я прошла за ней на кухню и посмотрела в зеркало. Секундная стрелка бежала по моему отражению, отсчитывая время.

2016

Алина Загорская

УРОНЫЧ

Мужественное бородатое лицо, трубка в углу рта и обольстительная нижняя губа – полная, чувственная, четко очерченная, как у Марчелло Мастоляни. Нет, конечно, такой не может сидеть на сайте знакомств – фото дернул у какого-то актера. Хотя странно: пересмотрев километры голливудских фильмов, я не могу вспомнить, какого именно...

В скайпе он оказался почти таким же красивым как на фото и сообщил, что давно положил на меня глаз. Похоже, Тот, Кого Нет, очухался и решил компенсировать все, что натворил до сих пор. В надежде на чудо я кое-как нарисовала глаза и рот и выбралась на свидание – первое после крайне болезненного разрыва.

Ростик был высоким, худым, с характерной для очкариков неуверенной походкой. Ушедший внутрь взгляд, руки болтаются как плети, сутулый. Вот и славно, решила я, Мастоляни – это уже перебор.

Мы сидели в ресторанчике под названием не то “Окунь”, не то “Карась”, и пытались общаться. Новый знакомый моим внутренним миром не интересовался. Он мрачно пил, ругал все вокруг – это заведение, город Бат-Ям, Израиль в целом – восхищался “крутым мужиком” Путиным и воспевал свои подвиги на ниве российского бизнеса 90-х. “Я – русский солдат!” – орал, стуча кулаком по столу и расплескивая водку, Ростислав Аронович Гройсман, главный спонсор томской синагоги.

Словом, чуда не случилось – очередной экзотический тип на моем жизненном пути, не усыпанном, мягко говоря, лепестками роз. Однако послать его прямым текстом я не решилась: еще замочит от обиды, этот старый новый русский.

К счастью, наутро я улетала в Амстердам, и надеялась, что дурацкая история рассосется сама собой. Но в пять утра Ростик уже был на ногах. Он собирался везти меня в аэропорт – без помпы, очень по-родственному, как будто иначе и быть не могло. Яркий образ бандита слегка померк, и я разрешила ему встретиться на обратном пути.

Он ждал в зале прилетов Бен-Гуриона – с огромным букетом в руках и черным джипом на стоянке. Но в пути дико нервничал, клял израильских водителей, требовал объяснять дорогу – а мы, топографические кретины, этого не любим. Короче, опять не понравился – но уже по другой причине.

А пока я обдумывала, зачем мне этот придурок, мы потихоньку сближались. Ростик проживал на съемной квартире, чистой и ухоженной, и был человеком не бедным. Кроме того, он замечательно пел под гитару, и я пришла к выводу, что в моем плачевном положении такой мужчина не помешает...

Говорили мы в основном о нем. Несколько лет тому назад Ростика, звезду еврейской общины Томска, оставила жена, которая прожила с ним двадцать лет “как у бога за пазухой”, а, перебравшись в Израиль, выучилась на психолога и развелась. Он избегал произносить ее имя, называл “эта” и “дура”, и было понятно, что любит, но предательства не простит.

Есть такой фильм, называется “Супружеская жизнь”. Там две серии – первая рассказывает о крахе семьи с точки зрения мужчины: хорошему парню попалась бездушная вертихвостка и разбила ему сердце. А во второй серии свою версию излагает жена, и оказывается, что этот “хороший парень” не понимал ровным счетом ничего из происходившего у него под носом.

Жену Ростика я нашла в Фейсбуке, сообщила, что ее бывший совсем пал духом, и хорошо бы что-то с ним поделать, пока не намылил веревку. И тут пошла вторая серия – выяснилось, что она пыталась его спасти все эти годы, для чего собственно и занялась психологией, а, выучившись, поняла: насильно человека из депрессушки не вытащишь. Но муж наотрез отказывался лечиться, и с ним пришлось расстаться.

Она вела активную светскую жизнь – интересная дама, со вкусом одетая. Но лицо жесткое, а посты в соцсетях откровенно рекламные. “Дура набитая, научили ее разным трюкам – ну так и зайца можно научить курить, если очень постараться”, – утешал себя Ростик.

Он жил замкнуто, разгребал какие-то финансовые проблемы, тянувшиеся за ним из России, пытался зарабатывать на бирже. По утрам приходил к морю и резал трубки. Сидел, нахохлившись, на горячих камнях, никого не замечая, и пилил, пилил. Потом возвращался домой и готовил: щи, солянку, свиные уши. Он изучил все магазины в округе, четко знал, что где покупать и к готовке относился очень серьезно.

Давно я так вкусно не ела! В моем холодильнике обычно хранятся всего три продукта – сыр пармезан, горький шоколад и апельсиновый сок. Это не так интересно, как свиные уши, но зато вешу я столько же, сколько на первом курсе.

Ростик мои формы не оценил. “Худая, как цыпленок – ешь, давай. И не хер суетиться, все равно не поверю, что хозяйственная”. Сам же садился напротив и наблюдал: “Водка, мясо, красивая женщина – что еще нужно человеку, чтобы встретить старость!” А я любовалась его смуглой, юношески гладкой кожей, тонкими, сильными пальцами, классическими ступнями, похожими на гипсы архфака – и старалась не вникать в истеричные монологи о мерзости Израиля, на который он изливал всю боль, причиненную любимой.

Но боль болью, а помогать беглой супруге Ростик не отказывался – отвозил, привозил, ссужал деньгами. Пока она фотографировалась в Венской опере и на фоне швейцарских Альп, поливал цветы в ее квартире, и выгуливал Андорру, пушистого шпица с наглой мордой и длиннейшей родословной. Этот оранжевый шарик на тоненьких до нелепости ножках непрерывно тявкал и требовал еду, предпочитая ростикову кухню дорогим собачьим кормам. А тот покорно выполнял все ее прихоти, прикидываясь возмущенным – но так неубедительно, что ему не поверил бы и детсадовец.

Вообще заботиться о ком-то было для Ростика естественно, как дышать, и в его квартире регулярно паслись какие-то люди – родственники, знакомые, родственники знакомых... Он стоически переносил их присутствие: “Гости дрыхнут, я готовлю завтрак – но никого пока не убил”.

На вопрос “как дела” всегда отвечал одинаково: “Старость – не радость”, “Кому я на хер сдался”, “От меня один урон, потому я Уроныч”. “Хреново, но причин для суицида пока не вижу”. Последнее означало, что Ростик в прекрасном настроении.

Поначалу я пыталась вытаскивать его на какие-то мероприятия, но единственным моим достижением стал культпоход в театр – на пьесу о еврейских Ромео и Джульетте: героя убивают, а он продолжает добиваться любимой после смерти и сводит ее с ума. Публика рукоплескала, критики заходились восторженными откликами, но Ростик, в прошлом режиссер студенческого театра, с ними не согласился. “Бессмыслица полная. Не обижайте сироту, а то умрет и как даст сдачи – так что ли?”

И мы завязали с выходами в свет, предпочитая потреблять культуру на дому. Я приезжала к нему после работы, принимала душ и садилась ужинать. Ростик обожал кормить, отказаться было невозможно, и я толстела просто на глазах. Он, впрочем, уверял, что беды в том нет – какие-то несчастные десять-двадцать лишних кило не помешают истинной любви, которую я рано или поздно встречу.

После нескольких рюмок водки этого немногословного в трезвом состоянии мизантропа начинало нести: “Не надо мне ляля про израильскую медицину! Операцию они сделали! Ну молодцы, зашили аккуратно, скальпель внутри не забыли. А зачем резали – сосуды те же самые остались, смысл? По инструкции действуют, мозги не включают, идиоты!”

“Дался вам этот Путин. Да, бандит, да, сука! А другой там не нужен! Вы, изеры, против русских, как плотник супротив столяра – дети малые! И Немцов твой любимый был ворюга еще тот! Сам вывел себя из правового поля: оскорблять пахана не по правилам ни в одной нормальной стране... Там, может, не убьют, но с поляны выгонят. Вел себя как уголовник, не являясь таковым, получил свое – и по заслугам”.

“Революцию твои демократы обосрутся делать – народ, который они так ненавидят, уничтожит их на старте. Ну причем тут нравится – не нравится? Мало ли кто мне нравится... Софи Лорен например. Я тебе суть излагаю, а ты мне штампы суешь. Дура упертая!”

Доставалось конечно же и многострадальному Израилю : “Я ехал сюда настоящим сионистом, а нашел этот позор. Превратили страну в вонючую арабскую помойку. Ворье, неучи, твари! Недолго им осталось, скоро все развалится, но я, слава Богу, этого не увижу – уеду в Штаты, буду внуков нянчить. На америкосов мне плевать – за них сердце не болит!”

Совсем уже пьяный, добирался до бывшей жены, и я не знаю, чего было больше в его словах – нежности или ненависти: “Немчура – в Томске их много... Ее прадед лесом торговал, купец первой гильдии между прочим. Раскулачили, дом отобрали. Она влюбилась сразу, в меня тогда все влюблялись. Когда сказала, что беременна, я не возражал. Пошли и расписались, как положено. С бабами проблем нет, давали и сейчас дают. Но мне никто не был нужен – только эти глаза, эта улыбка...”

В постели он был суров и делал лишь то, что хотел сам, властно, жестко, не заботясь о производимом впечатлении – мужчина, не знавший отказа. Но мне было с ним хорошо, и я не думала о том, как выгляжу.

Впрочем, в тот период меня это вообще мало волновало – жить не хотелось, не то, что прихорашиваться. Мою квартиру замело многомесячной пылью, а вся одежда была свалена в углу кухни. Я выдергивала наугад из этой кучи и надевала, не глядя – чтобы не ходить голой. Встречаться с людьми казалось мне совершенно бессмысленным занятием – что мы можем дать друг другу, кроме боли и скуки? Ах да, еще зарплату и коммунальные услуги... Назовем это независимостью.

Я была на одной волне с этим озлобленным невротиком, и на его фоне чувствовала себя едва ли не оптимисткой. Вот только помочь друг другу нам было нечем: зияющую дыру внутри, которую оставляет предательство, невозможно залатать ни делами, ни другими людьми. Мы походили на елки с опавшими иглами – вешаешь игрушку, а она сползает – и пытались наполнить смыслом эту жуткую пустоту: я как тот чукча описывала все, что было вокруг, он пел, выкладывал видео в интернет и скрупулезно подсчитывал количество просмотров.

Скажу вам прямо: творчество – довольно жалкая замена любви, чтобы ни говорилось в умных книжках. Но выбора нам не оставили, вот почему я эту мать пишу.

Впрочем, Тому, Кого Нет нравится, когда мы заняты делом, и время от времени он даже выдает нам зарплату – в своей, разумеется, валюте. Меня заметили, назвали “голосом русского Израиля” и “настоящим писателем”, а тексты опубликовали в нескольких журналах.

Пользы от этого было мало – даже меньше, чем от соцсетей, где иногда появлялись какие-то отклики. Зато я приобрела ком-

плекс непризнанного гения, в дополнение к другим прелестям, и добивалась похвал от окружающих практически вручную.

Ростик был чужим на этом празднике жизни – он не читал моих произведений, не восхищался фактом писательства и вообще ранжировал теток исключительно по размеру груди. По крайней мере, так он утверждал, а правда это или бравада, я уже не узнаю. Наше общение постепенно сошло на нет, и спустя какое-то время я обнаружила, что не вижу его постов в своей френдленте. Проверка показала, что он вычеркнул меня из списка друзей.

Это было ужасно обидно. Удалить из френдов – ну я не знаю, как надо отличиться. Послать матом разве что... Нет, так с приличными людьми не поступают! И я отправилась к нему за разъяснениями – без звонка и наплевав на гордость.

Стояла промозглая и сырая израильская зима. “Русский солдат”, одетый в свитер домашней вязки с американским флагом на главном фасаде, встретил меня с чувством глубокого удовлетворения: “Что, только заметила? Вот так сдохнешь, а никто и внимания не обратит!”

Тот вечер был самым лучшим из всех, которые мы провели вместе, и я не уверена, что дело тут в количестве выпитой водки. Два обломка кораблекрушения, мы внезапно осознали, что нужны друг другу, и этот инсайт длился целую ночь. Я увидела того Ростика, в которого были влюблены эти самые “бабы” – пылко, мужественного и наивного, как мой любимый Паганель из “Детей капитана Гранта”. Он страстно желал меня – именно меня! – обнимал, целовал, говорил, что я красивая, умная, нежная и заслуживаю огромного счастья. Мы заснули, обнявшись – как юные влюбленные.

К сожалению, все эти замечательные эпитеты наутро вылетели из моей головы, как будто их и не было вовсе – запомнился только смысл. Эх, и почему я не включила тогда диктофон – теперь бы прослушивала и гордилась собой. Но в мире нет случайностей, и слова эти, скорее всего, предназначались не мне...

Продолжения у этой потрясающей ночи не было. Ростик замкнулся еще больше, не звонил, на попытки втянуть его в переписку реагировал довольно грубо, а в ответ на мое скромное полупризнание заявил, что кроме детей и внуков ему никто не нужен.

Ну и ладно, подумала я – переживем при хорошем питании, и не такое переживали.

Жизнь продолжалась – не хорошая и не плохая, никакая. Я ходила на работу и писала свои тексты, не очень понимая зачем. Выходные проводила дома у компьютера, к концу субботы проваливаясь в черную пропасть отчаяния.

Люди вокруг меня куда-то ездили, что-то смотрели, с кем-то встречались... Ростик тоже регулярно появлялся в соцсетях – комментировал новости в своем лапидарном человеконенавистническом стиле и выкладывал песни. А потом их сменил звездно-полосатый флаг с двузначной цифрой посередине, которая становилась меньше с каждым днем – как зарубки на стене камеры. Так я догадалась, что он уезжает в Америку – нанять внуков.

На цифре 10 внезапно пришла смс-ка: “Привет! Я просто подумал, что надо бы попрощаться”. Как именно мы будем прощаться? – спросила я. “Да какая разница”, – был ответ. “Ну тогда счастливого пути!”

“Значит, не прощаемся. А я тут проходил мимо твоего дома и нахлынуло. Что ж, мы никогда друг друга не понимали”.

Это была чистая правда. Но я, конечно же, пришла к нему – сами понимаете...

Квартира уже опустела, он раздал почти всю мебель и картины, однако холодильник, как всегда, был полон всяких вкусностей. Чем меня кормили в тот раз, я уже не помню, да и неважно это. Ростик рассказал, что переезжает в маленький провинциальный городок, где его сын и невестка купили дом. “Скука там страшная, вокруг одни китайцы с индусами, жить буду в курятнике на окраине сада – но это даже хорошо, скорее сдохну” ...

“Прозак по тебе плачет”, подумала я, но мысль эту озвучивать не стала. Мы еще немного поговорили, а потом он достал пакет и вручил со словами: “Надеюсь, с размером угадал. У меня ведь тут никого – только ты”.

По дороге домой я слегка всплакнула, но быстро успокоилась. А что, в сущности, было? Да ничего – просто еще один человек шел навстречу, шел... и прошел. И человек не так, чтобы мечта поэта – довольно злобный, между прочим.

Цифры в его блоге продолжали уменьшаться, потом их сменила карта, где было написано, что автор “путешествует” из аэропорта Бен-Гурион в аэропорт Кеннеди. Еще через сутки там появилась запись: “Ростислав Гройсман живет в городе Эфтон,

штат Миннесота”. И значок – малюсенький домик с трубой... Жилище гнома.

“Ты не заслужил света – ты заслужил покой”, – эта фраза почему-то крутилась в моей голове несколько дней.

А вчера я обнаружила в углу кухни его подарок и, перед тем как выкинуть, развернула – из любопытства. Там было удивительно красивое кружевное платье цвета морской волны – как мои глаза. И с размером он не промахнулся.

Марта Кетро

МЕЖДУ ВРЕМЕНЕМ

(отрывок из книги “Хорошенькие не умирают”)

Хотела начать с фразы “тих родимый аквариум”, но запнулась – какой же родимый. И так теперь будет часто, цитаты, шаблоны и штампы придётся проверять на достоверность при каждом использовании. Тих тель-авивский колодезный дворик, зажатый между отелем и домами, в нём есть место только для скамейки, где я, стоянки скутеров и палисадника с повешенными медведями – не так мало, если подумать. Медведики, ясное дело, игрушечные, шейки деликатно зажаты меж веток магнолий на радость местным жителям – говорят, в Израиле есть чёрный юмор, но я уверена, что здесь ничего такого, чистое благодушие. Сегодня мы подобрали на Алленби медведицу – с заячьими ушами, печатью чье-то подошвы на лице и с медвежонком, пришитым к пузу, – посадили на сучок тоже.

Никто не орёт в шабат, кроме кондиционеров и белой собачки. Без них от тишины закладывало бы уши, а так ничего.

Раз уж я выбрала жить у моря, хожу к нему ежедневно, третий вечер подряд. Знаю я эту инерцию, когда под боком что-то ценное, а ноги вечно не доходят. Уж постараюсь, чтобы у меня получилось иначе. В первую ночь небо было, как старый чай. Ну что за фигня, а. Бросаешь всё, тратишь кучу денег, подгадываешь к полнолунию, прилетаешь – а над головой эти мутные разводы, которые образуются в чашке, если забыть со вчера. Я воздела руки и высказала возмущение, на следующий день поменяли, но осадочек остался.

Странно. Странно ходить по весёлому городу Тель Авиву и считать деньги – турист передвигается со скоростью ста баксов в день, если ничего не покупает, и мне теперь это много. Странно почувствовать свою чужеродность там, где я с первых шагов

всегда растворялась во фриковой толпе. Сейчас у меня зажим в спине и тревожное лицо. Странно что-то хотеть от местных, обычно это им нужны мои деньги, а теперь мне следует получить от них всё на свете – счёт в банке, номер телефона и новое имя.

Странно ничего не чувствовать вместо обычной газированной радости: не горюю, не веселюсь, думаю только о том, какая куча дел на воскресенье, которое здесь понедельник.

Иногда хочется раскачиваться, как Лев Евгенич, и тихо причитать “Что ты сделала, Маргарита, что ты сделала”, но нет никакой маргариты, всё сделала я, этими маленькими ручками. И всё, разумеется, правильно. Просто сейчас у меня пепелище. Недавно один мужчина написал “именно так выглядят победили”, имея в виду свой дикий измотанный вид, и я не подумала, что совсем скоро буду выглядеть так же. Я ведь тоже всех победила.

Заткнись, белая собачка.

Я начала плакать в середине июля.

Точно помню, как это произошло. В Симферополе. Была ночь после моего дня рождения, я принимала поздравления в сети и получила комментарий от своей первой любви. Разумеется, Той Единственной, что задрала планку и обесценила все будущие чувства на много лет вперёд. Умом вроде поняла про одну реку, которая в следующий раз обязательно будет другая, с иной температурой воды и рельефом дна, но жду всегда ту, что вся была пронизана солнцем. Неприятно, если я на самом деле тогда утонула и давно лежу на дне, смотрю сквозь толщу голубой прохладной воды и пытаюсь что-нибудь чувствовать к проплывающим мимо рыбам. А ещё хуже, если давно выплыла, но отказываюсь считать жизнь жизнью, людей людьми, любовь любовью.

И он мне, значит, написал, а я ответила “дурацкая получилась жизнь без тебя”. Запредельной банальностью ответила, если быть абсолютно честной, но все мы знаем из русской классики, что пошлость иногда заходит так далеко, что возвращается с другой стороны и становится чистой правдой. Я сосчитала годы, легла на спину и заплакала. Мне казалось, так меньше отекает лицу. Напрасно, за следующие пять месяцев выяснилось, что в какой позе ни рыдай, если делаешь это часами, эффект разрушительный.

Тут надо понимать, что до того момента я плакала, когда кто-нибудь умер, или если жалела котиков. Поэтому решила, что раз

организму надо, пусть. Кто ж знал, что ему понадобится исходить слезами месяцы.

За этот период я умудрилась оплакать всё: живых и неживых, будущие утраты, разбитую коленку, жертв теракта, потерянные деньги, здоровье котиков, всех, кого не люблю, бездомного из ролика и много ещё что по мелочи. Поводы были самые разные, но каждый день, и я искренне не могла понять, почему открылась плотина и отказывается закрываться.

И я совершенно не связала это с тем, что в середине июня мой муж получил въездную визу типа “алия”. Ну и я вместе с ним.

Глаза мои полны тумана. Кто бы знал, что эта напыщенная фигура речи может иметь право на существование, но от моря поднимается густая дымка, поэтому кажется, будто у меня упало зрение. Но нет, днём двадцать четыре, вечером пятнадцать, вода отдаёт тепло, а я сижу на оранжевом стуле, в айпаде три гигабайта местного интернета, на мне идеальный пуховый жилет. Года полтора назад берлинская девушка дала мне такой поносить на вечер, я оценила его невесомый жар и сразу захотела себе, чтобы ночью сидеть на берегу и писать книжки. Последовательно идя к цели, я устроила свои дела так, что сижу теперь в жилетке, с планшетом и вот оно море. Счастья, разумеется, нет.

Мой механизм целеполагания таков, что сначала я принимаю решение, затем начинаю его выполнять, а потом – PROFIT!!! Если присмотреться, можно заметить, что в этом списке совершенно отсутствует рефлексия по поводу того, как я буду себя чувствовать в процессе и в следствие исполнения замысла. Именно поэтому я с лёгкостью прерывала любые связи, просто вставала, обнимала на прощание и закрывала за собой дверь. Охватывающее меня горе и последующие месяцы тоски не то чтобы оказывались неожиданностью, но я не думала о них, уходя. Нужно было прекратить разрушительные отношения, а уж тушкой или чучелком я выберусь, какая разница. Точно также я поступаю с большой работой – прикинуть объём и сроки, ввязаться, а потом оказаться в режиме четырнадцатичасовых смен. Теоретически же это возможно? – возможно. Значит, я справлюсь. И я действительно справляюсь. А что потом буду выглядеть, как “победитель”, так это пустое, главное результат.

Точно так же было и с переездом. Теоретически я успевала, а остальное – детали, мелочи, камни на дне, которые не меняют направление течения, разве что влияют на его характер. О любой из них можно разбить голову, но ведь можно и не разбить, достаточно хорошо владеть собой и быть быстрой.

Самой трудной стала не физическая часть процесса, а неожиданное побочное переживание: человек переезжающий остаётся наедине со своей жизнью, которая оказывается воплощена в груде вещей. Думал, жизнь – это чувства, опыт, люди, победы? Нет, моя радость.

Это изношенная одежда, в которой ты любил и тебя любили, и что такое невозможность дважды войти в одну реку по сравнению с невозможностью влезть в штаны, прежде болтавшиеся на тощих бёдрах. Не жир, а вся твоя зрелость не даст вернуться туда, где безденежье, свобода и страсть, более сильная, чем голод.

Это невозможное количество сувениров – нет, не магнитиков и деревянных медведей с топорами, но маленьких предметов, сохраняемых для памяти. Билетов на поезд, что отвозили тебя к любви, наберётся целая стопка, а тех, что возвращали в нелюбовь – чемодан, и через годы нельзя решить, которые из них важнее. Потому что от любви осталось несколько вспышек чистого цвета, а от нелюбви – вся остальная жизнь.

Это остатки амбиций с тех времён, когда еще не знала, что умею писать – хотелось рисовать, рукодельничать, хотелось быть кем-то творческим и умелым, а это целый шкаф материалов и работ разной степени законченности. Нет, за них не стыдно, но до чего жаль, что некому передать, только выбросить.

И это приметы бедности – слишком много одежды сохраняли впрок, на случай чего. Придёт день, а купить будет не на что, тут и пригодятся. Тёплое и заношенное, сгодится под пальто. Невозможная синтетика, как же выбросить, когда она как новая. Юбки на случай если похудею или поправлюсь. Купленное вместо того, что хотелось – зато недорого.

Казалось, это сложено в пару чемоданов, но я всё достаю и достаю их со шкафа, с полок, выдвигаю из углов. И понимаю совсем страшную штуку.

Я десяток лет прожила в тесной неуютной квартирке, высасывающей счастье. А всё потому, что она была забита мусором, который поместился в восемнадцать мешков. И я, выходит, зачем-то

сделала это со своей жизнью, отдала столько пространства и воздуха овеществлённой тревоге и воспоминаниям. И теперь я переезжаю, сбегаю от затхлой тоски к пустым белёным стенам – а может надо было всего-то вывезти мусор?

Но нет, я помню любовь, к которой стремилась душа моя. Она началась в один день, в одну минуту, когда я впервые приехала в Иерусалим, в сердце мира, которое оказалось не кровавым, не огненным, а серым и розовым, потому что это цвета времени и нежности. Любовь эта была не мистической природы, а вполне практичная. Дело в том, что до приезда у меня двадцать восемь дней непрерывно болела голова. Как человек трезвый, я поняла, что, видимо умираю, поэтому к врачу уже поздно, а посмотреть центр мира в самый раз. Но когда увидела золотые стены Иерусалима, когда въехала в город, когда на меня упала его тень и его свет – голова перестала болеть. Эйфория, последовавшая за многодневным страданием, наложилась на карту местности, и теперь каждый раз, стоит выйти из автовокзала, ступить на улицу Яффо и двинуться к старому городу – вдоль трамвайных путей, мимо лавочек, к повороту на Кинг Джордж, где на углу возле булочной всегда играет один и тот же старик, и далее – каждый раз накатывает буйная искрящаяся радость. И она всё растёт, достигая максимума в Храме Гроба, а потом проливается слезами у Стены Плача. Агностику всё есть Бог, невротика всё есть знак, а Марфиньке всякие фрукты полезны, поэтому я с одинаковой нежностью трогаю камни, пахнущие ладаном или солнцем. Это причина, по которой я переехала.

В ноябре двенадцатого года мы с мужем оказались в Тель-Авиве. Я помню как сидела у фонтана на площади Бялик, которая прекрасна, как второй акт “Жизели” – спящие кувшинки на воде, белое колониальное здание старой мэрии, дом с башенками, тёмное густое небо вместо кулис. И тут покой этого места разорвал сильный и страшный звук, которого я никогда не слышала, но сразу узнала – сирена воздушной тревоги. Я не очень испугалась, но отчётливо поняла, что какое-то безжалостное железо летит, чтобы меня убить, лично меня. На крыльцо мэрии вышел мужчина и замахал руками, я встала, быстро пошла в убежище, и только возле лестницы вспомнила, что гуляла с мужем. Оглянувшись, он как раз застёгивал рюкзак, махнул мне – иди, я сейчас.

Мы молча переждали ракету, и только на следующий день я решилась извиниться, что сбежала без него.

– Ничего, – ответил он, – ты же всё-таки оглянулась.

Потом у нас было ещё несколько тревог, я научилась ценить толстые бетонные стены баухауса и незапертые подъезды, в которые можно нырнуть и переждать удар.

Моя фейсбучная лента превратилась в детсадовские дневники. Израильтяне писали: “Бабах. Слышали два бума. Бамкнуло” – прежде всего для того, чтобы знакомые знали, что они в порядке. И было весело. Тель Авив тогда обстреливали впервые со времён ливанской, жители его возгордились и немедленно сплотились между собой больше обычного. На улице при атаках всегда открывались двери, прохожих зазывали спастись. Во время ночных сирен полуодетые жильцы выходили на лестницы и с интересом знакомились. Никого не убили, и оттого всё это было большим приключением. Апатия опустила на город только после того, как подписали перемирие – израильская армия перестала наступать, а нас перестали обстреливать. Но все рвались побеждать, поэтому огорчились. И в этой горечи город тоже был единым.

Тогда мой муж произнёс пафосную фразу “я хочу быть вместе с этой страной. Я пойду её защищать, если что”. Старый ты дурак, ответила я. Но подумала, что если кто-нибудь нашёл место, которое хочет защитить, ни у кого нет права ему мешать. Это причина, по которой я переехала.

В Израиле меня поразило, что все разговаривают со всеми. Заказ ужина в кафе – это обсуждение с официантом меню, погоды и его настроения. Необязательно, но почему хорошим людям не поговорить?

– Давай, мотек, расскажи мне про десерты, что у тебя есть?ь

– Хочешь сливочный крем? Нежный и с карамельной корочкой? Не слишком сладкий, но с ванильным вкусом. Только для тебя, мам!

– Он у тебя большой или маленький?

Официант задумывается, вычисляя желаемый варианты – мы на диете или сильно проголодались?

– Он будет такой, как ты захочешь!

Охранник в историческом парке останавливает нас и вступает в беседу. Я подбираюсь – от охраны всегда проблемы.

- Что, что он сказал?
- Он спросил, есть ли у нас билеты.
- И всё? Почему так длинно?
- А я спросила – хочешь покажу? А он: мне хватит только твоей улыбки.
- А ты чего?
- Я сказала, пусть у тебя будет такой же хороший день, как ты сейчас сделал мне!

Посли долгого дня мы расстаёмся с подругой, мне скоро уезжать. Она обнимает меня, привычно-отстранённую, и говорит:

– Приезжай, оставайся у нас жить. Покажешь мне, как ориентироваться в Тель Авиве, я его совсем не знаю. А я научу тебя обниматься. Я тоже не умела, когда приехала, но здесь этому быстро учишься.

Незнакомые люди видят друг друга, болтают, обнимаются, быстро обмениваются хорошим настроением и легко уходят – я тоже захотела для себя такое умение, нескончаемый источник тепла. Это причина, по которой я переехала.

Четыре года книжка, которая составляла временный смысл моей жизни, отказывалась появляться на свет. Она бубнила в голове, мешала сосредоточиться, забивала другие тексты, но и на бумагу не шла. Очень легко сойти с ума, когда в мыслях одни и те же фразы крутятся и бьются, как залетевшие в комнату ласточки. Но стоило сесть за ноутбук, как голос замолкал, а мир начинал требовать своё. Зачем эта книга? Зачем погружаться в придуманную историю, вылепляя вокруг себя искусственное пространство, населять его персонажами, тратить на оживление свою жизнь? Моя самая прекрасная на свете работа начинала пугать – казалось, не хватит глины и крови, чтобы создать достоверную реальность, я увязну в недоделанном и задохнусь. Мир сопротивлялся, уплотнялся и не давая места для книги, и она отказалась появляться. Она требовала особого настроения, состояния здоровья, места и времени, райдер капризной актрисы становился всё длинней, а время на сцене укорачивалось.

Но в Тель Авиве что-то менялась. Достаточно было только прилететь, сбросить тёплую одежду, тревогу, время, и укутаться в серый бархатный плащик, более похожий на домашний халат, в

сумерки, в любовь. Звезда моя делалась покладистой, как гризетка, я могла писать, присев на скамейке в парке, на камне возле моря или на площади Бялик. Дома, в кафе. Но текст начал скакать и рваться, чувствуя, что времени совсем мало. Я пыталась писать быстро, упрощая, лишь бы успеть. Пришлось прерваться, но я поняла и поверила, что здесь смогу работать. Это была причина, по которой я переехала.

Туристический раж первых визитов в Израиль прошёл довольно быстро. Я перестала бегать по достопримечательностям и просто жила. Снимала квартиру на месяц где-нибудь в центре, прилетала, переодевалась в мягкие платья, сандалики, и начинала вести жизнь ленивой домохозяйки: ходила на рынок, покупала цветы, гуляла, много спала. Ужин заказывала в кафе и несла домой, чтобы поесть на балконе, ни с кем не разговаривая. Время текло так медленно, как в последние десять минут до мультиков, но дни пролетали быстрее, чем серия “Ну, погоди!”. Однажды шла с рынка Кармель и с дерева спланировал упал цветок франжипани – белая душистая звёздочка с золотой серединкой. Проследила за ним взглядом и поняла, что на моей яркой тропической юбке напечатаны эти цветы. Я оказалась внутри грёзы, которую бесконечно рисуют на картинах и описывают в книгах, а на самом деле её не бывает. Но вот я, вот цветок, вот пластиковый стакан с апельсиновым соком, который выжал рыжий мальчик, вот Ближний Восток, с узкими улицами и каменными заборами. Ради того, чтобы оказаться в этом пряном сне, я работала несколько месяцев, не чувствуя жизни, а потом прилетала и ложилась на остывающий белый песок, в свежую постель, в объятия города. И это тоже была не совсем реальность.

Поэтому однажды весной решила, что должна либо поселиться здесь насовсем, либо перестать приезжать. Во-первых, быть туристом дорого. Во-вторых, дороже, чем думала – потому что платишь радостью, остальные месяцы, что проходят между двумя поцелуями, теряют вкус. По-настоящему я жила только здесь, и я хотела оставаться живой постоянно. Это причина, по которой я переехала.

Дальше я два года много работала, изредка уезжая в недорогую Европу, чтобы отдохнуть. Не хочу сказать, что очень скучала

– если знаешь, что однажды вернёшься насовсем, разлука кажется временным условием игры. Я помнила, что моё “здесь” скоро закончится, в этом было много свободы и лёгкости. Иногда даже сомневалась, хочу ли? О том, что я чувствую на самом деле, узнала случайно, за два месяца до отлёта. В это время положено заказывать в Сохнуте бесплатные билеты, муж позвонил, а ему ответили, что на нужные даты ничего нет, ближайшие будут после того, как у нас истечёт въездная виза. Я впервые в жизни узнала, что такое грогги. Ты два года работал, планировал, рассчитал каждый свой шаг, и вдруг на пороге получил отказ. В тот момент не подумала, что мы ещё успеем купить билеты сами – я переживала крушение. Накануне решила украсить себя – сделала довольно жестокий пилинг, который поначалу ничего, а через сутки кожа потихоньку начинает облезать. И вот собираюсь по делам, одеваюсь, рисую загадочный взгляд, и тут звонит муж. Описывает ситуацию, обещает сделать всё возможное, а я откладываю телефон, смотрю в зеркало и вижу, как по щеке буквально на глазах ползёт кракелюр, кожа начинает шелушиться и отслаиваться. Это самая буквальная метафора катастрофы: жизнь рухнула и у тебя осыпалось лицо. Кое как вышла, заблудилась на Пушкинской, в офисном здании должна была что-то сказать охраннику и забыла, как разговаривать. Разлепила губы и поняла, что не только не помню слов, но и звуки не идут.

Разумеется, всё уладилось наилучшим образом, билеты нашлись, а у меня окончательно пропал вопрос, точно ли я хочу. Да. Точно.

Потом были сборы, которые способны похоронить кого угодно, когда бы не одно важное правило. Поначалу я думала, что нужно вытащить все вещи, рассортировать, выбрать. Но оказалось, принцип другой – взять необходимое. Понять, что нужно с собой, найти, сложить, а остальное... нет, всё равно пришлось разобрать и отрефлексировать горы, но главное уже было сделано. Моё всё уместилось в пятьдесят два килограмма, сколько весила сама. Оказалось, мне нужно всего десять кило одежды, а считала себя капризной. Остальное – попытка вывезти концентрированную среду обитания, чтобы мир потом не казался совсем чужим. Поэтому дюжину винтажных ёлочных игрушек я взяла, а кухонный комбайн, конечно же, нет. Не собиралась брать книги, самое важ-

ное отвезла к родителям, кое-что отдала. Но перед отлётом нашла пару томов с автографами авторов, которые бросить было никак нельзя. Так что в Израиль я прилетела с книжкой “Как люди думают” и с акунинской “Писатель и самоубийство”. Так понятно, что даже можно об этом не шутить.

Я знала, что меня ждёт: большие физические усилия, моральное напряжение, жёсткий график, неизбежные накладки. Но случилось и непредсказуемое – меня начали подводить люди. Это началось незадолго до отъезда и продолжилось после.

Однажды я услышала забавную теорию, будто бы каждый человек порождает небольшую специфическую вибрацию, которая вливается в общую вибрацию группы – семьи, коллектива. И когда он по каким-то причинам меняет сигнал, выпадая из среды, это нарушает общий ритм, и система начинает реагировать. Его либо пытаются энергично вернуть, либо, наоборот, выпихнуть, изолировать, чтобы не повредил целое. Такая реакция бывает и позитивной, и негативной. Например, человек тяжело и длительно болеет, и все вокруг сосредотачиваются, чтобы ему помочь. А иногда кто-то привычно-несчастные делает рывок, чтобы изменить свою жизнь, и встречает сопротивление с разных сторон – сиди, не рыпайся, создавай привычную вибрацию.

Не знаю, сколько в этом правды, но мне понадобилось хоть какое-то объяснение тому, что люди начали меня предавать. О, не все, иначе это было бы признаком паранойи, да и слово слишком сильное в наших масштабах, не государственная же измена в конце концов. Но некоторые из тех, что были связаны со мной довольно прочно, но не близко, действовали по одной схеме. “Всё-таки уезжаешь? Уверена? Ну смотри”. И дальше тебя как-будто вычёркивают из списка тех, с кем нужно считаться: перестают выполнять обещания, не отдают долги, врут или не разговаривают. Я потом даже расспрашивала, как возможно, что любые договорённости перестают действовать со сменой локации.

Понимаете, они обижаются. Я была их привычкой, не самой важной, но постоянной. Им всё равно, где я жила, насколько далеко от них, лишь бы на одном месте. Как если бы липа у дороги вдруг исчезла – и не враги срубили, а сама удалилась, шлёпая корнями. Не “куда пошла”, а сам факт возмутителен. Посмела нарушить установленный порядок? до свидания, черт с тобой, но теперь не жалуйся.

Это оказалось до странности тяжело. Мой мир и так перетрянуло, я едва держалась, будто перетаскивала огромный груз на собственной спине из одной страны в другую. Тут даже не помощь нужна, соблюсти бы равновесие, осторожно переступая шаг за шагом. Достаточно было не мешать, достаточно оставить всё как есть, пока я не справлюсь. Но нет, именно в критический момент понадобилось оттолкнуть, хлопнуть дверью, изменить правила игры. “А чего ты хотела? Сама же всех бросила”.

Самое странное, что именно те, кого бросила, — семья — так не считают. Они сожалеют, но поддерживают. А вот те, кто всего лишь потерял часть инфраструктуры, как магазин возле метро, те не простят ничего.

И есть люди, которые внезапно оказываются в полемике с тобой. Уезжая, ты будто ставишь под сомнение их решение жить на прежнем месте. А я, говорят они, я остаюсь! Где родился, там и пригодился, не для нас эти ваши границы, кому мы там нужны. А вам, конечно, счастливо, ветер в паруса, скатертью дорога, катитесь, проваливайтесь и будьте вы прокляты. И так получается, что ты-то едешь воссоединяться с частью души, менять жизнь, любить, написать книгу и научиться обнимать, а выходит, что заодно оспорил чью-то картину мира, и должен быть наказан. И к твоей ноше прибавляется груз чужого гнева, который, впрочем, не имеет особого значения.

Потому что главной тяжестью на сердце ложатся не эти посторонние, и не вся твоя рефлексия. Главное, как замолчал папа, когда ты заявила и бодро затараторила:

— Помнишь, я говорила, что хочу уехать? У нас билеты через две недели, квартиру сняли возле моря, денег должно хватить почти на год, работать пока удалённо, всё будет хорошо, там безопасно, я буду приезжать часто...

А он отходит к окну и садится в кресло, против света, и сидит молча — пять, десять, пятнадцать, двадцать минут. А потом говорит, ничего, ничего, всё будет хорошо, ну чего ты так? не бойся, если что, мы поможем, ничего.

Главное, последний вечер перед отъездом, который ты проводишь у них, и уже на пороге мама, всегда казавшаяся королевой драмы, способной сделать сцену из ничего, не плачет. Отворачивает мучительное лицо, будто её загнали в угол, отводит совершенно сухие глаза, обнимает — только не расстраивайся, говорит.

И не плачет. И папа совсем уже тихо повторяет, не бойся, мы тебя дождёмся, обещаю.

И кто ещё после этого сможет сделать мне больно?

Как хорошо, что сборы требуют столько напряжения и постоянного контроля, поэтому нет сил горевать.

А теперь я добралась и сижу очень тихо: в Тель Авиве, во дворе, на скамейке – под фонарём, под деревом, под луной. Подо мной земля, надо мною тёмное бесконечное небо, а я в середине, в узкой талии песчаных часов, пересыпаюсь после того, как колбу опять перевернули – вместе со временем, вместе со всей жизнью.

Декабрь 2014

Афанасий Мамедов
ПАРОХОД БАБЕЛОН
(Отрывок из романа)

Светлой памяти мамы Агигат Мамедовой

*Знаков наших не увидели мы, нет больше пророка,
и не с нами знающий – доколе?
Теилим, 74:9*

Со слов чужих, с надеждою последней незрячей стукнул в щели между небом и землею выстрел, и сразу же все стихло, и бестревозно стало вокруг. И время, будто вспять тронулось, потянуло тягуче к истокам, возвращая ко всему личному, оставленному раз и навсегда, к лицам близких с берега дальнего. Мимолетный, незабвенный миг...

Взводные топтались на лошадях в ожидании приказа неподалеку от эскадронного и полкового комиссара.

– Це шо за грамматика, Ефимыч?! – Недоумевал эскадронный.
– Ты так разумей, у меня теперяча дух – продукт фабричный, доехали меня ляхи, вона за тем бугорком всех низведу...

– А ты погоди, пока судья еще не вышел. – Комиссар, вчерашний мальчишка толстогубый, плетью поднял папаху с черных бровей и воздел голову к стеклянно-хрупкому небу, прозревающему первым побегом стылых злопамятных звезд.

– Чего мне годить-то?! – эскадронный бездушно плюнул под взгорок и глянул на группу пленных, уже вынашивающих смерть подле орешника: наспех пересчитанные, раздавленные ожиданием, они старались не встретиться с грубым взглядом эскадронного.

Комиссар почувствовал, как горбоносое лицо Кондратенко становится цвета его чикчир.

– Ефимыч, у меня хлопцы в жиле остывают...

– Я – товарищ комиссар, и это будет во-первых. А во-вторых, хлопцам вели задор поумерить, чтоб в свой час поляка до кишок достать.

– Тебе, по осени, видать, апостольское в голову шибануло, или кто там, у вас, у обрезанцев, по жалости инспектор.

– По жалости у нас товарищ Ленин.

– Ай-ё, бродило революции. – Эскадронный скомандовал «Повод!», и – прочь пошел на рысях, и взводные за ним по жиже чавкающей.

Жирнобрюхая комиссарова кобылка, молодка беспокойная, еще не покрытая, тоже было за копытами, разъезжающимися в черном глинистом месиве, но юнец комиссар поприжал бурноногу, образумил...

Отметив про себя отсутствие политического воспитания у эскадронного, а также лишенное пролетарского сочувствия, старорежимное, отношение к богоизбранному народу, Ефимыч приказал «раненого халлерчика докончить», потому как все равно уже разобран казаками, остальных попридержать.

– А там видно будет, – и добавил для себя и ординарца: – Авось жалость моя и сгодится для магниевой иллюминации.

– По полной форме. – Поддержал ординарец, великодушный кубанский хитрец. – А то, что Кондрат и на скитальцев твоих в обильной ярости, так то ж из-за жалобного прошлого своего. Пришлый он. А пархатый, дело известное, сироткину мозолю не обойдет. Вот его и конозит.

Темный исполнительный силуэт двинулся к орешнику, сухо передернул затвор карабина, вскинул его, не доходя несколько шагов до притихшего вдруг поляка...

Ефимыч отметил про себя, что в одиноких выстрелах, железо поперек мира стоит; на слух, да еще в темноте, – боль нестерпимая, и ничего ведь не спасает от нее.

Он снял папаху.

В ухе тускло блеснула, качнувшаяся серьга.

Свежий ветерок облетел влажные вьющиеся волосы, облепил смоляную жиденькую бородку.

Товарищ комиссар подумал, что нет большего счастья, наверное, чем вот так вот, как он сейчас, приблизиться после боя к самому себе, почувствовать вот этот, стоявший прочно во рту, вкус чеснока и ржавой селедки, обглоданной им до хвоста под огнем польской артиллерии в том самом леске, что грядю сырою темною плывет сейчас невдалеке, или вот этот запах жирной галицийской земли и прелой листвы, мешающийся с запахом медицинской повязки, в которой, как в люльке муравьями изъеденной, дремлет тронутая пулей рука...

– Пошла шаловливая! – комиссар двинул Люську широким шагом.

Ефимыч дремал в седле, упершись подбородком в грудь, убаюканный ровным дыханием двойника, владевшего всеми языками коротких, прерывистых снов. Из темной незрячей выемки, освобождая себя от всех «точь-в-точь», показался из прошлого вестью далекой губернский город, отражающийся в черной реке. Выглянул вскоре и обозначенный бакенами фарватер. Незнакомый бакенщик, большой красивый человек в кожаной куртке и с «маузером» на боку в деревянной кобуре, подплывал на лодке к каждому бакену и зажигал лампу «сегодня как вчера», чтобы утром загасить, а вечером снова возжечь огонь света человечества. «Когда вырасту, непременно стану бакенщиком», – напомнил комиссару двойник высоким детским голосом. По течению широкой реки сплавляли лес, перегоняли гигантский плот до полутора-двух верст длиною, похожий на огромное, безоговорочно послушное плотогону неповоротливое животное. Звонко шлепали по воде плицы пожарного парохода «Самара».

«Эй, Самара, качай воду!», – кричали с берега комиссаровы сестры и маленький братец Ёська, которые еще мгновение до того гуляли по Дворянской со строгой немкой фребеличкой Миной Андреевной, по прозвищу Отто Карлович.

Из Струковского сада доносилась медь оркестра. Ее перекрывал сильный и красивый голос синагогального кантора.

Раввин Меир Брук, порхая, как мотылек, объяснял что-то очень важное на перекрестке четырех дорог главе местных анархистов Александру Моисеевичу Карасику, который на момент разговора с раввином, еще не знал, что будет две недели удерживать фронт против частей атамана Дутова, поэтому, наверное, припал анархист на колено перед кружившим вокруг раввином.

«Нам бы и этого хватило, не то чтобы манны небесной – тихо молвил сын Агады, протягивая Бруку разрезанное напополам пасхальное яйцо, – но вы же знаете, ребе, Он всегда дает больше, чем мы Его просим».

Медоточивая самарская красавица Броня шагнула на каток в шароварах, что окончательно переполнило терпение городских властей, и после чего те решили провести какое-то немыслимое санитарно-гигиеническое мероприятие, за которым должно было воспоследовать освобождение угнетенных царским режимом.

Потом комиссар с двойником, сильно расходясь во мнениях – Ефимыч уверял, что не гоже комиссару дремать в разведке, а двойник, – что если сейчас откроет глаза, того, что было, уже не будет – искали свою бородку, которая почему-то перекочевала до последнего волоска на младенческое личико братца Иосифа, глядевшего с фотографии стариновским взглядом полным укора и мольбы.

Под комиссаром взбрыкнула и заржала Люська, и он почувствовал, как забирается в высокие кавалерийские сапоги холодная колкая вода.

В миге перед рассветом все вокруг, точно наизнанку вывернулось: крики, ругань и пальба застали комиссара в середине небольшой курчавящейся речки с пологим обрывистым берегом. Не успел он проститься с двойником, отправляя его воздушным путем назад в губернский город, как посыпались винтовочные выстрелы, ударил пулемет, шлепнулось в реку несколько мин, взметнув столпы воды с водорослями и кусками земли.

Взводного Лютикова, славившегося в полку своими роскошными шелковыми усами, подбросило вверх, как гимнаста в цирке.

Реальность происходящего, четкость материального мира и метущаяся в страхе душа, подсказывали комиссару, что Фортуна может ошибиться сейчас, и для смерти, его смерти, достаточно пустяка – точно отмеренной порции пороха.

Единственным выходом из положения казалась немедленная, пусть и неподготовленная атака.

Ефимыч выхватил из кобуры «маузер» и, держа на весу, рванул Люську вперед.

– А ну, братцы, – надрывал глотку комиссар в сыром тяжелом воздухе, – не спать! Время наше подоспело! Поднимем революцию до девятого вала!

Черная вода белым кипением кипела от неистовых лошадиных усилий.

Раздалось благословенное «Ур-р-а-а!» – Кондратенко повел в атаку равномерно расползавшееся пятно, гулко бухавшее копытами, разъяренно улюлюкавшее, сверкавшее шашками, – пятно, частью которого был он, – Ефимыч, полковой комиссар не полных девятнадцати лет от роду.

Но, проскакав под неугомонный винтовочный треск до затоптанных сторожевых костров врага, красные кавалеристы остановились: неприятель почему-то предпочел отступить за гряды невысоких редколесных холмов, окутанных стелющейся дымкой утреннего тумана. Все замерли в оцепенении от жгучей обиды.

Медленные невыразительные минуты бряцанья оружием.

Ефимыч глядяваясь в бинокль, пробовал разобраться в неожиданным поведении поляка.

Оптика сквозь белесую завесу рассказала ему, что неприятель, сидевший на полоске первых солнечных лучей, был дальше, чем они думали, и было их меньше, чем можно было бы предположить по интенсивности недавнего огня.

– Что пишут, комиссар? – Кондратенко, невозмутимый, в привычном боевом кураже, с незримым нимбом вокруг лихо заломленной кубанки, пританцовывал на своем фыркающем темно-гнедом жеребце.

– Пишут, чтобы за чужой славой не гнались.

– Грязно живет, грязно пишет. Горюй чернявый! – позлорадствовал орлиноглазый эскадронный. – А ты поляку, читай, подол уже задирать лез. А они вона куда забрались, насадки-то твои белобокие. Или испугались, или волят, или какую стратегию имеют супротив нас.

– Надо бы разъезд наладить.

– Было дело, сказывали яйца курице сказку.

И через несколько минут, поднятый в разведку отряд уносился карьером, обходя поляков.

Эскадрон вернулся к реке. Вскоре под запах печеной картошки Кондратенко был предъявлен рассветный ущерб.

– Ох, и треплет нас поляк, ох и треплет! – вскипел эскадронный, перебрасывая дымящуюся черною картофелину из руки в руку.

– И как мы их только не заметили? – Комиссар, не сводил взгляда с неглубокой ямы, в которую поверх своих и пленных поляков, укладывали мягкое тело поторопившегося взводного, с бляхующейся без опоры распатланной головой.

Глядя на запрокинутую голову эскадронного любимца, на его подкрученные усы, комиссар тихо усомнился в том, что принадлежность к партии большевиков, есть источник всех благ, нечто бесконечно длящееся вечное.

Эскадронный забросил недоеденную картофелину в речку и возопил хриплоголосую песнь крови.

– А ты почто, Андрюшка, иного положения не нашел, как в этой речушке мудозвонной покалечиться, увести себя дал от дел прямых революции! – Но песнь эскадронного оборвалась: под ногою застывшего на краю вырытой могилы красноармейца поплыла земля, и тот, черпая воздух руками, сверзился прямо к почившим.

Кондратенко пережил конфуз, играя желваками, после чего продолжил без прежнего воодушевления:

– Прощай, кроткая твоя душа, братец Семеныч, кум мой свое-ручный, сокровник мой, прощайте, други ратные, не сумлевайтесь, дело мы ваше не загубим и гада вскорости в хребтине перешибем.

– И как только мы их проспали? – никак не мог успокоиться комиссар, отъезжая от засыпанной общей могилы.

– Да коли б проспали. Сам-то, какой крепостью эскадрон в ночи укреплял? Ефимыч распрямился, заскрипел кожанкой:

– Неожиданный поляк встретился.

– Нашим оружием бьет. Резьбу хитрую предлагает...

Он достал из-под бурки расшитый кисет, примирительно уго-стил комиссара табачком.

Разъезд принес известие, что конные поляки оберегают пехоту, потому, мол, и ушли за холмы, а там, за холмами, поля со скирдами и деревенька аккуратненькая со старичком ксендзом и пулеметами на костеле. Предложение неожиданно атаковать неприятеля, эскадронный отверг.

– Це добыче имя – дерьмо. Пушай уходит, на помин души.

Под вечер благоуханно-терпкий и теплый, разведэскадрон на-гнал своих, и смерть, безраздельно властвующая последние дни, отступила на почтительное расстояние.

Мир и покой кругом с непривычки дурманили голову.

Остывающее рдяное солнце косило татаринном, катилось медленно за рубчатое лоскутное покрывало покато уходящих вдаль полей. В дымчатом горьковатом мареве млевно тонули розовеющие лесные горизонты.

Мир и покой на розово-золотистых стриженных жнивьях. Мир и покой на дыбачейся пыльной дороге в желтой листве, соломинах, гнилых обломках подсолнухов, битых яблоках, конском помете...

Дорога жила по-старому – вольностью, пыльными верстами. Дорога, которой если что-то и не хватало, так это отставного советника в бричке, скромного «владельца нищих мужиков», мальчишек на обочине, собирающих яблоки в штопанные холщевые сумки, да коротконогих ворчливых шавок.

Эскадрон входил походной колонной по три. Кони, почуяв приближение заветного отдыха, трепетали ноздрями, вбирая в себя яблочный дух, настоятельно требовали к себе внимания.

Никто из всадников не кричал, как прежде «Давай Варшаву!», все понимали: это именице, барская деревня, в которую они сейчас входят и есть – их Красная Варшава.

Где-то шумела плотина...

«Заглянуть бы за густую, непроглядную листву, – подумал комиссар, – спешиться, положить планшет на траву, усесться на него и смотреть, как струится, как падает и рассыпается, ударяясь о камни, вода. И под шум ее, наслаждаясь обыкновенным уделом, забыть месяцы боев...»

А еще он хотел бы стереть из памяти, как рано утром третьего дня разведэскадрон, хотел обойти тихо, незаметно какую-то смазанную нищетой деревеньку, расположенную подле леса, да тут же в лес и унесся под пулеметный стук поляка. Разве забудешь такое?! За сто лет не забыть, как тяжело оказалось ориентироваться и вести бой в лесу, тем паче, что день выдался подслеповатый, туманный. И уж, конечно, в рапорте непременно расскажет он, как был ранен выстрелом в руку.

«Револьверным. В левую, – отправил уточнение комиссар кому-то из пересменки девяностых, начала двухтысячных, – в левую руку. А вот про ржавую селедку не надо бы писать. Потому как селедка дело исключительно плотское. Революции абсолютно безразличное. А еще не советовал бы запечатлевать на бумаге чувство смертельной тоски и слабости, одолевающих меня со вче-

рашнего дня. О чем можно? Да хоть о том же деревянном трактирчике, что расположился на прешпекте слева со ставенками резными, с озабоченным, рассеянным мужиком на ступенях. Вот он – бугристый красный с бедной радостью в лучистых глазах. На католического апостола Павла похож. Случая должно быть поджидает, поделиться чем-то хочет».

– Хлеб-соль, красноармейцам, Красная армия всех сильнее!... – покалечил русскую речь апостол, склонил красивую иконописную голову, прижимая мятый картуз к груди.

«Картуз должно быть мокрый изнутри», – зачем-то подумал комиссар и качнул серьгой в ухо, то ли мужику в ответ, то ли уходя от чего-то чрезмерно назойливого, черно-золотистого жужжащего, летающего прямо перед глазами. Шмель, что ли?

Апостол стоит и ждет кого-то, колонну разглядывает. Что-то вызывает в нем неподдельное восхищение. Должно быть тяжесть пережитого, в котором он, специалист по тяжести любого рода, обнаружил безграничную мужицкую правду, и, которая представляется ему не столько даже правдой будущего, сколько оправданием своего здешнего апостольского существования, пребывания на этом прешпекте в этот час, в это мгновение.

Но вот он заметил уцелевшего пленного поляка и губы его дрогнули: «А может, правда, удел поляка в истории человечества – смелые глупости?»

Из трактира вышел хмельной трубач-сигналист в кубанке набекрень. Покачиваясь, цепляясь шпорой за шпору, закричал скандално в яблочный свежий воздух: «Кузьма, а Кузьма!.. Чесотку тебе в ноги. Верни инструмэнт, падло!» Но вот казак все-таки оценил обстановку, узрел таки прибывший эскадрон и небольшую конную группу впереди, летевшую навстречу эскадрону, развернулся зыбко и – назад быстренько, к дверям трактира с тренькающим колокольчиком.

Комполка вылетел на поджаром «коглане» золотистого цвета с красноватой гривой и хвостом. За ним ординарец Дениска и несколько казаков с пиками. Остановились возле белых каменных тумб, на которых еще полвека тому назад крепились старые ворота с фамильными позолоченным гербом.

Комполка молча приветствовал вернувшийся эскадрон. Смотрел сумрачно, должно быть, подсчитывая в уме потери.

Кондратенко, увидев Верхунова, понесся докладывать.

Ефимыч, удивившись неожиданной встрече – уже представлял себе, как спрыгнет с лошади, как первый лихо взбежит по ступенькам штаба полка – тоже поторопил Люську, стараясь не отставать от гонористого эскадронного.

Но куда там, уже отстал, теперь гнать совсем смешно: «Пусть молотит, чего мне поперек него лезть, я ведь по другой части тут, по духовной, так сказать».

Доложив, эскадронный покрутился на месте и встал рядом с комполка, будто памятник бронзовый самому себе. Лицо его изменилось. Вытянулось как лошадиная морда. Сбилось что-то внутри у Кондратенко, и, сбившись, перешло в гримасу:

– Шевелись, комиссар, покеле светло.

А комполка:

– Ну, Ефимыч, пестрая твоя душа, побалагурим по-вольному? – светлоглазый кентавр был почти глух, потому орал тенором в самое комиссарово ухо, так орал, что его карабахский скакун и без того горячий, храпел, раздувая ноздри, мотал головою, норовил встать на дыбы.

– Отчего ж нет, стоит описать.

– Ась?!

– Отчего нет, говорю, – повторил Ефимыч и почему-то глянул на лукаво улыбающегося Кондратенко.

А тот:

– Звонил звонарь помолиться, заодно и самогонки испить, – и пришпорил коня к голове колонны, поднимая пыль.

– Чего горло дерешь, комиссар? Ты мне природу не пугай, природа здешних мест без тебя пуганная стоит. А ну покажь! – Верховов, успокоив своего «карабахского шайтан-баласы», как он его называл, придирчиво осмотрел руку комиссара. – Заживет и без «Красного креста». Я наших врачей не уважаю. В особенности баб: во-первых, помочь не могут, во-вторых, добротой обращают служение революции, в гимназическое добровольчество. А попросишь малость самую, – так не дают мрывы, не дают, хоть ты весь по швам изойди, потому как у интеллигентов своя природа, она к природе наших горячих будней безучастна. Вот где, брат Ефимыч, обида-то.

– Понимаю, – сказал Ефимыч кисло и зачислил на долгий срок самарскую красавицу Броню в штат «Красного креста», себя же посадил дожидаться ее в конце белого коридора, пахнущего противной карболкой.

– «Понимаю»!... А чего тогда смотришь глазами смиренного, хрен кожаный? Или из-за биографии своей скорбишь?

– Биография моя хоть и молода, а твоей не хуже будет, – обиделся комиссар, понимая к чему клонит комполка. – Власть Советов национальность упразднила.

– Ась?

– Где нам, говорю, сапоги носить.

– Вот и я о том же. Ну да ничего, революция она и голоштанная и жидам тетушку с блинами пошлет. Ну, давай, не мурыжь, сказывай, как пуля нагнала. – Комполка тронул коня, развернул обратно, направился меж двумя белыми столбами в сонную липовую аллею, будто вошел в картину какую маслом писанную из графского собрания, будто угодил в роман дворянский со сносками, с прехорошенькой девицей в беседке, обласканной заветной пушкинской строкой да солнечным лучом на память.

– Перебегали от дерева к дереву, отстреливались. – Намерено сухо рассказывал комиссар. – Вижу, польский офицер целится в меня из револьвера. Поднял я свой маузер, но...

– ?!

– Он опередил.

– Ась?! – спросил комполка и показал на пруд слева и пруд справа. – Тина есть, а болезней нет. Хуч сам купайся, хуч любуйся в бинокля на бабские оттопырки.

– Пуля ударила в руку, да с такой силою, – злился уже комиссар, – что я упал с лошади на корневище. Лежа все же успел произвести несколько выстрелов наудачу, и, сдается мне, попал-таки по гаду, потому как услышал его захлебывающийся рык. Хотел встать, пойти и прикончить...

– Ну, – оживился комполка, поэтично задирая голову к небу, будто подыскивая рифму к слову «прикончить».

– Боль выше локтя... Чувствую, – кровь растекается по руке, по куртке... пробовал пошевелить ею, но все без толку. Во рту горчило, хотелось спать...

– Да как же так спать-то, Ефимыч?! При таком деле, когда пуля на вылет, спать никак не можно.

– Примерно через полчаса нашел меня мой ординарец Тихон. Он саблю и обагрив, в прах беднягу изрубил. После сделал мне перевязку, бурлил хлопотливо. Помог встать. Сказал: «Догоняй комиссар, мы такую шляхту дородную растянуть решили!»

– Тут вы и попались, – продолжил за комиссара Верхунов, – в отделку вас всех.

– Но потом вырвались. Поблуждали маленько, да в тыл к тому же поляку с налету и завалились.

– Господи-батюшка, прости им их прегрешения.

– На «прегрешениях» с эскадронным твоим и схлестнулись. Ему, ведомо, что нужно, а мне ровно наоборот, потому как мертвый со мною железно планами не поделится.

– Самовар, что ль, тебе поставить на белой скатерти? – Верхунов слушал с легкой ласковой улыбкой, с дремно опущенными ресницами, позволяя коню укачивать себя, ему не нужно было переспрашивать: теперь он все слышал. – Ладно, чего язык даром трепать. Вона там налево конюшня будет, дальше – риза, напротив флигель, старый барский, за ним егерская. Я тебя в охотничью определил, там вроде спокойней будет. Часа два соснешь, а после с эскадронным докладывать будете?

– Могу и сейчас, мне что...

– Прить свою пересилишь и ко мне, прилюдно поляка описывать, во всех красотах, мать его в «рогатывке» до семи утра...

Комполка поскакал прямо в сужающийся конец аллеи, за которой виднелся барский дом с колоннами, с длинным балконом, накрытым сверху полосатым тентом, а Ефимыч налево свернул, мимо яблоневого сада, к конюшне, возле которой кипела кавалерийская жизнь.

Спешенный эскадрон расседывал лошадей между конюшней и старым флигелем, крыша которого была такого же зеленого цвета, что и крыша конюшни.

Несколько казаков несли седла так, словно на каюках реку переплывали в лунную ночь.

Возле навозной кучи, увенчанной прохуdivшейся торбой с остатками зерна, здоровенный гусь по имени Друджик защищал в неравном бою своих толстозадых гусынь от непрошенных гостей, исходивших запахом крови и тлена.

– Гуся не тронь!

– Это как же?!

– А так. Есть без тебя кому первую птицу в имении жрать.

Вздрагивающая рыжая кобылка, возле тачанки, на которой сушились несколько гимнастеров и парусиновых рубах, любовно об-

лизывала совершенно игрушечного пушистого жеребенка, потерявшегося во времени у материнского соска.

Тихон уже раздобыл где-то кипяток, пил неспешно из дымящейся медной кружки обложенной свежим хворостом, то и дело издавая звуки чмокающихся в воду пуль.

Ефимыч вплотную подъехал к Тихону.

– Ну будет, шалая, дурить-то! – Ординарец недовольно отвел кружку в сторону от Люськи.

– Принимай! – комиссар спрыгнул с лошади, разминая непослушные ноги.

– Ох и дурноезжая у тебя кобылка комиссар, по любому слушаю форсит... Я ее и овсом, и пшеничными отрубями, так она, гадюка, все равно грызется как собака... А тут в сердце норовит, соскучилась, видать. Поди, знай, чего у нее в голове баянит.

– А то и баянит, что ты ее пшеничными отрубями давно не кормил?

Комиссар был уже рядом с загонем для лошадей, тем, что на холме у дороги, петлей заворачивающей вправо, когда заржала Люська, он обернулся: «Люська? Люська, чудо ты мое!»

Тихон, заметив, что комиссар обернулся, махнул ему рукой, мол, шел себе и иди не оборачивайся, сам понянькаюсь. Что Ефимыч и сделал, правда, почувствовав какой-то укол в сердце.

Не попади он сюда, никогда бы не подумал, что все эти люди, в грош не ставившие чужую жизнь, могут так печься о своей, и чем больше они лишали жизни других, тем больше ценили собственную, вымаливая для себя еще одно утро, еще одну ночь. Уповая на чудо, а только оно и могло спасти от гибели в той же конной атаке, они доверялись лишь одному – своему звериному чутью, и чутье это подсказывало им, – представителем чуда на земле является конь. Какой конь, такое и чудо твое. Его чудом была Люська, не раз спасавшая ему жизнь.

Он вспомнил, как впервые увидел ее. Она стояла в загоне одна. Тихо стояла. Косила свой выпуклый влажный глаз.

– Дурочка считается, – сказал про нее Тихон.

– Почему, дурочка-то?

– Мамку ейную шрапнелью грохнули, когда она на ногах еще еле стояла... Сначала пристрелить решили, потом тетешкались хором, вот и вымахала большой дурой.

Стоило Ефимычу с Тихоном облокотиться на загон, как Люська отбежала в крайний угол, и оттуда устремилась на него, понеслась, будто намеривалась затоптать. У самой загородки, встала на дыбы и заржала.

– Говорил же, дура-лошадь!

И лучше бы Тихон не говорил этого, потому что Люська проделала то же самое еще раз и потом еще и еще.

– Глянул-ся ты ей комиссар, ну прям, как девке глянул-ся. Полюбила она тебя душою свежей, можно сказать с первого своего взгляда полюбила. Точно, как казачка себя ведет. Животное, а с люльки понимает, что мужику надобно.

Ефимыч смутился: сам почувствовал, что Люська не просто так, объявила свое лошадиное согласие. Что союз их, союз всадника и лошади, уже заключен.

Многорукие вековые дубы, стояли, точно по раздельной записи. У корней сосны лежал камень, и камень тот был причудливой формы. Будто кто-то доселе неведомый смотрел на безыскусную обветшалую беседку. Окрест которой стояла тишина, как общая, совместными усилиями завоеванная, мечта.

Ему показалось, будто место это, место причудливого камня, он видел уже когда-то в scarлатинном детстве. Странно, что оно всегда, в отличие от всех других «температурных» мест на земле, казалось ему единственно свободным, никем не занятым, дождающимся его вступления во владения.

«Может быть, я помню это место из прошлой жизни? – подумал комиссар, но отогнал от себя эту мысль, как совершенно непригодную для железного марксиста. От беседки вилась узкая дорожка. Она выводила к маленькому гнущему мостику под которым тихо текла вода. – Эти символистские дела до добра не доведут».

Ефимыч подошел к охотничьему домику. Огляделся и, когда кто-то неподалеку крикнул: «Анька, где ты? Нюсик, Нюсечка, маточка моя!», решительно направился к двери, чтобы избежать встречи, как с Нюсечкой-маточкой, так и с самим обладателем пачного голоса.

Такую дверь толкают пригибаясь даже не очень высокие люди. Скроена она была из трех сучковатых половин вглухую подогнанных. Для красоты и надежности, обита красноватой былинной медью.

Ему показалось, за нею что-то до боли знакомое разбросано, что-то что оставил он, не задумываясь, еще в четырех углах прежней своей жизни, а теперь вот оно – разбросано на сотнях страниц не разрезанной книги название которой пока не ведомо ему, книги, которую он найдет позже и, возможно, прочтет позже, когда все кончится и снова начнется.

Он решил, – первое что увидит за дверью, и будет ключом ко всему дальнейшему, если не всей его жизни, то, по крайней мере, важному куску ее.

«Не ouverte она, эта дверь. Верно, пересадили ее рукастые люди». – Комиссар толкнул дверь и, когда та простонала, словно живая, пригибаясь, вошел.

Первое, что увидел он, была обычная деревенская муха, совершавшая обычный для этих четырех стен облет.

Он мог бы ее рукой, а мог и пристрелить по-александр-пушкински. Но Ефимыч отказался от первого и от второго развлечения, стоило ему взглянуть на девку, отжимавшую в ведре тряпку.

– А ну, ноги!.. – приказала она и подол задранной юбки слетел вниз.

– Ноги – это у тебя. У меня, какие ноги, одни задние, да и те об отдыхе молят.

– Я на твой жалостливый мед не падкая. – И бросила тряпку, будто черту разделительную провела.

– Анька?

– А што?

– Так ищут тебя ...

– И пуцай... ищет. Пердовый мужичишка... Павлинье перо. Поперек дыхания мне. Сказывают люди, будто душу продал Соломонке в «Жидовском курене», а после на Кавказы утек с колдуном каким-то.

– Ох, и хороша ж ты!

– Когда мужик голодный, ему всяка баба хороша, в особенности девка.

– Так ты что, девка что ли?

– С одной стороны, вроде как девка еще, с другой – баба опытная...

– Не сбита, значит...

– Хранюсь для любви первой и полноценной.

– В наше время твой сургуч разве кто оценит? – Ефимович аккуратно обошёл ведро, огляделся по сторонам, втянул ноздрями запах сырых половых досок, стиранного белья и керосина.

– Авось повезет... опять же радость человеку.

– Ну, коли так, глаз разжигать не стану. – Он достал из кобуры «маузер», предварительно зажав кобуру подмышкой прострелянной руки, и затем аккуратно положил его на черный лоснящийся стол с масляным разводом посередине.

– Так ты ж жидок, тебе жидовочку, небось, подавай.

– Откуда знать тебе, чем грежу я. – Он одной рукой освободился от портупеи и положил её на стол, рядом с пистолетом.

Все это время Нюра не сводила глаз с комиссара. А он, словно не замечал её, словно уже один был.

Только Ефимович кожанку снимать, она:

– погоди, жидок, подсоблю... – и подлетела, и соском твёрдым в комиссарово плечо ткнулась, а сама душистая и с кислинкой юной.

Колышется девка вся, сосредоточенная на одном ей известном, комиссара совсем в угол загнала.

И только он на лавку кожанку бросил свою, только на гимнастерке верхние пуговицы отсчитал, сделав серьёзным и строгим лицо, как явился, скрипя половицами очень странный господин, виртуозно сочетавший в одном костюме полосу и клетку.

Господин был так крепко надушен, что это немедленно почувствовали и тяжело дышавшая Нюра, и комиссар, и только что очнувшаяся ото сна муха.

– Анна Евдокимовна, так вот вы где, душечка!.. Белоцерковский, – представился щеголь, не изгоняя изо рта горьковкусную тростинку, – Родион Аркадьевич.

Обладатель паточного голоса, спохватившись, по-офицерски стукнул каблуками двухцветных английских ботинок, имевших весьма плачевный вид, и выплюнул тростинку в сторону ведра. (Вероятно, намеревался попасть в ведро, но, естественно, промахнулся.)

Нюра даже не позволила комиссару представиться в ответ:

– Давно не видели вас, Родион Аркадьевич, – сказала она, едва сдерживая себя от нарастающего недовольства.

А тот, словно не замечая сверкания её глаз:

– Вечность, Анна Евдокимовна, вечность египетскую. – Он показал на комиссара, точно тот стоял пред ним каким-нибудь святым в митре и с золотым посохом в руке. – Не при постороннем человеке будет сказано, но вы, Анна Евдокимовна, душегубительница...

– Тю!.. – Нюра остановила движение Родиона Аркадьевича к себе поднятой шваброй. – Стоять!.. С пола подними, что бросил...

– Не «тю», – Белоцерковский аккуратно поднял тростиночку и так же аккуратно отправил плавать в ведро, – а так оно и есть по слову русскому. Вторую ночь к ряду глаз сомкнуть не могу, а только в сон, ей-ей, начинает мне Исида сниться. Вы, Анна Евдокимовна, верно, женщины той не знаете совсем, так я установлю её вам в лучшем виде, она, между прочим, одна из величайших богинь древности.

Ефимовичу этот балаган начал порядком докучать. Впервые за долгое время он встретил гражданского человека и человек этот уважения в нем не вызывал. Павиан какой-то в английском костюме и в английских ботинках, но какой же глаз у него въедливый, словно изготовился стрелять на охоте. И жировик на лбу то исчезает в мудрых морщинах, то появляется. «На географа нашего чем-то смахивает, когда тот к какому-нибудь острову вызывал или водопаду.»

Заметив, что комиссар, пристально глядя на него, начал что-то мучительно припоминать, странный человек на всякий случай ещё раз представился:

– Белоцерковский, так сказать... Родион Аркадьевич... Я собственно...

– ...Полно, Родион Аркадьевич, – сказал комиссар не без удовольствия, потому что Родион Аркадьевич в ту самую минуту окончательно слился с Георгием-как-его-там, географом. – Можете продолжить вашего Мольера неподалеку от прудов, если, конечно, Нюра того пожелает. – Ефимыч повернулся к Нюре. – Поднимешь меня через час. Где лечь могу? На лавке что ли?

– Зачем на лавке? За той вон дверью кровать имеется...

– А если мне что-нибудь из еды? Лук, хлеб и то хорошо.

– Как встанете, так и получите, – обнадежила Нюра.

– Идемте, Исида моя, я расскажу вам, где есть сметана, сыр и молоко, – проявил заботу странный человек с придавленным самолюбием.

– Молока не надо, – комиссар поморщился, – сыру бы хорошо. Странный человек совсем расчехлился:
– Все будет. И сыр, и Египет.

Сон никак не шел, и в то же время все было подернуто пеленою сна. И эта осень, и ветер, шелестевший в кронах деревьев, и шуршание оборванных листьев, и жужжание «чертовой мухи» под чертовски низким потолком.

Сильно дергало руку. Сетка на кровати оказалась скрипучей, растянутой посередине: «Видать, возлег на бабье ложе, – сокрушался комиссар – не сетка, а могила не засыпанная».

Через открытую форточку доносилось, чьё-то шумное прихлебывание. То ли кипятком кто-то пил, то ли травяной чай. Комиссар отметил про себя, что так пьют обычно те, кто помимо жажды, испытывает ещё и голод и надеется утолить разом и то и другое. «Бесполезно, водой сыт не будешь даже если вода горячая».

Карманные часы, подаренные отцом, выстукивали молоточком по серебряной пластине времени, невероятные, наваянные духовыми оркестрами в парках, воспоминания.

А потом он скакал на Люське от одной римской цифры к другой, потом – спешил и примкнул к самарской толпе, наблюдавшей за проходящим мимо пароходом. Он был уверен, что на палубе стоит тот самый человек, что сильнее других ждет его: «Человек ждет меня, он машет мне рукой, я должен, обязательно должен помахать ему в ответ, успокоить, знаком показать ему, что по его честь, по его славу происходит то, что происходит...»

Врезавшаяся в шею повязка помешала комиссару это сделать.

Ефимыч свесил ноги на пол, глянул на часы, словно те могли знать и по секрету сказать, кто был тот человек на пароходе, но часы, лежавшие рядом с «маузером» и спичками на табурете-коротышке, лишь поведали ему, что со времени, как он доверил голову подушке, прошло чуть более получаса. Немного, совсем ничего, если учитывать, сколько ночей он толком не спал. Но комиссар давно привык отделять прошлое от настоящего с помощью коротких скомканных снов.

Глиняный горшочек на четверть со сметаной. Комиссар влез в него деревянной ложкой, зачерпнул густой сметаны, намазал ею кусок ржаного хлеба и после щедро посолил.

Пережевывал медленно, все смотрел и смотрел на муху, угодившую в блюдо с медом. Муха время от времени подергивала лапками. Он поддел ее головкой зеленого лука и затем бережно опустил на угол стола к маслянистому пятну.

Вначале муха не подавала признаков жизни, но через какое-то время поползла, прихрамывая, в сторону портупей.

Наблюдая ее мучительное продвижение, комиссар почему-то вспомнил отцовские слова, можно сказать, определившие его молниеносный побег из дома: «Очень часто стремясь исправить что-либо, мы делаем только хуже. Поверь мне, Россия – страна хорового пения. А хористы отдают предпочтение лишь тому, что готовит к забвению».

Он тогда позволил себе не согласиться с отцом: «Революция – процесс, требующий колоссальных усилий от каждого сознательного человека».

Мать, слушая их, тихо плакала возле потрескивавшей голландской печки, а отец то нервно теребил, то резко сбивал снизу бороду. А потом он подвёл черту их спору: «Люди лгут себе чаще, чем другим», и ушел в кабинет, как уходят люди, когда чувствуют, что их провожают долгим взглядом. И больше Ефимыч не видел его. Мать видел еще, Ёську видел, сестер, а его – нет.

– На-ка вот, наворожил!.. – Тихон, с черными метинами на лице от порохового взрыва, протянул Ефимычу кожаную куртку. – Носу не вороть, Ефимыч, Адамов дух мазюку мою перешибеть. – Умыкнул картофелину со стола, ткнул в холмик соли на обрывке «Правды» и отправил в заросший грубым волосом рот прямо с кожурой.

Ефимыч не удержался от улыбки, освободил руку от повязки, влился в кожанку и начал под нее подстраиваться: поводить плечами, втягивать живот, надувать и без того тяжелую для его роста и возраста грудь...

Созидательные свойства летной куртки, с аристократическим гатчинским прошлым, оказались несомненными: комиссар выглядел решительней, значительней, и самое главное, много старше своих лет. Он поискал взглядом тряпку, не найдя, подобрал со скамьи чью-то портянку и быстрыми движениями одной руки протер куртку, чтобы не мазала черным, лишь после этого позволил Тихону набросить на себя желтую портупею.

– А говорят, будто жида без черта управляют. – И тем самым луком, на котором муха сидела и свой бедовый след оставила, в соль пару раз и в рот. – Да такой хлопчик як взглянет, у баб шнурки на корсэтах полопаются.

Тихон смотрел на Ефимыча глазами влюбленными. На своем веку он мызгал немало по еврейским местечкам. То от большевиков Россию спасал, то просто отводил душу православную в затажном черкасском погроме, но такого экземпляра встречать ему не приводилось; своей готовностью на все, что у доброго казака на уме, Ефимыч вызывал в нем чувства странные: от суеверного страха, до умиления почти отцовского...

Четыре крепко побитых поляками эскадрона прожили на панской территории ещё три дня. Утром четвертого ординарец комполка вошел в охотничий флигелёк, брезгливо налегая концом нагайки на былинную дверь. (Дверь простонала, точно старуха.)

– Тихон, шо ли ты будешь?!.. – сказал он сильным грудным голосом, наткнувшись на Тихона с начищенной теперь уже керосином комиссарской курткой в руках.

– А то в росте пал? – преградил ему дорогу Тихон.

– Росту прежнего, чертеж лица сменил. – Похлопывая нагайкой о ладонь, ординарец изучал босые ноги Тихона.

– Давно ж не виделись, почитай со вчерашнего утра, потому и не признал.

– Жидовскую кожуру на себя ладишь? – ординарец комполка попробовал отодвинуть Тихона нагайкой, так же, как только что дверь.

Тихон и не подумал впускать ординарца, глянул лишь в сторону темного угла, перекрытого плотной занавесью, висевшей на бельевой веревке, и лукаво улыбнулся.

– Мне, Матвейка, своей шкурки хватает.

А плескания и фыркания тем временем за занавесью стихли. Перестала долго падать в ведро вода. Теперь уже отчетливо доносились, резкие взлеты полотенца, в задачу которого входило ещё и обозначить присутствие в охотничьем домике невидимого третьего.

– Слухай сюда, кум, – сказал ординарец комполка, не меняя вежливого тона, – на меня вид сверху неприглядный для тебя будет, на меня, такие как ты, сквозь смертную подкову глядят.

– Ути-бути, бозе мой! Весьма утяжелил ты меня, Матвейка, свою шрапнелью, в сей момент за угол побегу портки сбросить... Чё тебе треба, говори? Чайку испить али Ньюрку за бока, шо твою кобылицу?

– Мою кобылку, кум, не тронь она у меня не какая-нибудь те-
лежная блядовица. Ньюрку сами тягайте, пока концы не отпадут, а
я твоему Мойше-с-половиной евангелю, веленую свыше, сообщу
и в революционный настрой заступлю.

– Ети, твою!.. Где ты тут, Матвейка, настрой красный узрел,
сквознячок под подолом бабьим. Докладай и с горки прочь.

– Тебе шо ли, щучку, докладать. Будет елозить, призывай ко-
миссара...

– Ай, ё ж ты мудень!

Комиссар вышел из-за занавески в ту же минуту с перебро-
шенным через шею полотенцем и жестяной баночкой зубного по-
рошка от господина Ралле.

Делая вид, что он не слышал этого придверного гарцевания, он
поставил баночку на угол стола и аккуратно просунул в мокрую
марлевую повязку перебинтованную руку, до того, свисавшую с
шеи вместе с полотенцем. В бородачке его поблескивали капельки
воды. Серьга горела, придавая рельефному торсу и лицу еще
большую смуглость.

– Что у тебя, Матвей, ко мне любопытного?

– Вот и я ему о том, – не унимался Тихон.

– А то есть любопытное, что вчера до комполка от пана по-
сылный ходил. Сообщил, что пан ихний приглашает всех господ
штаб-и-обер офицеров пожаловать завтра к нему на обед.

– Ай ли господ? Шо тебе, Матвейка, в голову ударило? – опять
вмешался Тихон.

– Так и молвил, товарищ комиссар, «господам офицерам». –
Матвей на Тихона смотреть избегал, словно того рядом и не было.
– Их ясновельможные, хоть в прошлом времени наших револю-
ционеров довольно у себя укрывали, а нынче все равно в царской
империи часы коротают. Ну так как, на балу-то пойдете? – Комис-
сар задумался, тогда Матвейка добавил: – Комполка передать
велел, что отказаться от приглашения не можно, потому как отказ
пана сильно заденет, а обижать пана запрещено из самой Москвы.

– Что ж, коли так, передай Верховому, буду.

– К шести просили.

- Так к шести пусть и ждёт.
- Комполка наказ дал, разговорами о польской гидре трапезу не раскрашивать.
- Ясно, петь, стрелять и танцевать строго запрещается.
- О кобылке твоей гутарить будем, – вставил Тихон, точно и сам был зван к пану.

Матвей с Тихоном в очередной раз пожевали губами, поиграли желваками, после чего ординарец комполка, испросив комиссарова разрешения, метнулся прочь, словно забежал затем лишь, чтобы погромоухать сапогами со шпорами в обители прокаженных.

Тучи то вовсе скрадывали свет, то неохотно пропускали его вдалеке над холмами, и тогда косые острые лучи подсвечивали нарезки полей, словно только что расчесанных гребнем. Слева и справа тревожно трепетала листва и никли огненные верхушки деревьев, как это часто случается перед самым дождем. Воздух казался чистым, и чистота его, и сокрытая лёгкость побуждали принять скорое и, конечно же, единственно верное решение.

А вот голубей в небе не было. Уже не было. И отсутствие их как бы лишало небо той заведомой высоты, какую ещё совсем недавно сообщали ему безучастные к происходящему внизу голуби.

«А может, не безучастные? – поправил комиссар кого-то из далёкого будущего. – Когда жизнь под облака уходит, кто ж разберёт».

Верховой и Ефимыч шли по заметно поредевшей липовой алее, делясь впечатлениями от той тишины, которая выпадает порою в дни войны и вспоминается перед началом боя, в особенности, если бой не обещает легкой победы, а земля уже отдает гнильцой.

Порядком отставая от комполка и комиссара, разбрасывая ногами палую листву, шли эскадронные Кондратенко и Ваничкин. Командир второго эскадрона, так же званный на обед, сославшись на невыносимую зубную боль, отказался поддержать товарищей. Про хозяина поместья и его матушку, здешние столько всего разного наговорили ему, что эскадронный решил от приглашения воздержаться. «Пуцай на луну барскую без меня слетают, а я апосля брехню их послушаю», – осторожно поделился он с ординарцем.

– Никак ливень собирается, – посетовал на природу комиссар, когда они с комполка вышли, наконец, из аллеи на открывшуюся взору панскую усадьбу, стоявшую на некотором возвышении.

– Ась?..

– Ливень, говорю, собирается...

– Ливень рассчитан природой, а у нас с тобой, все дела в обход нее. Сказочно-невозможные у нас с тобой дела. Хуч три потопа в день – сдюжим. Эх, Ефимыч, что Польша, до Индии доберёмся. Разобьем над ихними магараджами шатёр революции, растянем над океяном зарю вековечную! – Он обвел газетным свёртком надвигающуюся тучу. – А уж после Индии, все у нас с тобой, брат Ефимыч, под гармонь пойдет, как то товарищ Троцкий обещает.

Комиссар с комполка подошли к мягкой, выстланной желтым ковром, лужайке. У усыпанной листвою скамейки, разыскивающей исключительно одиноких путников, подождали пока подтянутся эскадронные и уже вчетвером подошли к широким щербытым стульям.

– Да, не дурён домик, – отметил комиссар.

– Живут люди!.. – восхитился Кондратенко.

Светловельможный встречал гостей у парадного входа ухоженного двухэтажного дома с зеленой свежевыкрашенной крышей, благодарил «господ офицеров» в самых что ни на есть старомодных и высокопарных выражениях, за то, что приняли его приглашение.

– Полагаю, – молвил пан певучим баритоном с легким польским акцентом, – что прежде, чем сесть за стол, хорошо было бы нам познакомиться, тогда, глядишь, и обед веселее пройдет. – Пан назвал известную всей Польше аристократическую фамилию, пару веков назад удачно породнившуюся с фон Шверинами. – Я, господа, как и вы, служил в кавалерии, в настоящее время являюсь ротмистром в отставке. А теперь прошу господина полковника познакомиться меня с гостями.

Верховой Ефимыча представил первым, а уж затем командиров эскадронов.

– Вы ранены? – участливо поинтересовался пан. – Насколько серьезно?

– Навылет. Кость не задета. Надеюсь, скоро заживет.

– В вашем возрасте, пан комиссар, все процессы, требующие необходимого срока, сроком этим пренебрегают. Тем не менее, внемлите совету старого вояки, прикладывайте капустный лист на ночь. Лучшие будут, для такового использования – от кочерыжки третий, либо четвёртый. Счёт здесь важен.

Кондратенко воспринял совет пана, коротким сомнительным покашливанием. Создавалось впечатление, что у него уже была когда-то прострелена рука, причём в том же самом месте, что и у комиссара и тогда рана зажила сама по себе. А командир третьего эскадрона Ваничкин, тот вообще издал некрасивый вальерный звук, то ли шакалий, то ли птичий, впрочем, пан, будучи человеком хорошо воспитанным, сделал вид, что не заметил этого.

Пан, седовласый красавец лет пятидесяти, участник нескольких, решающих исход боя кавалерийских атак и гроза венских артистических салонов, любезно пожимал руки гостям: «Молодцы-молодцы!.. Все как один... Браво, господа, браво, право же...», — пел он все тем же хорошо поставленным голосом. И хоть был в штатском платье и выглядел вполне человеком, давно отошедшим от ратных дел, все ж было заметно, с каким неподдельным интересом поглядывал он на оружие красноармейцев. Даже затертые и потрескавшиеся портупей и те, о многом могли рассказать ему. А вот гатчинская куртка комиссара пану решительно не понравилась и грязно-желтая портупея тоже. «Будто вчерашний семинарист из бронепоезда явился. Без традиций армейских человек, — подумал про себя пан. — Такой ради кремлевской славы до Туркестана землю обагрит».

Комиссар почувствовал, что хозяину не глянулся, и решил так, что, Тихон, вероятно, переборщил с керосином: «Будто я, инженеришка какой, с нобелевских нефтепромыслов да в красноконники».

Покончив с первой официальной частью встречи, зашли в дом. И тут же оказались в части второй не менее официальной.

Справа от дверей перед лестницей гостей дожидалась прислуга, состоявшая из двух, склонивших головы, молоденьких горничных, в фартуках и кружевных наколках и сгорбленного управляющего в черном костюме и при малиновой бабочке под очень упрямым подбородком.

Звали горбуна Яном, и, когда хозяин имения представлял его, он сказал:

— У Яна взгляд на жизнь голубиный. (Комиссару послышалось — глубинный.) Без Яна я бы пропал.

«Надо же, целая процессия! — подумал комиссар. — Как тяжело, как неправильно порою живут люди. Сколько лишнего сопровождает их и сколько лишнего говорится, перед тем как подойти к самым простым вещам».

– Могу предложить поставить ваш сверток сюда, – Светловельможный указал Верховому на кованную корзину, в которой стояли несколько зонтиков.

Верховой гулко постучал себя по сердцу:

– Сверток драгоценный для бойца, не гражданским зонтикам ровня.

– Как знаете, пан полковник.

Ваничкин в тот момент, находясь в состоянии восхищения горничными, поцеловал одну из них в губки с расстояния в несколько шагов, горничная этот поцелуй эскадронного оставила без внимания.

Тогда Ваничкин сказал:

– Разрази меня подагра!.. – и с того же самого места, не целясь, поцеловал вторую, у которой глаза, если приглядеться, слегка вальсировали.

И вторая, поскольку по заведенному этикету не имела права совершать какое-либо движение в данную минуту, от проявления чувств красного бойца, закусил губу, чтобы не прыснуть со смеху.

По лестнице в визитном платье с бархатными вставками медленно спускалась пожилая дама, всем своим видом дававшая понять, что о приходе гостей она узнала в последнюю минуту и до той самой поры была вполне себе счастлива.

– Леон, – бросила дама с лестницы, опираясь на черную лакированную трость и нацеливая серебряный лорнет вниз. – Как я понимаю, это не звездочеты?

– Вы как всегда, маман, прозорливы на редкость, это – красные кавалеристы.

– Czerwone kawalerzyści? Те самые, что даровали Войцеху свободу? Храни их господь. – Старухин лорнет остановился на комиссаре.

– Маман... – ротмистр несколько смутился. – У них сложные отношения с Богом.

– Во что же они верят? – старуха облетала взглядом уже всю четверку.

– Надо полагать, в человека. – Пан осторожно похлопал по плечу комиссара и добавил: – Исполненного самых незаурядных качеств.

– Выходит, они – гуманисты-вольтерьянцы? – пожилой даме оставалось спуститься еще несколько ступенек, но она решила вначале дожидаться ответа.

– Боюсь, тут вы немного промахнулись, матушка.

– А как же твои звездочеты?

– Господа, я пригласил на обед и Родиона Аркадьевича с Ольгой Аркадьевной, также волею случая моих драгоценных гостей. И хоть они оказались застигнутыми врасплох вихрем событий и потому вид имеют, как вы уже успели заметить, весьма плачевный, однако ж, на мой взгляд, Родин Аркадьевич и Ольга Аркадьевна – люди в высшей степени интересные, и элемент некоторого разнообразия в наше офицерское застолье непременно должны внести. По крайней мере, на сие обстоятельство я чрезвычайно рассчитываю. Вы же не будете иметь ничего против, господа?

– Без волхвов, всяко вино, что ил бродильный, – бухнул Ванчикин и обнажил пану сильно тронутые цингой десна.

Активность Ванчикина, слывшего в полку, человеком неуравновешенным более чем кто либо, не понравилась комполка.

– Успел уже где-то затянуть поршнем. Вели Кондратенке, глаз с него не спускать, – сказал он комиссару, – а то того гляди, «выплывет параша, скажут, что наша».

Поднимались мимо старухи, предусмотрительно отодвинувшейся к перилам, по скрипучей деревянной лестнице, раздваивающейся на первом марше. Свернули налево, к чучелу бурого медведя, приветствовавшего гостей, стоя на двух лапах с распахнутой пастью. Еще раз свернули налево и оказались в просторной светлой зале, с пятью узкими окнами, выходившими на небольшую приусадебную полянку с той самой тургеневской скамейкой, возле которой только что стояли комиссар с комполка.

Вошли и встали, точно по команде.

Беременная борзая с лаем выскочила из-под стола и перерезала им путь.

Пан вначале закричал на собаку: «Szalona!..», а потом присел и поцеловал в нос, извинился по-польски. Та вытянула вперед шею во всем с ним согласная и прошла мимо гостей. Ткнулась мордой в старуху, постояла немного, после чего потрусила, клая по навощенному паркету. Ушла в открытую дверь, чтобы ей не мешали жить той осторожной собачьей жизнью, которая сейчас от нее требовалась.

Дубовый паркет, по которому старуха зачем-то постукала тростью провожая собаку, отдавал коньячным цветом. В пятисвечни-

ках, установленных в центре стола, уже тихо потрескивали свечи. Тускло поблескивала на каминной полке коллекционная венская бронза. Темными картинами в массивных резных рамах, закрывались почти все стены.

Написанные в классической технике, пробуждавшие немало забытых чувств, они говорили, прежде всего, о тех потерях, которые неизбежны на войне, и главная из которых – потеря самого себя во времени, слетевшим с привычного хода.

Ни та благородных кровей амазонка, на холеном коне, окруженная длинномордыми и тонконогими борзыми, вероятно, далекими предками той, что только что покинула залу, ни ожидающий смерти, распростертый на арене гладиатор, ни мечтающая о запрещенных маменькой чувствах светловолосая курсистка в потрескавшемся от времени солнечном луче и с поэтическим сборником на фиолетовых коленях, никто не призывал немедленно пожертвовать настоящим во имя светлого будущего. Время на картинах, словно было остановлено словом «замри» для того лишь, чтобы созерцатель обратил внимание на обычно сокрытую от глаз его текучесть. А еще все картины и персонажи на них как бы одним общим росчерком, говорили о том, что нет большего преступления, чем позволить кому-то исправлять твое прошлое и вмешиваться в твоё настоящее.

Ефимыч, быть может, впервые в своей жизни ощутил, что нет такой силы, которая могла бы воспрепятствовать повторению космических циклов, воспрепятствовать тому самому первому бесконечно длящемуся мигу, из которого все вышли. Из той самой детской Африки из которой и та девица с поэтическим сборником на коленях, и гладиатор, и пан Леон со своей маман, и он сам, в прошлом самарский гимназист, ныне восставший против гераклитова положения. Ефимычу даже захотелось крикнуть тому, кто через сто лет войдет в его реку, в его Волгу на правах кровного родства и полного единомыслия: «Эй, Самара, качай воду!»

– Иногда мне кажется, что без этих картин я могу заблудиться, сойти с ума, – разоткровенничался хозяин дома, заметив с какой жадностью пан комиссар разглядывает полотна, – Однако, прошу к столу, господа офицеры.

Пан явно хотел удивить «господ офицеров» своей щедростью.

На долгом столе, усталом голландской скатертью, яркими пятнами вспыхивали блюда с разнообразной снедью. Возле каж-

дой тарелки с золотым фамильным гербом – серебро и белотканые амстердамские салфетки. Десятичарочные штофы и тонкостенные, подернутые инеем графины с травяной водкой возвышались над холодными закусками, точно готические храмы над многолюдными рыночными площадями.

Насытившись сполна замешательством красноармейцев, светловельможный пригласил за стол еще раз.

– Господа, поймите правильно, всего лишь согревающая душу национальная кухня. Не верьте, господа, когда говорят, что галицийская кухня находится под сильным австрийским влиянием, и для примера берут тот же венский штрудель. Под сильным влиянием находится пан Пилсудский. И мы, господа, даже знаем с вами, под чьим именно. Нет, вы только подумайте, – он безнадежно воздел большие руки кавалериста к низкой люстре, – харьковский медик пишет Безелеру от лица всей Польши... От моего лица! Нет, каково, а?!

– Леон, – остановила старуха сына.

– Что за чудо, эта женщина. Я бы пропал без нее. – Ротмистр громко рассмеялся.

Уселись. Ефимыч – слева от ясновельможного, Верховой – справа. Маман заняла позицию для обзора наиболее выгодную – в дальнем углу стола. Ее серые навывкате глаза бесцеремонно следили за каждым. Сейчас более остальных старуху интересовал Кондратенко.

– Ядвига, Ядвига Оль-герд-овна, мой сын не представил меня, – обратилась она к Кондратенко слишком громко, как то бывает с людьми, плохо слышащими не только других, но и самих себя. – Такое с ним водится в последнее время.

Не выдержав длительного взгляда холодных глаз Ядвиги Ольгердовны, командир эскадрона набычил шею и зловредно скривил рот.

Даму это, похоже, не напугало, она ответила эскадронному зеркально отраженной улыбкой, будто так же умела, когда надо и шашкой рубануть и жидку врезать.

Почувствовав возникшее меж ними напряжение, Ефимыч попросил эскадронного, быть поласковой с «мадам».

– Не могу, – прошептал в ответ эскадронный, заливаясь краской сквозь щетину, – от смущения живот больно пучит и внутри обрывается все от допущенной несправедливости.

– Господин комиссар, я так разумею, что вид холодной бунины вас уже не должен смущать. Так отведайте, такой на сто верст вокруг не сыщете. Ян поддержит блюдо. Ян!.. – Однако управляющий блюдо держать не стал, послал взглядом горничную за спину комиссара. – Воспользуйтесь и клюквенным соусом, настоятельно рекомендую. О-у-у, а вот и наши звездочеты!

Ротмистр вышел из-за стола, прошёлся рукою, точно горячим утюгом, по стального цвета визитке, обошел маман и направился к Родиону Аркадьевичу и Ольге Аркадьевне.

– Документы!.. – пошутил пан не до конца строгим голосом, видимо, он хотел сказать все же «приглашение», но зато вышло вполне в духе времени. – Нет документов? Ну и не надо, у нас сегодня все для народа. – Он с удовольствием потряс руку Родиона Аркадьевича и салонно припал к пахнущим полынью пальчикам напуганной Ольги Аркадьевны.

– Ваши места, супротив господина полковника и комиссара. Будет как в синематографе, обещаю... Agnieszka, Weronika, ze stoisz?

Заплясали огни свечей, зазвенело празднично стекло, горькая приятно обожгла еще свободные, еще не забытые изысканными блюдами внутренности и вот уже вскоре наступил тот благостный момент, который имеет удивительное свойство наступать за любыми столами во все времена, пусть и самые лютые, стоит лишь трапезничающим утолить первый голод.

Пан был человеком крепким и чисто внешне и по своему содержанию. Многим интересовался. В особенности, когда вышел в отставку. В круг его интересов попадали и короли, и каравеллы, и старинные неточные карты, и точные анатомические атласы, и даже последние открытия в области бессознательного господина Фрейда. Интересовало пана и все мистическое, спиритуальное, в особенности, если оно было связано с неразрешимыми проблемами пола и пророчествами на ближайшее время.

Желая подвести господина Белоцерковского к теме, касающейся тайных знаний и прекрасно понимая, что тот вряд ли сходу начнет розенкрейцерствовать, да еще и при красноармейцах, пан решил начать с легкой мистической истории про шпаги, которую так любил и, которая неизменно имела большой успех исключительно во всех компаниях. А тут еще молния распорол дно небесное и разбавленное электричеством чернило стремительно

хлынуло в самозванные очертания окон, затрещало где-то вдалеке, гроыхнуло где-то совсем близко, все переглянулись, все почувствовали, что гроыхание небесное имеет силу выше человеческой, короче, пан ротмистр решил времени даром не терять.

Он пропустил обычное свое вступление о свойстве колдовства и заговоров в прогрессивном XX веке, поскольку функцию того вступления уже взяла на себя небесная артиллерия, и начал с того, как некий модный варшавский журналист, приятель старшего брата купил в антикварном магазине старинные шпаги.

– Вообще-то шпаги были ему не к чему, фехтованием он, как вы понимаете, не занимался. Но они настолько очаровали его красотой отделки, что он решил купить их, не пожалев заплатить большие деньги. Отдавая шпаги, продавец сказал: «Должен вас предупредить, шпаги заколдованные, и тот, кому они достанутся, непременно разведется с женой».

Пан взял паузу в этом месте и ею, к большому неудовольствию пана, немедленно воспользовалась Ядвига Ольгердовна:

– Леон, – заметила старуха подчёркнуто сухо и снова слишком громко, – право же, сколько можно, одно и то же, одно и то же?!

Пан отмахнулся очень по-русски, одним жестом. К тому же дождь уже барабанил в стекла. Да и отступать было совсем не в его характере.

– Что за чепуха, возмутился журналист, – пан быстро-быстро принялся раскуривать вересковую трубку с длинным изогнутым мундштуком, которую ему поднёс Ян. – Неужели в наше время найдется человек, который всерьёз поверит этой байке. Однако через полгода он с женой разошелся, а шпаги подарил моему старшему брату, который с женой тоже разошелся через год после получения подарка. Шпаги брат подарил мне. Я повесил их на ковре в кабинете. Вскоре женился и я. Как-то я пригласил гостей на обед и рассказал о роковом влиянии шпаг на семейную жизнь. – Старуха начала картинно отмахиваться от табачного дыма и Кондратенко уже решившийся достать кисет с табачком, решил пока повременить с курением. – Мы все дружно посмеялись над суеверием, а кто-то из гостей сказал, что моя семейная жизнь – лучшее доказательство абсурдности этого суеверия. Через некоторое время я заметил, что шпаги из кабинета пропали. У меня была молоденькая горничная, девушка из-под Кракова...

– ...Янина, её звали Янина, – несколько бесцеремонно внесла уточнение старуха, видимо, показавшееся ей важным.

– М-да, так вот, я спросил Янину, не спрятала ли она шпаги. Она ответила, что, вероятнее всего, они в голубятне у Яна, потому что как только вы рассказали про шпаги, он их снял со стены. – Ян в тот момент направился к одному из окон с таким видом, будто история, рассказываемая паном, его не касается, повернулся горбом ко всем, проверяя состояние щеколд. – Я полез на Яновскую голубятню, – пан меж тем обернулся в сторону управляющего, ища у горба поддержки, – она у нас на холме стоит, на самом высоком, но шпаг там не обнаружил. Тут надо сказать, что с женой я все-таки разошелся. Да, господа, да-да-да.

– Леон!.. – вновь оборвала сына Ядвига Ольгердовна.

– Ушла в революцию моя благоверная, господа.

– Леон, не без твоей помощи... – складывалось впечатление, будто она простукивала молоточком терпение сына. И было также совершенно очевидно, что пана ротмистра она любит меньше, чем своего старшего своего сына.

Но терпения пану было не занимать.

– Возможно... в какой-то степени. Но, очевидно, прежде всего, здесь сказалось влияние шпаг, хоть их в доме и не было к тому времени.

К тому времени горничные внесли гуся.

Это был воинственный Друджик, всеобщий любимец. Из круга печёных яблок Друджик вырваться уже не мог, как и не мог больше заступиться за своих гусынь, загнать на дерево кошку, щипнуть бабу за подол... Зато как величественен, как скульптурно осанист и белоснежен был Друджик на большом блюде, на большом столе, пока горничные не начали возиться с ним, пока не осело Друджиково туловище, не захрустели, не затрещали все его косточки и не брызнул горячий жир из боков на луковые колечки.

Комиссару в момент этот почему-то вспомнилось прихлебывание чая голодным человеком: «Кто это был, если не Тихон? Чего хотел? Не так же просто сидел на ступеньках охотничьей».

– Тепереча у нас ход крутой, – опасно повеселел Ваничкин.

Чарочка за чарочкой, лафитничек за лафитничком. Водка-«тройник», бимбер (Ян сам производит и настаивает на ореховых перегородках), хреновка и перцовка с медом, сливовица (также

Янова), настойка айвовая, наливки чернослиловые и ежевичные, яблочник...

Друджик хрустит, мясо его, яблоками смягченное, сочное, кое-где с кровиночкой, такое вкусное, не успедишь, как проглатываешь.

Кондратенко сначала Друджика вилкой и ножичком, степенно так, как старуха ест, а потом, чего церемонится, годы-то все равно не те, происхождение тоже, ухватился руками за ножку Друджика и давай в себя проталкивать. Ай, гусь славный, ай-ё, поживший-погулявший, травку пощипавший!.. А старуха Ядвига вздыхает тяжело и то на сына своего взгляд укоризненный бросит, то к Яну повернется. А тот в ответ, незаметно, но так, чтобы старухе видно было, головой качнет, плечи поднимет и тут же опустит, в знак солидарности. А горничные, те в стороночке, горничные не мешают господам, они у камина стоят, но если надобность какая, тут же подлетят, тут же желание застольное исполнят. Но никто пока что ничего не говорит, все заняты, все Друджиком увлечены.

Между командиром полка и паном неожиданно завязалась оживленная беседа. В ходе нее пан высказался в том духе, что, мол, понимает, что делают в полку командиры, но никак не может взять в толк, к чему в полку комиссар и каковы, собственно говоря, его служебные функции. Сказав пану пару раз: «Ась?», Верховой все-таки попробовал объяснить тому, что комиссар является нравственным и, так сказать, духовным наставником личного состава полка.

— Понимаю, понимаю, — перебил его пан, — значит, комиссар, это своего рода красный революционный поп.

— Leon, po co ci to potrzebne? — попробовала остановить сына старуха.

— Религию мы, господин ротмистр, не признаем, — сказал Ефимыч, краем уха внимательно следивший за беседой.

— Комиссар воспитывает бойцов в духе преданности родине и идеям коммунизма, вселяет в них бодрость, следит, чтобы бойцы были здоровыми и веселыми. — Вступился за комиссара комполка.

— «Здоровыми и веселыми»?! Ну, на фокусника пан комиссар не похож, может, он искатель новой веры, новой правды? Что же вы ищите? — обратился пан к комиссару. — Какое волшебное лекарство есть у вас от болезней, какая такая новая новость, чтобы сделать всех веселыми и здоровыми?

– Мы ищем момент вечности, – сходу нашелся комиссар, не смотря на неожиданно прямо поставленный паном вопрос. – Вот и вся наша новая новость.

– «Момент вечности»? Один на всех?! – пан изломал бровь, как это делал в салонах, когда не мог ни понять, ни принять чью-то позицию, подпил комиссару «чистенькую».

– Разумеется. Разве может вполне живой человек существовать отдельно от других людей, иметь иные, нежели у них интересы и представления жизни? А лекарств у меня нет, я не лекарь. И веселье внушаю исключительно победами большевиков на фронтах революции.

Пан кивнул головой в знак того, что понял, хотя по выражению его лица сказать этого было нельзя.

– А вы, Родион Аркадьевич, что ищите вы? – обратился он уже к Белоцерковскому, чувствуя, что время розенкрейцерства наступило.

Родион Аркадьевич, быстро проглотив горячий ещё кусочек Друджика, сказал, что сейчас уже и не ищет ничего, одну лишь мечту холит, добраться до своего мастера, до группы, от которой они отстали из-за болезни сестры. И хотя, ему очень хотелось рассказать о «Четвертом пути», об «идиотах», о трех силах и мифических кругах, которые каждый из нас себе сначала нарисует, а после запирается в них, рассказать, об августе 1918 года, как переходили они через Кавказские горы под водительством мастера, но что-то удерживало его от этого рассказа, словно сам мастер, сам Гурджиев, издавдала не позволял ему этого делать. Вместо всего этого, Родин Аркадьевич принялся говорить обще и довольно-таки путано, мешая времена, события и людей.

– Ах, вы не поверите, сколько мы всего претерпели, – поддержала брата Ольга Аркадьевна, не поверите, сколько всего на Кавказах на нас обрушилось. – И сама, испугавшись своих слов, смолкла, сникла.

– Мы с Петром Демьяновичем, – очень осторожно вышел на новый виток Родион Аркадьевич, – познакомились еще в Петербурге, знаете, в тот момент, когда существо человеческое стремится к проявлению впечатлений и восприятие мира его предельно обострено... – Кондратенко в тот момент громко некрасиво рыгнул и, озадаченный своим же произвольным поступком, закрыл рукою рот, чтобы тут же не засмеяться. – А он уж после

свел нас с сестрою с учителем. Мы шли от большого Бога к маленькому «я». А потом, потом – Россия «без власти», революция, дорога, северокавказская мистерия...

– А вот это интересно!.. Родион Аркадьевич, просил бы вас подробнее, коли не возражаете и тайны в том большой не усматриваете.

– Бог с вами, какая уж тут тайна. Поначалу жили в Ессентуках, неподалеку от учителя, он тогда познакомил нас с упражнением «Стоп!»...

– Что ж то за упражнение такое? – спросила старуха слегка одышливо и вельможено, осторожно пригубивая сидра.

– А чтоб себя вспомнить, себя ж забывать ни в коем разе нельзя.

– Что ж вы за люди такие, все о себе, да о себе?! – не выдержал командир третьего эскадрона.

– Цыц, Ваничкин!.. – оборвал его Верховой грозно и убрал свёрток с колен за спину на всякий случай, потому что с Ваничкиным характером судьба его не раз сталкивала.

Ольга Аркадьевна, сильно испугавшись, ухватила за руку брата. И нечаянный жест ее означал только одно, чтобы более брат ничего не говорил и был внимателен ко всему происходящему за столом. Не было сомнения, что у этой дамы имелся опыт в общении с красноармейцами.

– Ну, так что, звезды, влияют на судьбу человека? – старуха Ядвига выказывала явное нетерпение.

– Что вам сказать, мадам, наш учитель считал, что они влияют на тип, но никак не на индивидуальность...

– Что же дальше? – нетерпение выказывал и ее сын, застывший со штофом в руке. Помнится, вы мне рассказывали про какие-то суфийские пляски, про битву магов, хотелось бы поподробнее...

– Учитель снял дачу к югу от Туапсе... Затем снова Ессентуки, «Интернациональное идеалистическое общество», которое создал учитель...

– ...А, звездочет, все ж таки развернуло тебя к интернационалистам!.. – лицо командира третьего эскадрона вспыхнуло и, казалось, песочного цвета усы его и те загорелись от счастья. Он откинулся на спинку стула, поправил маленький кленовый лист, подобранный им в алее и там же вставленный «на счастье» в петлицу, и затанул казачью:

— А как на горе, горе стояла корчма, корчма польская, королевская... Что, не нравится?.. — обратился он ко всем сидящим, — А вот это? Нам Пилсудский ни куяси, нам поляки ни кера, мы вам врежем по мордаси, дорогие господа...

Комполка вскочил со стула и огрел по уху командира третьего эскадрона Ваничкина.

Тот вернулся в прежнее положение не сразу, а вернувшись, совсем разошелся:

— Почто Войцеха ихнего отпустил? Нет у тебя права такого революционного, чтобы пленных разбазаривать по ходу войны! Что смотришь-косогоришься?! — И снова затянул: А у нас на Дону весело живут. Не ткут, не прядут, ни сеют, ни жнут. Вот только как подует ветрило юго-западный, так вода-то и поднимается, хаты-то за-топ-ляет... А так оно, ничего, так оно, так оно жить можно.

— Ну что, эскадронный, оголил свой зад?! — спросил комполка, продолжая стоять над Ваничкиным, как старая гувернантка. — Тебе, брат, не водку пить, а дерьмо теплое хлебать.

Старуха, забыв про лорнет, изучала командира третьего эскадрона, точно тот служил редким экспонатом в кунсткамере. Ольга Аркадьевна посмотрела на расстроенного пана, как смотрели на него женщины лет двадцать назад, но тут же опустила глаза, будто кто-то за этим столом мог её в том упрекнуть, пристыдить. Комиссар же посмотрел на Родиона Аркадьевича, страшно занятого запонкой на манжете, и понял, что он был много, много сложнее, чем казался ему раньше. Сложнее того человека, каким подавал себя во все то время, что гонялся за Нюркой или делал вид, что гоняется. И комиссар решил так, что причиной тому, наверняка, война, а вовсе не мистика и не мастер Гурджиев. Пан посмотрел на Яна. Ян кивнул в ответ седою головой и ушел в ту же дверь, в какую ушла борзая.

И пока Яна не было, было так тихо, как бывает тихо либо «до, либо «после» крушения надежд и подсчета того, во что они обошлись. Да, было тихо. Совсем тихо. Если не считать того, что взметнулась занавесь и горничная кинулась закрывать слабую форточку, старуха постукивала тростью по паркету, а командир третьего эскадрона наливал себе и пил, наливал и пил. А комполка смотрел на него и молчал. И Кондратенко молчал, скрестив на груди руки. И комиссар...

Он сейчас безотрывно смотрел на свечи, следил, как танцуют в тишине стебельки пламени. «Почему сейчас они горят без пре-

жного сильного качания? Почему вдруг стали одинаково торопиться? Почему так неравномерно догорают? Вон той, что ближе остальных к блескучей запонке Родиона Аркадьевича, жить совсем ничего осталось, а она о том и не ведает, горит наравне с остальными и не печалится...»

Он представил себе, как стало бы темно в этой зале, если бы все свечи вдруг разом потухли. К какому действию темнота побудила бы людей, сидящих за этим столом? Насколько бы отрезала друг от друга? И тут ему почему-то вспомнился малец Ёська, у которого с темнотой были такие сложные отношения: «Чего ты ее боишься, братец?» – «В темноте много всего разного живёт, но не показывается».

А потом, потом Ян появился, за которым неторопливо перебирала борзая. И у комиссара возникло чувство, будто они из той страшной и враждебной темноты вылепились, в которой плавала ночами кровать Ёски. «Ты не бойся, братец Ёська, мы все немного из темноты. А свет – он каждому для временного утешения дан».

– Позвольте, в знак величайшего моего уважения преподнести вам памятные подарки, – нарушил тишину пан, поднимаясь со стула и направляясь к стоявшему с подарками Яну.

Пан преподнес Верховому канадское седло, обтянутое кожей вишневого цвета с бронзовой передней лукой и затейливо расшитым чепраком. После чего недовольный Ян исчезал еще два раза и возвращался с чепраками для эскадронных.

– Для вас, господин комиссар, – тоже приготовлен подарок, но вручить его вам я смогу лишь тогда, когда полк построится в походную колонну...

Командир полка, поднял сверток, порезал столовым ножом веревку и бросил ее на стул, сорвал старые номера «Правды», скомкал и отправил туда же, после чего торжественно вручил пану кавказскую шашку, ножны которой были украшены камнями по-кавказски богато.

Кадык на шее светловельможного задрожал, точно поплавок, глаза затянула пелена:

– Господин полковник, эту красавицу-шашку я повешу туда, где некогда весели мои шпаги, и, несомненно, она будет украшать кабинет и напоминать мне о вас. Надеюсь, шашка незаколдованная?

– Что вы, пан ротмистр?.. – сказал Верховой.

В крайнем случае, вам придется снова жениться, – не упустил случая комиссар.

Пан в долгу не остался:

– Не будем учинять давку при разборе шуб, пан комиссар. – После чего показал управляющему, чтобы тот шел впереди красноармейцев.

Родион Аркадьевич и Ольга Аркадьевна поднялись со своих мест. Уходить пока что они не собирались. Ядвига Ольгердовна продолжала сидеть с очень строгой спиной и постукивать тростью. Как Верховой с комиссаром выталкивают эскадронного Ваничкина, больше ее не интересовало. (Похоже, сделала выводы.) Сейчас её более всего занимало, удержит ли горничная собаку, заливающую лаем.

Горничная руками и коленями отодвигала собаку подальше, в сторону низкого и глубокого кресла.

– Pani Jadwiga, ona zaraz urodzi!..

– Ты граблями-то предо мною брось махать, слышь, комиссар, – Ваничкин не удержался и нацелено двинул Ефимычу по перебинтованной руке.

Вторая горничная кинулась на помощь первой, едва не упустившей борзую.

– Matka Boska, trzymaj j?, trzymaj!..

Верховой тотчас же отодвинул комиссара в сторону и сам схватил Ваничкина за ворот, увлекая того к дверям. Федор еще пробовал всеми силами держаться за воздух:

– Кофея жду. Кофея мне неси!.. Задушишь, мать твою! Почто так расчувствовался перед гадом? Почто в нашу «Правду» шашку заворачивал? Почто, спрашиваю, ленинскую комкал?

– «Вечернего слова» от Врангеля не было, вот так и комкал, Федор, так и комкал.

Было темно и сыро. Было одновременно и трудно, и легко. Звезды светили с некоторой осторожностью. Казалось, за то время, что «господа офицеры» обедали у пана, деревья договорились меж собою объединиться. Они стояли одной массой и от того казались выше. Упирались темными верхушками в небесное чернило. Скамейка съехала со своего прежнего места, да и вход

в алею порядком отодвинулся. Теперь до него нужно было идти, сильно забирая вправо. «Так всегда бывает, как только из света в темноту», – заметил про себя комиссар.

– Я не признаю никакой обязанности давать кому-нибудь немедленный отчет, – заявил вдруг Ваничкин и плюхнулся на скамейку, на мокрые листья. Закинув вальяжно ногу на ногу, он принялся накручивать ус.

– Ась?

– Не придуряйся, командир, все ты слышишь. Только ласковое себе, а остальное – назад... – и за второй ус принялся.

– Федор Игнатич, – Верховой сделался подозрительно осторожным, – завтра выступаем, а тебе, любезный ты мой, еще проспаться надо бы. Давай, пошли...

– Ты ведь не оставишь меня, командир? – не посчитавшись с только-что задранными усами, губы Ваничкина неожиданно съехали вниз.

– Не-е, не оставляю, что ты... Как подумать такое мог.

Ваничкин встал со скамейки, рассчитывая на свежие силы.

– Ну, так-то лучше, – Верховой положил на край скамейки казадское седло и отряхнул товарищу мокрый зад. – Дорогой поможет свежий воздух, а там, глядишь, и все поутихнем.

– Кто поутихнет, а кто и нет, – возразил Кондратенко.

Ваничкин тогда злобно рассмеялся, а потом, почувствовав, что как только они скроются в алее, Кондратенко задаст ему трепку, рванул вперед, но споткнувшись обо что-то, растянулся в дождевой луже.

– Ну-ка поддержи, Ефимыч, мой новый потник, – сказал Кондратенко комиссару, – и накинусь на Ваничкина.

Комиссар было за ним, но его попридержал Верховой, мол, все простить – дело необременительное.

– Вставать будешь, али звезды считать? – не дождавшись ответа, Кондратенко принялся бить товарища ногами в бока. Удары получались глухие, без той торжественности, к которой Кондратенко всегда питал слабость.

Вскоре Ваничкин выдал струю, и Кондратенко брезгливо отошел от соратника. Нагибаясь, разглядывал в темноте, не запачкал ли тот его сапоги.

– Если письмо подметное надумаешь соорудить, попадешь в категорию врагов народа, где мне удобно будет, там тебя в могилу и закопаю, – приободрил комиссар эскадронного Ваничкина.

– Так что тепереча тебя, Федюха, опасности на каждом шагу твоим безмозглом подстерегают. А ты, Ефимыч, чепрак панов себе забирай, потому как, не заслужил его Федор Игнатич.

Федор, оставаясь в холодной луже, смотрел на мир снизу с удивлением и много не понравившегося ему из этого взгляда, списывал на сиюминутные свойства ландшафта.

– Други, погодите, простите, не черните... Я мигом, – вскричал он вдруг в удаляющиеся спины товарищей.

Комиссар шел не оборачиваясь. Ефимыч нес на плече чепрак, подаренный паном Ваничкину, и думал, может, и в самом деле, забрать его себе, как то комполка присоветовал. А то вроде как без подарка остался, хоть и обещал ему пан, подарок поднести, как только они в походные колонны выстроятся.

Желая изо всех сил унять бушевавший в душе хаос чувств, Ваничкин нагнал товарищей и кинулся лобызаться. Комполка безглаголиво уходил от сближения с ним.

– Без твоей лобызальной типографии можно обойтись, Федюха, – останавливал он его, – мы родства с девками даже в темноте не имеем. Воздержись от охмурения.

Но Федор напирал страдальчески:

– Помиримтесь, други... Ну же!..

У пруда, у старых ив, помирились и разошлись.

Ефимыч шел к себе по узенькой тропке, до того петливой, что всякий раз врезался в мокрые после дождя кусты и ловил скатанный потник, соскальзывавший с плеча.

В голове, как на граммофонном диске, крутилось все невзначай сказанное за обедом.

Искаженные неоднократным повторением, лишённые той логики, которая, безусловно, присутствовала за столом, слова эти настораживали комиссара. В особенности те из них, что принадлежали пану.

Вот, к примеру, как понимать: «Ушла в революцию моя благоверная» или «Без Яна я бы пропал». Почему «пропал»? Почему без этих картин господин ротмистр, видите ли, «с ума бы сошел»? А шпаги?.. А Янина из-под Кракова?.. А голубятня?.. Кстати, почему она у них на холме стоит «на самом высоком»?

«Я тоже молодец, – пригвоздил себя комиссар, – он меня за красного попа принял, а я с ним мило объясняться. И Федька тоже

хорош, на два красных фронта сраму выдал. Гнилой он человек, командир третьего эскадрона Федор Ваничкин!.. Как быстро целоваться полез. А я ему сам идею с подметным письмецом подобрал. Того гляди, напишет в РВС Республики, с него станется».

Все эти беспокойные мысли, по сути дела вращавшиеся вокруг одного и того же, привели комиссара к единственной заключительной как бы разом все разрешающей: «Даже своим верить нельзя». И мысль эта поперек всего засела, нагнав на Ефимыча такую тоску, что он впервые за много времени решил написать сегодня же ночью – а когда еще время будет — письмо в Самару, домашним своим.

Он хотел бы написать еще и отцу. Отдельное письмо, не то, чтобы покаянное, но...

Но на такое письмо Афанасий Ефимович вряд ли бы решился. Во-первых, не сочинить ему верных слов, во-вторых, как их найти, когда совсем не уверен, что отец захочет прочесть письмо, а не порвет его сходу.

«Вот, – Афанасий Ефимович все поправлял потник на плече, – напишу-ка я письмо разом всем, и матери, и сестрицам, и братцу Ёське, но такое письмо напишу, чтобы там, непременно, и для отца слова нашлись. И чтобы он понял, – к нему мое главное обращение».

А вот и флигель охотничий. Ну наконец! А свет в окошках не горит. «Темна хата, холодна». Значит, Тихон гуляет.

Где находится «входная свеча» комиссар знал: за дверью слева. Дверь легонько простонала, и едва он протянул в темноту руку, как тут же вошел в паутину и еще раз вспомнил слова братца Ёськи, касательно темноты, наполненной жизнью. Сказал самому себе: «Тьфу ты!..» и попробовал сбросить ее. «Ага, как же, сбросишь тут паучы слюни!..» И тут заметил на половой доске теплую тихую полоску света.

Решительно войдя во флигель, комиссар обнаружил Ньюру на скамье подле тихо горевшей керосиновой лампы.

– Ты чего это, Ньюрочка? – Ефимыч с облегчением уронил на пол коверный чепрак.

А Ньюра, не сказав слова в ответ, стянула с головы крестьянский платок. Русые волосы упали, рассыпались шелком ниже плеч. Анна Евдокимовна встала, посмотрела на комиссара зеленым взглядом, взяла керосиновую лампу и направилась в комнатку, вы-

деленную комиссару. И так она плавно развернулась и пошла с лампой в руках, так у нее это устало и обреченно вышло, что у комиссара сердце переместилось выше и перехватило в горле.

С трудом выправив дыхание он пошел за ней в комнатку, где кровать была узкая, скрипучая, продавленная посередке.

Она стояла спиной к нему, лицом к лампе. Смотрела на него, отражающегося в черном маленьком окошке. Он тоже видел ее лицо в том же окошке. Видел растерянный, тревожный взгляд, будто она спрашивала у самой себя: «Как же это все может происходить со мной?». Когда она заметила, что он видит её лицо так же хорошо, как она его, Анна Евдокимовна немедленно задернула занавеску, поставила лампу на тумбочку. Раз покрутила колесико минут на пять назад, ещё минуты на две. А когда стало почти совсем темно, сказала:

– Решила я так комиссар, а коли решила, ходу обратного мне нет. Сама за все отвечу. —Сбросила верхнюю юбку, нижнюю и столько всего комиссару открыла.

Ефимычу многое хотелось сказать ей в ответ, непременно утешительного и ласкового, но слова не шли, только одно биение сердечное на всю округу вместо слов.

Так и не выдавив из себя ничего полезного и утешительного для Анны Евдокимовны, он подошел и пал перед нею.

Анна Евдокимовна закрыла лицо руками. Отбросив все сомнения в сторону комиссар принялся стаскивать с Нюрочки крепкие панталоны («Пуговка там сбоку... Здесь я сама...») и осыпать короткими жаркими поцелуями живот. Ниже и ниже... И глаз от белого к темному метнулся, и оборвалось все внутри, и все жаром температурным стало...

– Ты дверь бы, комиссар, закрыл, а то зайдёт твой ординарец... – а сама держит голову комиссара. Одной рукой. Двумя. Глаза открыть не смеет. На лице та же болезнь, что и у комиссара.

– ...Он сюда не вхож, – долетело до Нюрочки, будто с нижней палубы парохода.

Комиссар все же встал с колен. Пошёл, поднял с полу чепрак, принес и снова бросил его на пол. Раскатал ногою, будто всегда так делал, будто не в первой ему, после чего только закрыл дверь на хиленькую щеколду.

Те пару минут, что он на Нюру не смотрел, но чувствовал её взгляд на себе, оказались для него спасительными, потому что за это время он нашёл себя, понял, как ему быть.

Но тут Нюра затушила лампу.

А потом он лежал на матрасе, который в свою очередь лежал на чепраке и вслушивался Нюрины плескания в углу перекрытом занавесью и говорил себе: «Ну вот!..» И от многократного повторения этих слов, становился легче лёгкого.

А потом прибежала Нюра в комиссаровой куртке на голое тело, пахнувшая мылом от господина Ралле. И от того, что Нюра в его гатчинской куртке и пахнет так же, как и он, голова снова пошла кругом у комиссара.

Казалось, все, что он хотел, к чему шел, чего добивался в крови и поту, только что свершилось обходным путем. Он не знал, как ему жить с уже свершившимся, но решил пока что не думать об этом, тем более что Нюрочка снова рядом.

– Согрей меня, комиссар...

А потом Нюра снова уходила в тот тёмный угол за занавес и он снова вслушивался в её плескания. Вот она из бочонка ковшиком воду зачерпнула, вот встала над ведром... Вода уже не барабанит так, как в прошлый раз. «Ведро, небось, уже полное. А сколько раз это делать можно? Нюрочке не повредит? Она ведь и впрямь девицей оказалась...»

Что-то звякнуло. («Ковшик упал?..») Показалось, Нюра вскрикнула. Босоногие шлепки...

Комиссар приподнялся на локтях.

Небо на востоке уже было светло-серым и показалась нежная розоватая полоска над горизонтом. Мимолетный, незабвенный миг...

Бабы те, что успели сойтись с красноконниками, все утро, кто плакал тихо, пользуясь моментом, что никто их не видит, кто давал волю чувствам прилюдно, не стесняясь своих и чужих детишек.

Нюрочка не плакала, Нюрочка просто шла в сторону Прешпекта, ей просто необходимо было посмотреть на того, с кем провела она ночь. Анна Евдокимовна даже не замечала, как за нею, на всякий случай, по просьбе комиссара, шел Родион Аркадьевич.

Эскадроны выстраивались повзводно на прешпекте, прямо напротив трактирчика.

Нюрка стояла впереди кучки местных баб, мужиков и ватаги тощих восхищенных мальчишек, вышедших провожать полк.

Она стояла, скрестив на груди руки, точно норовистый пацаненок перед дракой, и безотрывно глядела на своего комиссара, проверяя крепость его льда. Она знала, что он, Ефимыч, теперь – только ее. «И вообще, подумаешь, комиссар, подумаешь, какой выискался!..» А Ефимыч, поймав на себе широкий и долгий взгляд Анны Евдокимовны, посмотрел в ответ на нее коротко, унося в памяти образ первой своей женщины. «Ты знаешь теперь то, что и я, но, случившееся вчера – для меня откровение, силу которого мне ещё предстоит постичь без тебя».

Ему казалось сейчас, что он непременно найдет Нюру, как только кончится война. (Вот и Люська встрепенулась, как бы знак подала, что так оно и будет, пришлось даже малость осадить её.) И если Нюра не устроит разных глупостей, устоит против многих бабьих соблазнов, он, конечно, увезет её с собою в Москву. Потому как, ясное дело, не в Самару же ему возвращаться.

Кони стояли основательно отдохнувшие, вычищенные железной скребницей, деревянной щеточкой, мягкой суконкой. Конный театр стоял врагу на загляденье. Всадники зубоскалили, озорно подначивали друг друга. Красноконникам не терпелось прочь от этих мест. Столько бабам чужим говорено безответственно сладкого, столько при детишках страстей уталено, что после того только к своей и беги грехи замаливать. А коли далеко до своей, сам себе все и прости.

– Что, комиссар, запряг Люську на бега лихие? – поинтересовался Кондратенко, заметив на лошади комиссара богатый чепрак.

Когда полк окончательно построился, пан подошел к Верховому, пожал ему на прощание руку, затем вынул из кармана платок и несколько раз взмахнул им над головой. Тотчас откуда-то на рысях к полку выкатилась пароконная повозка, на которой была укреплена деревянная бочка.

Управляющий Ян сошёл с повозки и поспешил к пану. Сказал что-то по-польски. (Глаза его в тот момент стали похожи на лисьи.) Пан в ответ одобрительно кивнул головой.

– Примите обещанный подарок, господин комиссар, – он сунул платок в карман, – кони и повозка в полковом хозяйстве всегда пригодятся. А в бочке, господин комиссар, тридцать ведер пшеничной водки плещутся, каковая водка поможет вашим бойцам быть здоровыми и веселыми во все время кампании.

– Пан ротмистр, – сказал Ефимыч, одной рукой поправляя кожанку, в которой ещё оставался, долетал до него дух возлюбленной, – примите мою искреннюю благодарность за тридцать ведер пшеничной водки. Полагаю, как и вы, что с водкой, действительно, веселее, чем без водки. Вам же от всей души хочу пожелать найти свой момент вечности, созвучный вечности всего человечества.

Пан улыбнулся в ответ, глядя на комиссара, худенького еврейского юнца с серьгой в ухе и с синевой под глазами после бессонной ночи, как улыбаются люди, думающие про себя: «Там, где ты сейчас, я уже был, голубчик».

Полк застучал сотнями копыт. По низам, садам и огородам, питомнику растений, пасеке и даже по старому кладбищу пронеслось эхо выступившего полка.

Высоко в небе летали голуби.

Как только полк удалился версты на полторы-две от поместья, комиссар велел вылить все тридцать ведер водки на землю, чем вызвал большое неудовольствие всего личного состава.

Верховой и тот тихо заметил:

– Ты погоди, Ефимыч, ты не горячись так. Ты сначала в душу народа загляни.

А Тихон, тот вообще:

– Водку в землю лить, на помин собственной души.

И дальше все по Тихону случилось.

Только от того места, где водку слили отошли, только проехали всем полком по живой и мертвой родне комиссара, как вдруг разрывы снарядов взметнулись совсем близко. Будто кто поджигал уже полк, будто кто телеграфировал поляку, передавал данные для стрельбы.

Бойцы скатывались с седел, бежали с криками, кто вправо, кто влево. Кто в поля. Кто подхватывал поводья, устремлялся с лошадьми в сосновый лесок, за которым чувствовалась сырость реки. Но тачанки, по приказу Верхового, уже мчались на края рассыпавшихся за несколько минут эскадронов и ездовые уже нахлестывали лошадей, из-под копыт которых летели комья грязи, уже пулеметчики снимали на ходу «Максимы», а от командиров эскадронов, пригибаясь, неслись посыльные.

– Куда?.. Куда в поля-то?! – ревел Верховой, осаживая своего карабахца. – В поле вы поляку – что парадный портрет!

– Комиссара кто видел? – Кондратенко изо всех сил пробовал выровнять свой эскадрон. – Комиссара давай мне!..

Наконец, застучали пулеметы и красные цепи захлопали реденько выстрелами.

– Лови, поляк, мамкину титьку! – скалился хищно Кондратенко.

В ответ вновь загрохотали тяжелые польские минометы.

Зазвенел и задрожал воздух. Снаряды и мины противника ложились плотно и точно. Не было сомнения, что кто-то помогал полякам наводить огонь.

– Словно с дережаблю какого наводят, все орудия по пристрелянным ориентирам бьют! – Бесновался командир третьего эскадрона Федор Игнатьевич. – По что Войцеха им отдали? По что пану поверили, растяни его на кресте?

Огонь усилился до предела возможного.

Красные кавалеристы залегли, не смея пошевелиться. И только Тихону нечего было бояться.

Положив под голову комиссара папаху, Тихон быстро снимал с него португую, расстегивал куртку, бубнил что-то свое.

Комиссар лежал тихо, смотрел на небо и улыбался. Все, что происходило, было как бы в стороне от него за много вёрст. Ни свиста снарядов и пуль, ни криков и ржания лошадей, ни вздрагивающей земли... Был только его позвоночник, по этой земле растянутый, было только что-то липко-текучее под гимнастеркой, мешавшее обрести силу и, наконец, вскочить на свою Люську.

И ужас в глазах ординарца, и его странная суета, казались комиссару совершенно непонятными. Ему хотелось сказать: «Ты чего это, Тихон?!», ему даже казалось, что он уже это сказал, но проверить себя: сказал ли нет, он не мог, потому что вдруг все стало уходить от него, отплывать от причала. И так это все стремительно происходило, что вдруг осталось внизу, в позвоночнике, а он комиссар пошёл на верхние палубы... И лёгкость эта родом из детства была. И из детства вдруг Нюрка выплыла со всеми незабвенными и мимолетными мигами его жизни, со словами, смысл которых он постичь не мог, но вполне оценил их значимость.

Стригли землю возле обочины пулеметы. Лопались снаряды. Предсмертно ржала чья-то лошадь. В гудевшем воздухе раздался звук трубы. Послышались удары плетью по лошадиным крупам.

– Ты, Ефимыч, смотри мне, ты глаз-то не закрывай, душу держи в кулаке крепко, не смей отпустить её, слышишь, сынок?! – мешал

Тихон комиссару, утяжелял его земным бременем, хлопотами неуместными, неподходящими. – Чего, дурень, улыбаешься?

– Нашёл...

Тихон совсем низко склонился над комиссаром:

– Что ж искал-то ты такого? – поправил перебинтованную руку, будто сейчас это имело какое-то значение.

Комиссар хотел сказать: «Вечность, Тихон...», ему даже показалось, что он сказал, но по Тихону это не было заметно. Комиссар отвернулся от невыносимого взгляда ординарца, от запаха пота, крови и земли, что мешались в нем.

– Ты мне скажи, Тихон, ты голубей видишь в небе?

Тихон оглянулся, посмотрел на белые облачка шрапнели, на Люську, лежавшую неподалеку от них с мокрым распоротым животом, подумал, что нечестно как-то оно все выходит и решил, раз уж так, добавить нечестности и со своей стороны.

– Вижу, вижу, товарищ комиссар, – сказал Тихон честно.

– Вот, что Тихон, наводчиком у них горбун. Он за одно со старухой. И паном они вертят, как хотят. Ты, Тихон, Яна-то найди...

– Ефимыч, ты только не злись понапрасну, потому как у войны манера такая подлая есть, и боя честного не встретишь, а тебя и покалечат, и убьют. А насчёт горбуна, не сумлевайся, сынок, растяну, как положено.

– Вот она, значит, какая, иллюминация магниевая.

– О чем ты, сынок?

Миродержец «Максим» выдал долгую дробь. Где-то далеко Ефимыч услышал хриплый голос комполка:

– Вправо рысью марш!.. – и почувствовал, как ничего не чувствует.

Григорий Розенберг

ПЕРЕД ЙОМ КИПУР

Чужая свирепая жара. Даже в тени – раскаленный, сухой до ломкости воздух.

Заходишь в помещение, где шелестит кондиционер, сразу взмокают спина и лицо. Контрастом перед глазами – два спокойных лица, обернувшихся на тебя, мокрого и одуревшего. Они тебя видят прекрасно, а тебе кажется, что в помещении сумрачно, потому что электрический свет не сравним с тем, наружным, ослепляющим.

Я здесь работаю. Вот мое место, мой компьютер, моя чашка. Вот мои коллеги – Ницан и Малька. Ницан – хозяин, Малька – просто художник-график. На ее улыбку, обозначающую риторический вопрос: “Что слышно?” киваю, утираюсь и тоже улыбаюсь.

Я – новенький. И в этой стране, и в этом городе, и вот, на этой самой работе. Неделя, как устроился в маленькую дизайнерскую контору, расположенную на узкой улочке района под многообещающим названием – Оазис справедливости. Здесь, в конторе, я первый и единственный русский, и хозяин настороженно приглядывается. Я для него черная лошадка и кот в мешке. Два в одном...

На первых порах – разные недоразумения. То ли предубеждения, то ли действительно разное устроенные мозги, но уже появились взаимные подозрения насчет адекватности друг друга...

(Хозяин: Малька, ты с ним говорила о чем-нибудь?)

Малька: Говорила.

Хозяин: Тебе ничего не показалось?

Малька: В каком смысле?

Хозяин: Ну, в смысле... У него все дома? Он не странный?

Малька: С чего это вдруг? С ним интересно. Есть даже чему поучиться...

Хозяин: А мне, знаешь, показалось... Он в первый день работы вечером, перед уходом домой знаешь, что сказал? – У меня, – говорит, – для тебя печальные новости... – Я сразу напрягся. А он продолжает: – Рабочий день, оказывается, уже кончился, я пошел домой. Но ты не огорчайся, завтра я вернусь...

Малька: Ницан, он же пошутил так. Ты перед ним важничаешь, атмосфера напряженная, вот он хотел разрядить, наверное.. Просто попрощался, но не сухо, а улыбнувшись.

Хозяин: Ну, то есть, тебе не показалось, что он немного того? В смысле, с тобой – выделяется слово “тобой” – он говорил нормально?)

Но чем дольше общаемся, тем, оказывается интересней. Вдруг выясняется, что он знает, например, имя Татлин. На фоне тех, кого встречал в Израиле до сих пор, знающий Татлина изрядно удивляет...

Увидев мою реакцию, он высокомерно хмыкает:

– Я, между прочим, “Бецалель” кончал...

Светлые волосы, голубые глаза, взгляд прозрачный и наглаватый. Из-за немного вздернутой посадки головы, длинной ямочки под носом и выпуклой нижней губы он напоминает верблюда...

Говорит со мной о модерне, конструктивизме, Баухаузе... Даже о сценографии и сценической пластике. Я уже и не ожидал в этой стране встретить такого собеседника... Ну, то есть, я не сомневался, что они здесь есть во множестве, но полагал, что на моем уровне мне их не встретить. Большинство, окружающих меня, мягко говоря, другие.

Я рассказываю о России, он – об Израиле. И вдруг говорит:

– Мне кажется, я понимаю твое состояние...

Задумчиво так говорит, отечески, промакивая мизинцем уголок глаза. На ты говорит, не на вы, потому что нет в иврите обращения на вы. Только на ты. Отсюда на первых порах постоянное ощущение фамиллярности.

– Переезд из одной жизни в другую, потеря своей атмосферы, своего статуса, своих привычек, правил...

Я сначала понимаю его превратно. Впечатление, будто я пришел из диких краев, а он, цивилизованный, мне сочувствует. Тем более, что поводы были..

Я уже убедился тут, что в каждой конторе свои обычаи, о которых тебя отдельно не предупреждают.

На прошлой работе в первый день спросил, где у них обедают. И сколько длится обед. Оказалось, что никакого обеда нет, что никуда они на обед не выходят. Специально обеденного времени нет (здесь тебе не кибуц!). Принес сэндвич, съешь его, когда проголодаешься, а от работы не отвлекайся. Работай и жуй.

– Как? Прямо тут, за рабочим столом? Возле компьютера?!

– Конечно. Где же еще?.. – и простецкий шлепок по плечу.

Сначала было странно, потом притерся. И в этой конторе уже привычно достал свой бутерброд, откусил от него, жую и продолжаю работать...

– Слушай, ну ты меня извини, – удивленный голос Ницана за спиной, – может, у вас так в России принято, но у нас возле клавиатуры сэндвичи не едят. Крошки же!.. Жирные пальцы потом на клавиши...

– У нас – я сглотнул кусок целиком, – у нас, я извиняюсь, вообще принято совсем другое! Ели, как нормальные люди, между прочим, в ближайшем кафе или институтской столовой. И не как у вас, а первое, второе и третье! И обеденный перерыв длился, между прочим, целый час!..

Как ели у нас Ницана не интересует, а вот организация рабочего дня его не устроила:

– Час?! Нет, час, это много! Что вы там ели, что нужен был целый час?

Потом вдруг оживляется:

– Знаешь, тут прямо за углом очень уютный маленький скверик. Ты можешь посидеть там и пожевать свой сэндвич. Там хорошо...

Потом после паузы добавляет миролюбиво:

– А кофе уже здесь попьешь...

Но я ошибался. Оказалось, говоря о потерянной атмосфере, он имел в виду вещи побанальнее.

– Ты вырос на других сказках, ты привык к другим шуткам, к другому кино, к другим условностям. Наши праздники для тебя туземные обряды. Речь, поговорки, шутки, обычаи... Представляю, как тебе и всем вашим здесь непросто. Тебе, наверное, многое кажется дурацким?..

Скверик был и маленьким, и уютным.

Раньше, еще дома, когда я видел в кино, как путник укрывается от жары в тени пальм, я не мог понять, что там за тень от пучка перьев на макушке голого ствола? Здесь обнаружил, что вполне уютная тень. В скверике два-три развесистых фикуса в виде полноценных деревьев и несколько пальм за спиной. От пальм – ажурная красивая тень. Там, за спиной, где пальмы, там решетчатая ограда школы. Когда я прихожу обедать, в школе начинается переменка. Только вместо привычного мне звонка, громкая мелодичная музыка из репродуктора. Так выпускают на перемену и под этот же мотивчик загоняют обратно. Ощущение, что выпускают стаю разъяренных обезьян, которые орут и беснуются прямо тут же, за решеткой. Уши закладывает... Приходится пересесть подалее...

Но вот звучит благословенная мелодия, и, как в театре, занавес закрывается. Наступает блаженная тишина.

Когда кончается перемена, в скверик приходит странный молодой человек, которого я для себя окрестил студентом. Он ни разу не поднял на меня глаза. Мы сидим с ним в скверике только вдвоем, каждый на своей скамейке, а вокруг больше никого нет. Он – поближе к школьным пальмам, я – подалее. Ему, как видно, рев диких обезьян до лампочки. Он подолгу – и после моего ухода – сидит и читает свои наоборотные ивритские книжки, листая их слева направо. Книга у него на коленях, листает он ее левой рукой, а кисть правой прячет в какой-то черный тканевый мешочек и что-то там внутри производит, какие-то невидимые мне действия. Может, какие-то тайные четки перебирает, но у меня настойчиво возникают скабрзные ассоциации. Его голова с молодой бородкой опущена, глаза уперты в книгу, сам неподвижен, а рука что-то там делает в мешочке, возится меленько и активно, живет внутри торбочки...

Солнечно, спокойно, тихо... На противоположной глухой стене – тени от веток. Между переменами в школьном обезьяннике очень тихо, только изредка одинокие аплодисменты голубей.

У израильского лета есть такой особый горячий запах. Чего-то незнакомого и приятного. Этот запах, тишина и осознание того, что ты за границей, создают ощущение длящегося сна. Все вокруг, стена, фикусы, тени кажутся нерезкими, неясными... И если думать об этом, проникаться этими ощущениями, то наступает мо-

мент, когда и диковинные вещи вполне принимаются сознанием обыкновенными...

Через несколько дней я привык и студенту с его странным мешочком, и к обезьяннику за спиной...

У меня вдруг обнаружили какие-то проблемы с печенью. Молодая женщина-врач смотрела на меня, как на диковинное животное в зоопарке.

– Сколько водки в день выпиваешь? – бесцеремонно спросила она, медицински заглядывая мне в лицо.

Я пожал плечами.

Дальше она говорила с женой. Объяснила ей, как у меня все непросто, и строго-настрого велела перейти на жесткую диету, отказаться от русских привычек. Иначе, мол, перспективы невеселые. Жена слушала внимательно, не перебивая.

И вот, сидя в своем фантастическом скверике, я разворачивал собранный женой пакетик с обедом в новом, как теперь говорят, формате. Тощая куриная ножка без кожи, один кусочек хлеба и два огурца. Или пластиночка постной колбасы на кусочке хлеба и опять два огурца... Вот и весь обед.

К гипнотизирующим запаху лета, тишине и заграничному мировосприятию прибавился постоянно сосущий голод... Я понимал, нереальные чудеса не за горами.

И они пришли.

Их было двое. Удивительно, но они пришли вместе. Собака и петух. Они вели себя так спокойно и уверенно, что мне показалось, будто это я у них в гостях. Собака подошла, села как-то боком передо мной, на одну половинку зада, так что вторая лапа оттопырилась, как у инвалида, и стала умно смотреть мне в лицо. А петух запрыгнул на скамейку, решительно подошел совсем близко и тоже на меня посмотрел, но только сбоку, вывернув голову грешком почти вниз. Студент на эту фантастическую мизансцену не обратил никакого внимания.

Собака была драной, облезлой дворнягой, но не просто так, а с ошейником. По внешнему виду казалось, что это беспородное создание генетически двигалось в сторону бульдога, но прошло не больше трети пути и остановилось. Бульдожья нижняя челюсть на морде пинчера. Один зуб, когда она закрывает пасть, торчит

снизу вверх наружу. Выражение морды такое, что я не удивился бы, обнаружив в уголке губ папиросочку...

Петух белый и не слишком опрятный. Традиционные украшения на башке и под клювом не красные, а бурые какие-то, гребешок мягкий и плоский, как пустой горб у верблюда.

Намерения у парочки были однозначные: оба рассматривали мой бутерброд и огурцы. Я не стал делать вид, что не понимаю ситуацию. С петухом было просто. Я откусил от огурца, как от сигары кончик с хвостиком и положил рядом с собой на скамью. Скамья была металлическая, с дырочками, и коготки петуха неприятно царапали металл. Петух внимательно следил за моими действиями, быстро склевал кусочек и снова уставился на меня. Я повторил операцию, но откусанный кусочек уже не положил на скамью, а протянул к желтому клюву гостя. Тот даже не подумал шарahnуться, а просто выхватил у меня из пальцев огуречную порцию молниеносным движением каратеки, разве что без вопля "киа!"

Собака не сводила глаз с бутерброда. Когда я отломил ей порцию, она, в отличие от петуха, проявила верх деликатности. Не кинутый на землю, а протянутый ей кусочек она медленно и осторожно взяла у меня из пальцев и проглотила так, что я и глотка не углядел.

Мой обед закончился в два раза быстрее, чем обычно. И ощущение голода не покидало меня до самого ужина...

На следующий день я прихватил порцию побольше. Слава богу, в этот раз была куриная ножка. Большая... То есть, я знал, что собакам куриные косточки нельзя, но почему-то мне казалось (уж не знаю, почему), что это касается только породистых собак. А дворняги жрут все. И что не будь петуха, моя гостья и огурец бы смела за милую душу. Огурцов я, в тайне от жены, взял четыре штуки.

Все повторилось. Они явились парочкой, как старые приятели. В то же самое время, что и вчера. Сегодня петух вовсе обошелся без церемоний и вырвал у меня свой кусок огурца чуть ли не изо рта. А вот собака вела себя по-прежнему, как бомж-интеллигент: с достоинством и без амикошонства. Аккуратно взяла косточку из рук, положила на горячую тротуарную плитку, а уж оттуда подняла и разгрызла.

Погладить собаку я решился на четвертый день. Агрессии она не проявила, но и особой радости не выказала. Она сидела прямо

передо мной, но чтобы погладить, надо было к ней потянуться. Ближе не подошла. Когда я положил руку на ее шерстяной лоб и повел к шее, уши она не опустила. Не было этого всегдашнего собачьего движения навстречу, когда голова собаки делается гладкой, льнет к ладони, и ты ощущаешь, что ласка принята. Что вы свои.

Но некий условный шаг навстречу был сделан. Мы еще не понимали друг друга, еще не были своими, но некие отношения уже наладились. Она меня знала, узнавала и приходила ко мне на свидание в определенное время.

Петух, как мне показалось, был равнодушнее, толстокожее и даже как бы циничнее. Когда я в одну руку взял кусочек огурца, а второй потянулся его погладить, он не отскочил, но вытянул шею в сторону, где был огурец, так, что, вроде ускользнул из-под руки. Тогда я протянул огурец к петуху, а свободной рукой все-таки погладил по шее сразу за гребешком. Петух замер, переждал своей твердой равнодушной шеей мои приставания, и как только я убрал глядящую руку, резко выхватил свой кусок.

Так потекли дни.

Осень уже полным ходом, а жара еще круче. Сухой воздух повлажнел, и стало как в русской парилке. Кажется, что плотные листья на деревьях плавятся от зноя, размягчаются, вот-вот закапают горячими каплями. А у меня в памяти мокрые стволы сосен и балдежный сырой запах от них, липнущие к скамейкам яркие листья и мокрое от холодного воздуха лицо...

Здесь оно тоже мокрое. Идешь по улице, море совсем рядом с работой, и оттуда идет влажный, как пар из чайника, воздух.

– Вы где Рош а Шана отмечаете?

Это спрашивает Малька. Она религиозная. Не ортодоксальная, не радикальная. Из той вполне демократической религиозной среды, которая называется “Вязанная кипа”. То есть, она религиозна без фанатизма. Тем не менее, ей кажется, что все евреи должны отмечать праздник Рош а Шана, Еврейский Новый год в соответствии с еврейскими традициями. Как и Пасху.

В этом году праздник в конце недели. Два нерабочих дня, плюс суббота. Итого – три.

– Вы вообще, как справляете новый год, по-вашему или по-нашему? – спрашивает Малька, и я знаю, что вопрос без намеков. Ей просто интересно.

- А мы и так, и эдак, – отвечаю я.
- А дерево ставите на свой Новый год?
- Деревом они называют нашу елочку.
- Ставим, конечно.

Ницан вступает в разговор и, снова превратившись в высокомерного верблюда, рассказывает о сути праздника Рош а Шана, об обычаях и ритуалах. О том, что вот он – пример того, что традиции соблюдают не только религиозные. Вполне себе светский человек, а вот же! А кто в этом не вырос, для кого это с детства не стало родным, тот воспринимает все, как туземные декорации. А если и начинает соблюдать вместе со всеми, то это, скорее, имитация. Мимикрия...

Ницан даже не предполагает, что я и без него кое-что мог знать про этот праздник, что уже читал что-то в литературе. Он из тех коренных израильтян, что видят во мне перманентного первокурсника, которого еще учить и учить...

– Все это очень условно, – огрызаюсь я. – К любой, знаешь ли, информации можно привыкнуть, проникнуться ею. Но, конечно, если у тебя есть установка на неприятие, если ты заранее настроен на чье-то невежество или на чужеродность, тебя не переубедить. Общего языка у тебя с ним не возникнет.

– С чего вдруг! – обижается Ницан. – Нету у меня никаких установок. Ведь нашлись же у нас с тобой области пересечения. Вот конструктивизм, например. Татлин твой любимый.

– Ну, не мой, а твой, как оказывается, – усмехаюсь я. – И кстати, вот тебе ответный пример, только насчет установок. Знаешь, как Татлин отреагировал на смерть (на смерть!) своего друга-врага Малевича?

– Нет, – подумав, говорит Ницан.

– А он заглянул в гроб, посмотрел на Малевича, потом отошел и пробурчал: “Притворяется”...

Ницан думает какое-то время, потом пожимает плечами:

– Ну и что?

– Ну и ничего.

Короче, праздник – два дня, плюс шаббат. Итого – три.

(Петух: Ну, и как он тебе?)

Собака: Да ничего, вроде. Нормальный мужик. Немножко приставучий, но терпимо.

Петух: Да кто приставучий?! Сама же ходишь каждый день, по-жрать клянчишь!

Собака (с достоинством): Я не клянчу. Я прихожу в гости. Я ни разу ничего не просила, в руки не заглядывала, как некоторые. Я прихожу в гости, а он угощает.

Петух: А по мне, так и не особо он нормальный. Что он говорит все время? Без перерыва. Я, например, ни слова не понимаю. Трындит чего-то... Ты его не боишься?

Собака: Я тоже не знаю, что он говорит, но он же не наш, он иностранец... А ты знаешь, вот он три дня не приходил, а я вдруг поняла, что скучаю. Представляешь? Я уже привыкла, что он здесь.

Петух: А лично я его все-таки побаиваюсь немножко. Я не люблю, когда что-то непонятно. Люди вообще странные, а этот – особенно. И если честно, меня его огурцы уже достали. Мог бы чего-нибудь еще притаранить...)

В течение десяти дней от Нового года до Судного дня принято устаканивать свои дела, исправлять свои косяки. В Новый год решается судьба каждого на год предстоящий, а в Судный день это решение записывается в Книгу судеб и подписывается высшей инстанцией. Строго говоря, перевод ивритского Йом Кипур, это не Судный день, а День Прощения. На иврите киппур – прощение, отпущение грехов. Но так уж принято в русском языке – Судный день. Тем не менее, если чего уж наколбасил за год, можешь попытаться в эти дни исправить и получить прощение. Во всяком случае, у своих близких и знакомых.

В один из этих десяти дней, когда мы с моими новыми сотрапезниками спокойно жевали нашу скудную еду, студенту позволили. Он встревоженно что-то забормотал в трубку, подхватился и, не отрывая телефона от уха, умчался, забыв на скамейке свою книгу и сумку, с которой сегодня явился. На свободной руке у него традиционно шевелился его таинственный мешочек...

Я подумал, что вот сколько времени я каждый день с ним встречаюсь в этом скверике, а даже не здороваемся. Он, конечно, сейчас опомнится, вернется за вещами. А если нет? Если вспомнит поздно? Пока я здесь, я покараулю, а когда уйду? Захватить все с собой? А как ему сообщить? Верну ему уже только после праздников, наверное, когда снова встретимся здесь...

Пока я размышлял, у сумки остановился полицейский.

– Чья сумка? Твоя? – строго спросил он.

– Нет, не моя... Понимаешь, тут был... студент один. Это его сумка. Он убежал... – Иврит густел у меня во рту, превращаясь в смолу, липнущую к зубам. Полицейскому надоело.

– Ты его знаешь?

– Нет, не знаю.

Он что-то прорычал в свою рацию, решительно прошел мимо меня, по дороге показывая рукой, чтобы я убирался отсюда, и грубо отпихнул ногой спрыгнувшего со скамейки петуха.

– Хефец хашуд! – это то, что он рычал в свою рацию. Подозрительный предмет! Любая бесхозная сумка, портфель, пакет, все это – подозрительный предмет, все это может оказаться источником смерти... Вполне обычное для Израиля явление, но лично я с ним в этот раз столкнулся впервые. Подробности предстоящей процедуры я не знал, но понимал, что уходить из скверика обязан. И понимал, что все из-за меня, из-за моего ивритского косноязычия. Не сумел толком объяснить полицейскому, что это за парень, как долго я его уже здесь вижу... А с другой стороны? Ну, вижу его здесь давно – а о чем это, собственно, говорит? А вдруг и вправду он зачем-то оставил здесь сумку со взрывчаткой?.. Вдруг это террорист переодетый? Может, он специально поближе к школе свою сумку оставил!

Я поднялся, но резкий жалобный вопль отшвырнул меня обратно на скамейку. Оказывается, я наступил на лапу своей гостье. Я виновато запричитал, стал наглаживать ее загривок, и, понимая, что надо уходить, стал тянуть за ошейник. Но собака, поджав раненную лапу, уперлась тремя остальными и стояла неподвижно, косо глядя в мою сторону. Выпяченный подбородок, взгляд исподлобья, упрямо торчащий зуб. Никакие мои призывы не помогли. Петух отбежал к кустам и тоже смотрел оттуда тупо и упрямо. На скамейке от него остались царапины и белые пушинки.

Полицейский снова рявкнул на меня, делая брезгливый жест в мою сторону, будто стряхивал с руки воду... Я вынужден был уходить один, оставляя своих друзей на опасном участке.

Зрелище было, конечно, интересным. Оцепленный участок, никого из прохожих, по периметру полицейские. Через некоторое время прибыла машина, из которой выкатился небольшой механизм на толстых черных колесах, похожий на изделие из детского

конструктора. Робот-сапер. Я уже знал про такие, но еще не видел. Издалека все было мелким и нечетким: какая-то возня людей, переговоры, а робот осторожно подъезжал к тому месту, где была сумка. Я пытался разглядеть собаку и петуха, но их не было. И тут раздался громкий хлопок. Белое облачко унесло ветром, полицейские начали сворачиваться. Я так понимал, что это взорвали студенческую сумку. А что с животными?

Я был первым, кто прибежал на место событий. Животные отсутствовали. Но зато на ветках фикуса я обнаружил какие-то тряпки и свисающий бюстгальтер. Я понял, что это все, что осталось от студенческой сумки. И тут же улыбнулся мысли, что если бы он забыл заодно свой мешочек, то, может быть, и тайна мешочка была бы раскрыта...

Когда я вернулся с обеда, застал только Мальку. Мой рассказ о происшествии она встретила спокойно: хефец хашуд – дело житейское. Больше ее заинтересовали мои отношения с новыми друзьями. Когда я описывал их и рассказывал, как кто из них себя ведет, она улыбалась радостно, как ребенок. Малька круглолицая, с ямочками и в очках. Когда улыбается, похожа на знаменитого Джеки Чана. Израиль вообще показал мне, что понятие “еврейская внешность”, это миф. Если в СССР я почти всегда понимал, что вот этот, скорее всего, еврей, то в Израиле это сделать непросто. Все типы внешности, включая славянский, монголоидный, негроидный, индуистский. Малька была похожа на Джеки Чана.

Потом разговор съехал на другие темы.

– Ты постишься в Йом кипур? – как обычно, спросила Малька. Она уже снова отвернулась к экрану, и я видел только ее щеку и край очков, в котором голубело отражение экрана.

– Я – нет. Мне двадцать пять часов не есть и не пить в такую жару не по плечу... А вот жена постится.

– Интересно, – снова улыбнулась Малька. – Как у вас, у русских все перепутано. Ты еврей – не постишься, твоя жена, гойка – соблюдает все традиции. И знаешь, твоя семья не первая из моих знакомых русских семей, где все именно так. Интересно, почему...

– А где ты будешь в Йом кипур? – спросил уже я Мальку, чтобы отойти от выяснений этих странностей моей семьи.

– Я буду дома. А вот Ницан, как всегда, умотается в пустыню. Он говорит, что там пост не замечается совсем. Там и время течет

иначе, и ощущения другие. И мысли приходят особые. Понимаешь, там сбивается масштаб. Смотришь на камень и не понимаешь, далеко он или близко. Если далеко, какой же он огромный, но вдруг перестраиваешь восприятие – и вот он уже близко и вполне себе небольшой. Так и со временем. И с чувствами. Пустыня – интересное место для человека...

Малька стучит по клавишам, елозит мышкой. Очки сияют голубыми бликами. Иногда очки запотевают, когда она подносит к лицу свою большую чашку с чаем. Малька почти никогда не отрывается от работы, когда говорит со мной.

– А ты обычаи, правила, ритуалы знаешь, какие положены в Йом кипур? – продолжила свое Малька.

Я объяснил, что меня в религиозных праздниках, вообще-то, больше интересует смысловая сторона дела, идеи, понятия, символы, а не ритуал. До ритуала, до желания подключиться к нему, надо дорасти. Это еще все не мое... Или уже не мое.

– Как это? – спросила Малька.

– Ну вот, я рассказывал тебе про собаку с петухом. Сначала мы с собакой долго привыкали друг к другу. Делились едой. Я ее даже погладить опасался. Потом погладил, но вышло как-то бездушно, формально. А потом, в один вполне прекрасный день она вдруг сама подошла и дала мне лапу. Представляешь? Это уже был не просто формальный ритуал, это было действие, наполненное нашим с ней общим смыслом.

Малька отвернулась от экрана, посмотрела на меня внимательно, а потом вдруг спросила:

– Какого цвета, ты говоришь, твой петух?

На следующий день я шел на обед немножко волнуясь. Я не был уверен, что после вчерашних потрясений животные захотят ко мне вернуться. И пинок петуху я не предотвратил, и собаке на лапу наступил, и бросил их в зоне опасности. Они, конечно, так рассуждать не могут. Но ведь бывает, не знаю, как петухи, но собаки обижаются. И эта собака не захотела же уходить вместе со мной.

Но я тревожился зря. Стоило мне сесть и развернуть пакет, как парочка чинно вышла из кустов и заковыляла ко мне. Собака села на свое обычное место, привычно оттопырила лапу и привычно уставилась мне в глаза. А петух уже царапал железо скамейки

своими жестяными когтями. Заглядывал мне под локоть. Мы ели, молчали, и мне было хорошо с ними. Ремарк, блин. Три товарища.

Канун Йом кипур приходился на четверг. Обычно день накануне – укороченный, потому что новый день у евреев начинается не в полночь, как у всех, а вечером предыдущего дня, с появлением третьей звезды. Но Ницан во вторник объявил, что отпускает нас на четыре дня, начиная со среды, что встретимся только в воскресенье. Во вторник мы еще раз пожелали друг другу “Гмар хатима това”, то есть хорошей подписи в книге судеб, которую Всевышний должен поставить в течение Судного дня каждому из людей, и разошлись.

Для коренных израильтян это особый день в году. Они не просто привыкли к этому, они даже и не представляют, как может быть иначе. Замирает жизнь на всей территории страны. Кроме полиции и скорой помощи, не работает никто. Транспорт не ходит, дороги пусты. Для детей – радостный день. Голодать им еще не положено, а из-за того, что дороги пустые, велосипеды заполняют все пространство. Велосипедные магазины перед праздником решают все свои финансовые проблемы. И если для верующих взрослых людей этот день – молитва, пение, пост, запрет на умывание и интимную жизнь, то для детей это велосипеды, велосипеды и еще раз велосипеды!

Я видел тех, для кого все это просто неукоснительная традиция, а видел и тех, кто в этот день серьезен и религиозно просветлен.

В любом случае, раз уж я выбрал эту страну для жизни, надо было бы знать обычаи и относиться к ним, пусть и отстраненно, но с уважением. А я, как выяснилось, знал очень приблизительно.

В Израиле неделя начинается с воскресенья. Первый рабочий день недели. Я пришел вовремя – после Мальки перед Ницаном.

– Постился? – с улыбкой Джеки Чана спросила Малька.

– Постился, – вздохнул я. – Ну как я буду жрать, если жена не ест, не пьет. Сидел с ней за компанию. Ну, ничего. Сегодня уже плотно позавтракал. Даже на обед взял побольше.

– Да, – вдруг напрягшись, сказала Малька, – насчет обеда. Ты вообще-то будь готов, что в обед может быть не как всегда. Прийти могут не все...

– В каком смысле?

– Понимаешь... – начала Малька, но тут в помещение ввалился Ницан. Румяный и веселый – он на работу прикатил на велике. Видимо, и в праздник так проводил время.

– О чем разговор, братва? Что за напряг в воздухе?

– Да вот, начала Малька, – я ему про Капарот хочу объяснить.

– А ты, что, не знаешь? – верблюд удивленно вскинул брови и выдвинул подбородок. – Это важная вещь!.. Хотя, для вас, русских, это что-то средневеково-театральное, наверное? Игры туземцев?

Я почувствовал, что меня ждет какой-то не очень приятный сюрприз, настроение резко испортилось.

– Ну, ты видел, как эти черные крутят над головой белых кур?

Черными светские израильтяне иногда называют иудейских ортодоксов.

– Ну, да... видел такое. Даже читал где-то. Что-то типа козла отпущения? Когда на кур все грехи сваливают и свои грехи этим искупают? Я только не помнил, что это вот так называется, как Малька сказала.

– Ну, нет! – перебил Ницан. – Если уж влезать в это, то надо знать, что ни хрена это не искупает! Это делается для того, чтобы человек задумался над своими грехами, над своей жизнью.

Я пожал плечами:

– От того, что курицу крутят над головой, голова задумается? Что-то тут все у вас за уши притянуто...

Малька осторожно спросила:

– А ты знаешь, что делают с курицей дальше? Ее же потом режут и отдают бедным. А тот, кто ее покупал для этой процедуры, понимает, что это символически проделывают с его судьбой, с его дурными поступками. Это символ такой...

– Ни хрена себе, символ! Режут-то не символически! Кровь-то и смерть настоящие. Причем, невиновного!

– Да ладно тебе! – отмахнулся Ницан. – Сам говорил, что все это условно и зависит от установок. Ты, вон, каждый день куриную ножку лопаешь на глазах у своего петуха, и ничего? Совесть каннибальская не мучает?..

И тут они переглянулись с Малькой.

– Подожди до обеда, – сказала Малька. – Может все и обойдется...

Не обошлось. В этот день собака пришла одна, уселась, как ни в чем не бывало на свою правую половинку зада, уставилась... А он – не пришел. Ни в этот день, ни после. Кстати, и студента я больше никогда не видел.

Собака, поев, подошла поближе, села и тяжело навалилась теплым боком мне на ногу. Я гладил ее шерстяную бугристую голову, она прижимала уши и мы оба смотрели на противоположную стену дома, где на рельефной штукатурке был узор теней от веток. Голубь подлетал к карнизу, а по стене стремительно, снизу вверх неслась его тень и сливалась с ним на карнизе. Он сваливался с карниза, улетал, и тень от него тоже молниеносно скользила вниз и вбок...

– Ну что? – в один голос спросили Малька с Ницаном, когда я вернулся.

Я отрицательно помотал головой.

– Ну, вот – вздохнул Ницан. – А ты говоришь, Татлин...

Давид Маркиш

СВЯЩЕННИК КОГАН

(из сборника “Записки похоронщика”)

У нас в лагерях любят слово “спец”: спец-маршрут, спец-конвой. Спец-паёк. Или даже просто “спец”, “спецы”, с начала 30-х их хватали как капиталистических вредителей. Но они, кажется, и до лагеря, ещё на воле тоже назывались “спецы”, специалисты. Значит, на воле тоже любят это слово, но у нас на зоне крепче любят, потому что если у нас говорят “спец” – значит, что-нибудь особенное должно обязательно произойти.

В августе 49-го меня взяли на спец-этап. Ну, вы, наверно, знаете, как это делается. Приходят в барак, ночью, и говорят: “Белоцерковский, с вещами! Быстро! Быстро!” А если говорят: “Без вещей!” – значит, берут на расстрел. Это ещё зависит от года: в 47-м, например, почти каждую ночь брали людей на расстрел, а в 49-м уже иногда могли и не брать. Но когда ночью берут и говорят: “Без вещей” – это очень плохо.

А меня взяли с вещами, и я не особенно беспокоился. Этап так этап. Людей везде хоронят, и дальше кладбища меня всё равно не увезут.

Спец-конвой уже ждал – два солдатика с детскими губами и страшными глазами. Мы добрались до полустанка, сели в рабочий поезд и поехали. К утру мы были на разъезде “38-12”, там угольные шахты и кругом одни лагеря, а всё же глаз радуется с отвычки, после зоны. Голое место, и торчат эти терриконы. И тут я удивился: зачем меня со спецконвоем посылать на шахту? Я больше полугода под землёй не протяну. Так зачем? У Перебийноса, в нашем лагере, я хорошо работал, никто на меня не жаловался. Может, за сионистов опять взялись? Или за бундистов? И стало мне грустно.

В управление меня приводят со всем почётом. Конвой топает и сдаёт меня какому-то офицеру, нервному человеку.

- Я капитан, – этот человек говорит, – вы можете присесть. Меня звать Коган Арон Лазаревич. – И смотрит на меня так, как будто уже рассказал мне историю всей своей жизни.

- Зек Белоцерковский, – говорю я этому Когану и уже хочу встать со стула, а он руками замахал и отчаянно так шепчет, даже морщит лицо:

- Сидите! Сидите! Хотите есть? Роман Ильич вчера скончался, наш замполит. Понимаете?

А что я мог тут понимать? Ну, умер замполит, какой-то Роман Ильич, ну, похоронят его, мимо земли не пронесут. В каждом лагере похоронщиков хватает, а начальство тем более хоронят свои, на спец-кладбище, а не на нашем. Из ружей стреляют, оркестр играет... А меня привезли со спец-конвоем, чтоб Коган, выходит дело, сказал мне про Романа Ильича, про которого я даже никогда не слышал? И всё-таки ко мне это имеет большее отношение, чем, например, к учителю или артисту. Просто профессионально, если хотите знать.

- Он что, болел? – спрашиваю.

- Он пил, – говорит Коган и пальцами по столу стучит: “туп-туп, туп-туп”. – Тут, понимаете, дело не совсем обычное.

А что тут необычного? Пил Роман Ильич и умер от белой горячки. Жена поплачет и выйдет за другого, офицерские вдовы одни долго не сидят. У ней, наверно, и дом есть, и коровка. Умер человек – житейское, извините, дело и нечего из этого устраивать историю. Вот когда рождается человек на свет – это, действительно, история! Но у нас в лагерях не рождаются, только умирают.

- Он, видите ли, был не совсем Роман и не совсем Ильич, – говорит Коган и смотрит на меня как бы на брата или другого близкого человека. – Он был, между нами говоря, Рувим... Вы ведь еврей?

- Еврей, – я говорю. – Да.

- Ну вот, говорит Коган. – Так его жена, Рувима Израилевича покойного, хочет похоронить его по нашему обычаю. И он тоже так хотел.

- Он был замполит? – спрашиваю.

- Ну и что? – пожимает плечами Коган. – Замполит. Что, по-вашему, еврей не может быть замполитом? Нет-нет, вы мне скажите!

- Вот он же был, благословенна его память, – говорю я этому Когану. Там было так тепло, в его комнате, так чисто, и мне хотелось ещё посидеть и поговорить.

- Да, это был незаурядный человек, – говорит Коган. – Хотите выпить рюмку? Ну, пожалуйста! Он всё-таки оставался евреем, а это, вы сами понимаете, нелегко. Поэтому он так пил. У него даже была книжка Шолом-Алейхема. Я, например, никогда не читал Шолом-Алейхема, а теперь обязательно возьму и почитаю. И он после смерти тоже хотел оставаться евреем. А ведь это могло ему стоить партийного билета!

- Ну, теперь уже не исключат... – говорю я и развожу руками.

- Да, но у него ведь жена, – не соглашается Коган, – это тоже понимать надо. Пенсия и всё такое...

- А что, пенсию отобрать могут? – спрашиваю я.

- А вы разве не понимаете? – понижает голос Коган. – Всё могут, всё! Член партии, председатель месткома, и вот нате вам – еврейские похороны. Ведь тут кругом одни гои, что они скажут?!

И так он всё это говорил, как будто не в лагерном управлении мы с ним сидели, а в синагоге, и он был не начальник, а я был не зек. И я в первый раз в жизни почувствовал, что все евреи – братья и сёстры, не всегда, конечно, не при всяком случае, а хотя бы изредка, хотя бы на десять минут, вот как тогда: мы сидим с Коганом в чистоте и тепле и говорим как сыновья одного отца.

Похоронить еврея не намного трудней, чем похоронить гоя. Тут всё дело в привычке. Например, некоторые думают, что в гробу покойнику лежать лучше и почётней, чем без гроба. Но мы, евреи, хороним без гроба: мы привыкли, а попробуйте отговорить еврея, если он уже к чему-то привык. И почему, действительно, в гробу “под мрамор” и с кружевами, а не в кровати с панцирной сеткой и блестящими шариками? Почему в чёрных штанах, а не в полосатых? Я не говорю, что это плохо, просто гои это взяли в привычку и на том стоят... Но мы-то хотели похоронить Рувима Израилевича как полагается: без гроба и без чёрных штанов. Для этого меня и доставили со спец-конвоем сюда, на разъезд “38-12”, потому что хоронить – это моя профессия, а хоронить по-еврейски – это моя душа.

Нам нужен был миньян. Найти десяток евреев в любом лагере – плёвое дело, для этого даже очки не надо надевать. Но десять

зеков на спец-кладбище, у замполитской могилы – это уже контрреволюция, это скандал! Коган обещал привезти одного майора и ещё одного еврея из посёлка, завпочтой – а остальные?

- Есть ещё Розалия Борисовна, – предложил Коган. – Вдова.

- Женщина не годится для миньяна, – сказал я. – Вы, что, не знаете? Какой же вы еврей?

- Я не знал, – смутился Коган. – Простите...

- А больше тут нет евреев? – спросил я.

- Нет, только майор, – сказал Коган. – И почтарь.

В ВОХРе евреев не было, это же ясно.

- Тогда придётся взять зеков, – решил я.

- Да, да, – сказал Коган. – Если нет другого выхода... А пять нельзя? Ну, шесть?

- Десять! – сказал я. – Миньян! Что вы тут со мной торгуетесь?

- Я не торгуюсь, – сказал Коган. – Берите, если надо. Но тогда придётся взять конвой, без этого никак нельзя.

- Пусть будет конвой, – разрешил я. – Постоят где-нибудь...

Евреев я, конечно, сразу нашёл на зоне. Я видел: это будет для них праздник – вот так собраться, все свои, и молиться Богу вместо того чтобы идти на работу. И я хорошо думал об этом Романе Ильиче, об этом замполите: вот, он умер, и евреям вышел праздник.

Коган достал в санчасти носилки, и наших зеков привели. Гои тоже пришли – сослуживцы покойного, человек двадцать. Они толпились в сторонке в своих парадных сапогах и думали, что это кино, а не похороны на спец-кладбище. Могила была уже готова, зеки тащили носилки от грузовика. И тут я заметил Когана у самой ямы.

- Нельзя! – закричал я Когану и стал толкать его от могилы. – Нельзя! Ждите за воротами!

- Как нельзя? – удивился Коган.

- Вы же Коган, Боже мой! – он даже не знал, почему нельзя, этот еврей. Кто будет служить в Храме, когда придёт Мессия?!

- Когда придёт Мессия? – переспросил Коган. – При чём тут Мессия?

Гои молча смотрели на нас, им было интересно.

- Когда придёт Мессия, – объяснял я Когану, выпроваживая его с кладбища, – ему понадобятся священники для Храма. Только Коганы могут служить в Храме, чистые Коганы. Я не могу, другой не

может, а вы можете! Это великая надежда для еврея, вы понимаете? Но Коган может иметь дело только с живыми, иначе он осквернится и его не пустят в наш Храм. Вам нельзя заходить на кладбище! Идите же!

- Но я... – промычал Коган, отступая к воротам.

- Мне можно, другому можно, – твердил я и уговаривал. – Вам нельзя. Откуда вы знаете, что, когда придёт Мессия, священником Храма будет какой-нибудь профессор Коган, а не капитан Коган с разъезда “38-12”? А?

Он больше не спорил и твёрдо шагал. Через ворота он глядел, как мы закапывали могилу и читали Кадиш. Ему, капитану Когану, вдруг захотелось стать священником в иерусалимском Храме, и, может быть, он верил, что так когда-нибудь и случится.

Яков Шехтер

НЕСНОСНЫЙ ПРАВЕДНИК

Залман-Лейб женился во время великой паники. В начале 1833 года по еврейским местечкам пронесся слух, будто царь Николай, да сотрется имя злодея, решил запретить ранние браки. Согласно галахе, еврейскому закону, тринадцатилетний мальчик назывался совершеннолетним и готовым к женитьбе. Девочка считалась зрелой еще раньше – к двенадцати годам. Сразу после этого срока и устраивали свадьбы. К восемнадцати – времени призыва в армию – парень был уже отцом двоих, а то и троих детей, поэтому забрить его на двадцать пять лет было непросто.

В царской армии из непокорных евреев ковали добрых христиан. Ковали безжалостно – кто не хотел склониться – ломали. Поэтому родители всеми способами пытались спасти сыновей от этой жуткой каторги. Царским чиновникам надоело копаться в матримониальных связях строптивых жидков, и Николаю был подан проект указа: запретить еврейским юношам жениться до восемнадцати лет. Впрочем, для девушек было сделано послабление, им допускалось выходить замуж начиная с шестнадцати.

Слух о готовящемся указе прокатился по еврейским местечкам подобно смерчу. Под свадебный балдахин потащили детей. Надо было успеть до оглашения указа...

Около десяти вечера отец поднял семилетнего Залман-Лейба из постели.

– Вставай, пойдем на хупу.

– Какая еще хупа, – забормотал спросонок Залман-Лейб, – спать хочу!

– Вставай, – отец безжалостно тормозил ребенка. – Умойся и поспеши, мы и так уже опаздываем.

Идти оказалось недалеко, через два дома. Честно говоря, Залман-Лейб вовсе не горел желанием показываться на глаза соседям. Сегодня он накостылял их дочке, шестилетней Рейзл.

Противная девчонка по вредности характера растоптала сооруженный им домик из песка, палочек и коры. Пришлось вклеить ей хорошего леща, и она страшно воя, побежала за братом. Залман-Лейб не стал дожидаться его появления и дал стрекача домой, где и просидел до самого вечера, опасаясь мести.

Хупа – бархатное покрывало на длинных полированных шестах – уже стояла во дворе. Вокруг в субботних одеждах столпилась вся семья Рейзл. Один из ее братьев, десяти лет от роду, завидев Залман-Лейба, украдкой показал ему кулак. Наверное, ему то и пожаловалась эта несносная девчонка!

« Ну, ничего-ничего, – подумал Залман-Лейб, – мы еще встретимся на улице, ухвачу за косички, будет знать, как ябедничать...

Залман-Лейб плохо представлял, что такое хупа, и для чего предназначено это сооружение. Он знал, лишь то, что под хупой стоят, и принялся искать глазами того, кто займет это место.

– Пойдем, – сказал отец. – Твое место там, – и он указал под балдахин, – вместе с Рейзл.

– С Рейзл? – вскричал Залман-Лейб. – Ни за что, пусть ее брат с ней стоит!

– Братья не стоят с сестрами под хупой, – улыбнулся отец. – Если ты будешь вести себя смирно, то сразу после хупы получишь медовый пряник.

– Ни за что! – заупрямился Залман-Лейб.

– Тогда вместо пряника, – прошипел отец, искоса поглядывая на родителей Рейзл, – я хорошенько тебя выпорю. Кому говорят, марш под хупу!

Пришлось пойти. Вскоре привели Рейзл, она была в белом субботнем платьице с пояском. Увидев Залман-Лейба, она показала ему язык, но, повинувшись ведущей ее под руку матери, встала рядом. Раввин Чернобыля выступил вперед и собрался, было что-то прочесть, как Рейзл вдруг запрыгала на одной ножке. Честно говоря, Залман-Лейб тоже устал устоять на месте и с удовольствием бы поскакал, но тяжелая отцовская рука, лежащая на его плече, не давала даже двинуться.

– Что такое? – прошептала мать Рейзл, наклоняясь к девочке. – Не можешь пять минут постоять спокойно?

– Хочу пи-пи! – громко объявила та. – Сейчас убежит!

– Почему ты раньше не сказала?! – сердито воскликнула мать и увела невесту.

Потом раввин что-то говорил, родители тоже, но Залман-Лейба не очень интересовало то, о чем судачат взрослые. Он пропускал их слова мимо ушей и терпеливо ждал обещанного пряника. Пряник он, действительно получил, и его отвели домой спать.

После этого много лет подряд на праздники его водили играть с Рейзл. Ему изрядно поднадоела эта глупая задавака, но отец даже не хотел слушать возражений, просто брал его за руку и вел в гости. На следующий день после того, как Залман-Лейбу исполнилось тринадцать лет, отец рассказал, что он, оказывается, муж Рейзл! Ничего себе! Залман-Лейб давно позабыл церемонию, состоявшуюся шесть лет назад, но отец напомнил, показал ктубу – брачное свидетельство – и объяснил, что нужно делать, когда этим вечером они окажутся в одной постели.

К восемнадцати годам Залман-Лейба был уже отцом двух детей, но, тем не менее, по совету родителей, решил отправиться в добровольное изгнание, галут, на пять лет. Парнас-ахойдеш, глава общины Чернобыля, взъелся на отца Залман-Лейба и мог в качестве мести запросто сдать в солдаты сына языкастого спорщика.

В галут уходили для духовного совершенствования. Страдания должны были искупить муки еврейского народа, также пребывающего в изгнании. Уходящий брал на себя обет не спать больше двух ночей под одной крышей, кроме суббот и праздников, жить исключительно на милостыню и все время учить Тору. В еврейских общинах к таким странникам относились с большим уважением и понятное дело, что ни о какой армии речь уже не шла.

За эти пять лет Залман-Лейб побывал в Чернобыле три раза и стал отцом еще троих детей. Парнас-ахойдеш благополучно отошел в мир иной, а с новым отец Залман-Лейба был старинным приятелем. Галут закончился, и можно было возвращаться домой. К тому времени Рейзл превратилась в домовитую хозяйку процветающей продуктовой лавки и привыкла во всем обходиться своими силами. Вернувшийся муж постоянно путался под ногами и только мешал, поэтому очень быстро оказался в синагоге, где принялся в компании подобных ему святых, с утра до вечера раскачиваться над Талмудом.

Годы, проведенные в галуте, сильно повлияли на молодого парня. Он действительно отстранился от дел нашего мира и погружился в заботы духовные, передав скорбные дела земные по-

печительству своей неутомимой жены. С годами характер его испортился, переполнявшая духовность вместо того, чтобы сделать Залман-Лейба тоньше и мягче, раздула в нем гордость и гневливость. Спорить с ним было непросто, многолетнее изучение талмудических споров отточило его ум. Рейзл он не давал открыть рта, и она, привыкнув молчать в присутствии мужа, не скрывала своей радости, когда тот выходил за порог.

У каждой хозяйки есть свой особый «пунктик» в домашнем хозяйстве. Одна совершенно не обращает внимания на грязную посуду, лишь бы полы были чистыми, другая без конца моет оконные стекла, третья перед каждым праздником заставляет мужа белить потолок. Да отделит Всевышний тысячью разделений от подобного соседства, но у каждого праведника из Чернобыльской синагоги были свои заповеди, на которые он обращал особенное внимание. Излюбленным коньком Залман-Лейба стал Песах.

Он ждал этого праздника весь год, и выполнял все запреты и указания с такой свирепой страстностью, что в местечке его стали называть « Несносный праведник». Песах известен ограничениями, квасное и все с ним связанное начисто выносятся из дому. Другая посуда, новая одежда, особенно тщательная уборка. Всевышний по великой милости Своей, позаботился о том, чтобы к приходу весны евреям было чем заняться.

– Охо-хо, – вздыхала Рейзл, вспоминая о предпасхальной чистке дома. Не будучи мудрецом и затоком истории, она уверенно связывала уборку с памятью о бессмысленных рабских работах, которыми угнетал фараон наших предков в Египте.

Но Залман-Лейбу обычных запретов было недостаточно, он искал их с настойчивостью влюбленного, гонялся за ними как коллекционер за редкими монетами или марками и насобирав огромное количество. В итоге все семь дней праздника его семья питалась исключительно мацой и картошкой, и ждала Песаха как неминуемого наказания за грехи всего года.

Стоило Рейзл или одному из детей Несносного праведника взмолиться о милости и попросить малейшей поправки, как Залман-Лейб немедленно свирепел, раздувал в бешенстве ноздри, словно стараясь в очередной раз подтвердить свое прозвище, и начинал яростно засыпать нарушителя изречениями и цитатами.

Ему везде мерещилось квасное! Если бы он мог перед Песахом сжечь свой дом, чтобы избавиться от страшных подозрений о

крошках, завалившихся в укромные уголки, он бы непременно так и поступил. Даже вода была у него на подозрении, мало ли что может упасть в колодец!

Перед праздником Залман-Лейб самолично отвозил большую бочку к крестьянам из соседнего украинского села. Пока они выскабывали и вычищали ее до кристальной чистоты, Залман-Лейб стоял над головой, проверяя добросовестность работы. Вернув бочку домой, он собственноручно наполнял ее до краев и с того момента воду разрешалось брать только оттуда.

Бывало, что Песах случался жарким, редко, но бывало, и вода в бочке начинала пованивать. Ну и что? Заповедь есть заповедь, никаким дурным запахом ее не отменишь. Воду кипятили и пили до самого завершения праздника. Впрочем, это слово было начисто вымарано из сознания членов многочисленной семьи Залман-Лейба. Постоянными поисками квасного во время Песаха он держал голодных домашних в постоянном страхе и напряжении. Несносный праведник, по-другому не назовешь.

Зато сам он весь праздник ходил по Чернобылю, словно ангел по облакам. Песах был временем его торжества; гордость за правильно, точно и полно выполненную заповедь, переполняла Залман-Лейба. Но он сдерживался, он прятал свое торжество и, как написано в святых книгах, старался держаться скромно.

« Другой бы на моем месте, — думал Залман-Лейб, — непременно раздулся бы от тщеславия. И ведь есть, есть за что! Но Тора учит еврея смотреть вниз, а не горделиво задирать голову вверх. Только Всевышний на небесах в состоянии сполна оценить мои усилия, человеческому глазу недоступны ни полный смысл заповеди, ни подлинный размер награды за ее выполнение. Зачем же тогда задирать нос и чваниться, все равно люди не могут оценить мой Песах!»

Но иногда Несносный праведник не сдерживался, и из него, словно из кипящей на плите кастрюли, вырывались облачка пара.

Жил в Чернобыле святой еврей по кличке Провидец. Так его прозвали за то, что перед ним открывалось сокрытое. Не то, чтобы к святому ходили разузнать, куда запропастился ключ от замка или где искать заблудившуюся корову. К Провидцу обращались в тяжелых, неординарных случаях, когда речь шла о жизни или смерти, о больших убытках, или опасности для всей общины. И не было случая, чтобы слова Провидца не сбывались!

И вот однажды в Песах Залман-Лейб, уж никто не помнит по какому поводу, слегка взъелся на святого человека. Видимо пара под крышкой собралось слишком много, вот она и сдвинулась с места. Выходя из синагоги, он прилюдно брякнул:

– Хоть ты и провидец, но твоему Песаху до моего, как до Иерусалима пешком.

Провидец на минуту задумался, а затем ответил:

– Конечно, ты же сколько лет подряд каждый Песах питаешься квасным.

– Я?! Рассмешил – ха-ха-ха, – глумливо рассмеялся Залман-Лейб.

Стоящие рядом евреи пришли в замешательство. С одной стороны, Провидец никогда не ошибается, с другой, это самое последнее, в чем можно было бы заподозрить Страшного праведника.

– Да-да, именно ты, – кротко заметил Провидец. – Пойди и посмотри, что у тебя прячется на дне бочки.

Залман-Лейб ринулся домой. Несмотря на глумливый смех, он относился к предсказаниям Провидца весьма серьезно. Взяв багор, он собственноручно принялся шарить в бочке и вскоре вытащил из нее рогожку с привязанным к ней камнем. Дрожащими руками Страшный праведник развернул рогожку, обнаружил в ней размокший каравай хлеба и упал в обморок.

Очнувшись, он завыл так страшно, что соседям показалось, будто в Чернобыль снова приехал цирк и привез в клетке старого облезлого льва, рыкание которого повергало в ужас пожилых евреек местечка. Вырвав от горя треть бороды, Залман-Лейб побежал к Провидцу.

– Почему ты мне до Песаха ничего не сказал?

– Не в моей привычке заглядывать в чужие дома. Но ты меня заставил своим высказыванием.

– Но откуда в бочке хлеб?! – вскричал Страшный праведник. – И как он мог там оказаться? Я же лично ее проверяю?!

– Ты так надоел крестьянам своими придирками, – ответил Провидец, – что они, который год подряд, после окончания твоей проверки, подбрасывают в бочку каравай хлеба.

ПОЭЗИЯ

Катя Капович

В ТЕМЕЧКЕ ТЕМНЕЕТ РАНЬШЕ

На Манежной белоснежной
обнимаю друга нежно,
открывай глаза,
в небе – небеса.

Ангел мой под ноль острижен,
алкоголь уносит к крышам,
как тебя сказать,
чтобы не солгать?

Как на сердце одиноко
кычет-хнычет филиоква,
как тупой урод
на прицел берет.

И, когда в кармин заката
мы уйдем с Манежной смятой,
дождь проморосит.
Бог его простит.

К РОЗЕ

По-над сладчайшей розою кладбищенской,
все тайны соловья ночного вызнавшей,
я наклоняюсь, опустив лицо
в ее пожара красное кольцо.

Здесь Фету ты коленопреклоненному
и соловью нашептывала скромному,
теперь и мне шепни хоть что-нибудь
пред тем, как шелк свой жаркий отряхнуть.

Она в ответ: лежит поэт в могильнике,
мой соловей давно свистит в мобильнике
небесную мелодию свою.
Над горсткой лепестков в тоске стою.

На прощанье, слышишь, дай мне руку,
очень мне нужна твоя рука,
под руку ленивая прогулка
мимо сигаретного ларька.

Старый парк в пустом великолепье
затекает длинный разговор,
словно пар, туманятся деревья,
мается аллеиный дискобол.

Сорок лет сгибает руку в локте,
в каменный упершись пьедестал,
скучный правнук каменного гостя,
и устал, ужасно так устал.

Там кружит у кассы рой бумажек,
будто все билеты продались,
и припомнить хочет с двух затяжек
человек, куда девалась жизнь.

ДОМИНО

Чем дальше, в темечке темнеет раньше,
посмотришь за окно: не так темно,
подумалось, коль так пойдет и дальше,
я все просплю на этом свете, но
мы в домино садились каждый вечер,

сходились точки, нравилось мне, как
стучали кости, как листва о ветер,
и проигравший брел в универмаг.
И проигравший из универмага
морозной ночью приносил вино
и водружал его, как над Рейхстагом,
над сломанною грудой домино.

А пророс писсуаров – из римских стихов
мэтр читает стихи, что привез из Европы.
Конференция, сотня ученых голов,
в гардеробе уставшем – плащи и салопы.
А пророс дураков на ученом ветру –
тише, Филя, не надо ругаться сквозь зубы,
если завтра на пенсию или ту-ту,
что останется тут? Только кресла и тумбы.
А ведь в этом же городе раньше, давно
настоящий жил гений, работал агентом,
по утрам уходил в страховое бюро,
вечерами домой возвращался с патентом.
И, когда вечерами с портфелем он шел
и вокруг были гении все вечерами,
уже знал он презрения жесткий апломб,
потому-то и печь разжигал он стихами.

У весны над правым кособором
кто-то змея водит на струне,
а на левом я стою со взором –
все равно, мол, мне.

Но взлетит бумажный змей и вспомню,
что сегодня хлюпала капель,
что подснежник выбежал в исподнем,
а сверху – такая акварель!

Вот бы горе отпустить туда же,
в синие большие небеса,

в детство наше, в обещанья наши
возвратиться через полчаса.

ПАЛЬТО

В карманах – спички, пачка сигарет,
век шутовскому пальтецу носиться,
о, черных, заключенных клеток бред
и грязно-белых на подкладке лысой.
Я буду в нем сидеть на всех пирах
и штукатурку обтирать снаружи,
и очень мало понимать в стихах
да и не слишком, значит это нужно...
Чего там сильно понимать, друзья,
вы рифмские и греческие мифы
любили однозначно, я – глаза
ресницы, губы и веснушки, их бы
воспеть, но я боялась, засмеют
какие-нибудь Пети или Вити
и просто так пила, чего нальют,
чтобы потом в пальто на холод выйти.

Юлия Новикова

ДЕЛО НАШЕ – СТОРОНА

1.

Что дело наше сторона
проходит жизнь за ней другая
от нежности изнемогая
накатывает как волна
и принимая за свое
все поглощает постепенно
и только выступает пена
как при падучей у нее.

2.

Покуда ты одно из двух
Не выбираешь обреченно.
Покуда жареный петух
Тебя не тюкнул в место оно.
Есть время избежать судьбы
Открыта снежная равнина
А с ней березы и дубы
И звезды и – гуляй рванина!

Во сне неглубоком, в проточной воде,
Где раки зимуют невидимо где,
Где разума солнце угасло
И время пошло как по маслу
Там гостю незваному все невдомек,
Что он из немногих один изнемог

Что краски в глазах потускнели
И свет затерялся в тоннеле
Его мы искали с огнем и мечом,
Но вдруг оказалось, что тот не причем,
А значит без всякой надежды
Смежаются вежды невежды.
Падению не было, не было, не
Легко очутиться, очнуться на дне.
Повсюду знакомые лица...
И глубже еще провалиться...

1.

Я на коротком поводке
Я на коротком повадке тебя водила бедный песик
покуда вражеский водила тебя не раздавил в лепешку
на придорожный камень бросив
твой влажный твой прелестный носик
который все ж дышал немножко...

2.

Рогами постучите и тогда
откроются вам старые деревья
и сбросят маски хитрые кусты
и может быть рубахи-камышы
протянут вам панбархатные ручки...

3.

Не держись за эту юбку
Ты потонешь в этой складке,
Ты погибнешь без оглядки
Под крылом своей голубки.
У нее кольцо на лапке
У нее сережки в ушках,
Ты оставь ее на лавке,
Пусть достанется подружкам,
Или отпусти на волю,
Пусть летит над головами,
Нежно шелестя крылами,
Отгоняя злую долю...

Ирина Маулер

ВЫЙДУ ЗАМУЖ ЗА ГОРОД

Волны играют этюды Черни
Ночно играют и денно
7 вечера, час чуда –
Солнце сходит со сцены.

Воздух жасмином цветет в стакане
ноты бегут за отливом
Вас я не знаю, с вами не стану
Смелою и счастливой.

Зябкое слово падает снова
В море – на дно души
Канет – достанешь? Рыбкою станешь
Ты золотой? – спеши.

Или неспешно бросишь небрежно
“мне ни к чему слова”
Знаешь, уставший, звуком не ставший -
Я не тебя ждала.

Поздние речи, северный вечер-
Время не лучших нот
Эта слепая ,странная встреча
Вас не ко мне ведет.

Ваши дорожки– не подорожник-
К ране– не приложи

Мне недостаточно ваших ладоней
Если в них нет души.

ЖИЗНЬ

Какие обещанья и нарыв
на безымянном пальце нервном,
Из – за того, что главное забыв
Вдруг понимаешь, что в ряду – не первом.

Там плохо видно, сцена далека,
Актеры что-то говорят противно
И жизнь твоя с начального листа
Перед тобой несется кинофильмом...

Там много света, моря и тепла
Там жизни поцелуи и объятья
И в этом промежутке жизни та,
Которую ты знаешь – в белом платье.

Там обещаний завязь и курок
Там яблоко раздора и желаний
Там слезы выпадавшие не в срок
И засуха надежд и расставаний.

Когда нет слез – тогда тверда рука
Когда нет нужных слов – в любви нет смысла
И жизни полноводная река
В ручей перетекает каменистый.

Бывают дни, слепые, как кроты,
Ненужные ,затертые, скупые
Как будто их достать из темноты
По случаю небрежности забыли.

Бывает , только утро назовешь
По имени– и сразу нет печали
А за окном идет осенний дождь,
А ты его совсем не замечаешь.

Из дней и дней– сплетаются года
Ты вырастаешь из сандалий детства
На поездах уносит города,
К которым успеваешь приглядеться.

А жизнь танцует вальс и краковяк,
То в одиночку, то с тобой в обнимку –
Что хочет, то и делает, и так
Проходит.. словно в шапке невидимке.

НЬЮ-ЙОРК

Мы с тобой не встречались
Тебе ни к чему мой профиль,
В чем я профи –
Тебе расскажу не сразу,
По дороге усну и разбудит меня на кофе
Чернокожий стюарт
Не взглянувший в глаза ни разу.

Интересно, когда молодая, живая кожа
И глаза зажигают удачу, надежду встречи,
А когда лишний раз улыбнуться уже не можешь
И на веру никак не берутся любые речи...

Что случилось, спроси-
Я не знаю, наверно ветер
Много лет бил в лицо ,слишком солнце сушило губы,
За окном то ли день, то ли сумерки, то ли вечер.
Может встретимся и я обо все забуду?

Мы с тобой не встречались,
У тебя без меня заботы-
Заблудилась весна и стучится в дома несмело.
Знаю свидимся ,Б-г даст, в канун субботы
И возьмемся с тобой наконец за святое дело.

Будем вместе стирать,
будем пыль вытирать со шкафа,
И в душе наведем порядок легко и мило.
И тогда прилетит к нам Надежда в красивом платье
И расскажет о том, где ее до сих пор носило.

На бегу, на этом берегу
Берегу то, что могу.
Дней многоточия, встреч червоточины,
Рифмы неточные, мысли порочные ,реки молочные.
Берега кисельные, платья кисейные, сны карусельные.
Живую и мертвую воду,
Хорошую и плохую погоду, всего понемногу....
В дальнюю дорогу.

Какие разные— цвет глаз, взгляд, кожа-
Нет , не похожа.
Музыка— ритм резкий, гортанный-
Не вальс и не танго.
Вместо спасибо, вместо простите-
Дама, иль леди-
Дикие танцы, темные мысли, кольца из меди.

Слово, как слово, справа налево-
В южной панаме,
Поздно ложится, рано встает,
Ест в ресторанах.

Стая другая, южные птицы-
Когти из стали.
Я к вам летела, думала тоже-
Южною стану.
Думала пахнет медом и хлебом
Лаской и домом,
А оказалось, столько лет вместе..
Нет, не знакомы.

Осторожно, выбил почву из под ноги Город-
Град, стужа.
Интересно, а вы бы смогли
Стать моим мужем?

Город– поворот головы,
Город-да разве в нем дело,
Интересно, а Вы бы смогли
Меня на руках носить так,
Чтоб сердце яблоком спело?

Городу больше возможных лет,
Выглядит радостен, благополучен.
Ну а мне и пятидесяти еще нет,
Так кто из нас должен выглядеть лучше?

Ну а Вы, сколько вам – 145?
Прыгаете через лужи, глаз ваш горит счастьем.
Знаете, я согласна– буду цвести опять
И рассыпаться бисером счастья на части.

Честное слово, вы мне дороже барж,
Голых деревьев и островов на Крите,
А я для вас что– непонятный пассаж?
Лишняя буква в чуждом для вас иврите?

Пишите письма, пойте, идите в лес,
Резких движений не надо– себя любите.
Город, как город, без бытовых чудес,
Ровный и гладкий
Город– параллелепипед.

Я передумала, вас не хочу в мужья,
Пусто и ветрено с вами, зябко и страшно.
Выйду замуж за город в котором я
Значу то же, что самая главная его башня.

А если домиком серым и рядовым,
Тусклым забором, плохо раскрытой клумбой-
Лучше одна буду шагать по переулкам кривым,
Воображая себя Колумбом.

Ладно, не сговорились ,буду искать другой,
Чтоб непременно запах листвы пропитал ладони.
А вы, город-немой, не мой, не дорогой.
Отныне и навсегда от меня свободны.

Феликс Чечик

ПАРНЫЙ НОСОК

холодной и липкой
во время дождя
раздавлен улиткой
нечаянно я
негаданно или
заслуженно и
меня раздавили
печали твои

не застой как известно
а период упадка
две причёски из детства
полубокс и канадка
бобби халл и мохаммед
без приставки конечно
сердце больше не ранят
согревают утешно
но харламов валерий
и попенченко тёзка
в утешенье не верят
не прощают подростка
и уже не до песен
отслоённой сетчатке
гвоздь не вбил но повесил
и коньки и перчатки

1.

Свет погас. Остановились реки.
Парный обнаружился носок.
Из образовавшейся прорехи
высыпался времени песок.
Я предупреждал тебя, – не так ли?
зашивать не торопилась ты,
но ловила дождевые капли,
луговые гладила цветы.
И словами древними, как греки,
ты мою рассеяла печаль.
Вспыхнул свет. Заторопились реки.
Лишь носка посеянного жаль.

2.

и так до гробовой доски
точней до савана
я обречён искать носки
теряя заново
и находить сто лет тому
назад потеряны
билет автобусный и тьму
вещей вне времени
напёрсток бабушки отца
расчёску с перхотью
и в бесконечность до конца
поверить нехотя
но обнаружится в трюмо
в почтовом ящике
от мамы умершей письмо
из настоящего
и улетучится тоска
и одиночество
и жить без парного носка
опять захочется

мне ли досадовать мне ли
жаловаться на судьбу

выросли и поумнели
и закатали губу
мне ли печалиться если
память просеяв свою
старые новые песни
я под сурдинку пою

ИЗ ДЕТСКОГО АЛЬБОМА

1.

Незнания тяжёлый дым,
как тучи зимние – клубами.
Над математикой сидим,
соприкасаясь головами.
А до контрольной два часа,
и нету шанса никакого
рассеять эти небеса,
чтоб солнце выглянуло снова.
На пару с другом, – друг и я,
а против нас весь мир, конечно;
злорадствуют учителя
и плачут мамы безутешно.
Но выход есть, – и не впервой:
порвать дневник и сжечь тетрадку,
и с углового головой
забить победный гол в “девятку”.

2.

не потратишься едва ли
что-нибудь приобретёшь
сексуальные в подвале
игры хохот шёпот дрожь

доигрались крик и топот
плод не сорван ох и ах
но потраченности опыт
но приобретённый страх

3.

Я учился, влюблялся, дружил,-
я был счастлив, как не был ни разу:
посреди разорённых могил,
но невидимых сердцу и глазу.
Что ты скажешь теперь, балабол?
Теплотрасса нуждалась в ремонте.
С пацанами играли в футбол
черепами Рахели и Моти.
И пока не ударил мороз,
мы играли на улице нашей
черепами Исаков и Роз,
черепами Дебор и Менашей.
Я стоял на воротах. Я был
вратарём, подающим надежды.
Я учился, влюблялся, дружил.
Я был счастлив. Закройте мне вежды.

проснуться затемно пока
ещё и птицы не проснулись
не видеть слышать рыбака
среди офонаревших улиц
несущего рыбацкий скарб
вздыхая и кряхтя под грузом
к реке где зазеркальный карп
ощупывает бездну усом
и засыпая слушать птиц
и сон увидеть на рассвете
непродолжительный как блиц
и удивительный как дети

К ГР. А. А. ЛОБАЧЕВСКОМУ

инкогнито приехать в пинск
снять номер в “Припяти” на пину
с балконом чёрный кофе please
and “Johnnie Walker” половину

из горлышка в один присест
гадая на кофейной гуще
конечно выдаст но не съест
охота было ехать пуще
неволи беловежской и
допив остаток самогона
накинуть плащ надеть очки
и выйти в полночь время оно
обступит щерясь и дыша
в затылок смрадной пастью мне ли
бояться слева ДЮСШ
где дух стоял в здоровом теле
такой господь не приведи
а справа парк и танцплощадка
и перспектива впереди
морг или мягкая посадка
на малолетку выпускной
в дурдом переходящий вечер
и я отравленный виной
и бормотухой дара речи
лишённый джо дассен и ты
с другим танцуешь в ритме вальса
и ничего от бормоты
не помню как бы ни старался
а через год военкомат
и аты-баты на морозе
где я художественный мат
предпочитал гражданской прозе
два года родине отдав
вернуться на завод где снова
гипнотизировал удав
советский кролика ручного
и опускаться день за днём
как все спиваясь и тупея
“и это всё о нём” о нём
не обо мне но эпопея
бесславная. Туман. Рассвет.
Проснулись птицы и деревья.
А интуриста нет и нет.
Лишь капает из крана время.

Борис Херсонский

ДВА ИЛИИ

И что тебе вор, воровать, деньгу прилагать к деньге,
и что тебе, блядь, блудить, ножки в стороны разводить.
Вспомнили бы о душе, о последнем деньке,
не век же звездам сиять и солнцу по небу ходить.
Парторг говорит: мир вечен! Не слушайте, врет!
Не век земле стоять на огромной змее,
кольцом свернувшейся, хвост засунувшей в рот.
Надо бы вспомнить о Черном Илье и Красном Илье.
А как сойдутся они, разнесут колесницы в щепу.
Застынут ангелы, ни слова не говоря.
И обломки сверху обрушатся на толпу,
на площади празднующую юбилей Октября.
И красная кровь Черного Илии прольется на наши поля,
и поля запылают, а вслед за полями – земля,
от земли загорятся моря, почернеют от жара леса,
от морей займутся ясные небеса.
И тогда Красный Илья черную кровь прольет на нас,
и белого света не будет, что же будет с тобой?
Вот те бабка и Юрьев день, вот те рабочий класс,
вот те, парторг, последний решительный бой.

девушка, на что сегодня клюет бычок?
для знакомства с красоткой в Одессе – замечательные слова.
здравствуй, скрипка! у меня для тебя – смычок!
здравствуй, смычок! мне нужен настройщик сперва.
странный обычай – влюбляться ранней весной.

как подойти друг к другу в пальто или плащах?
да здоровствует южное лето, непобедимый зной,
груз страсти, который лежит всей легкостью на плечах.

слишком долгий взгляд слишком печальный
слишком пристальный скорее всего прощальный
слишком труден путь скорее всего безвозвратный
слишком долг велик скорее всего неоплатный
слишком близко родство неизбежно стесненье
слишком кратко прозренье всего лишь одно мгновенье
слишком ночь темна мысли подобны вспышкам
слишком смерть страшна нет пожалуй уже не слишком

В субботу не отходить дальше пяти шагов от порога.
А если на шесть? – человек рассеянно вопрошает.
Раби Шамай сомневается. Мудрецы запрещают строго.
Раби Йоселе разрешает.
Есть молочное – через шесть часов после мясного!
А если минутой раньше? – человек вопрошает.
Раби Шамай сомневается. Мудрецы запрещают строго.
Раби Йоселе разрешает.
Как бы то ни было, мысли Единого Бога
выше мыслей наших. Но спорить никто не мешает.
Раби Шамай сомневается. Мудрецы запрещают строго.
А я люблю раби Йоселе, который все разрешает.

песни про крутится-вертится, про тучи над городом встали,
я с другим, а ему не верится, танк, сверкающий блеском стали,
потому что пилоты, потому что монтажники -добровольцы,
из трубки сталина ввысь плывут дымовые кольца.
плывут дымовые кольца, плывет дымовая завеса.
у самого синего моря замечательный город одесса.
там закоренелые пляжники не могу дожидаться лета,
там стройные ножки в театре оперы и балета
маленькие бинокли с номерками дают в гардеробе.
одна балерина лучше, но мне понравились обе.

я мальчик три года, я младше любой пятилетки,
если я заболею, мне мама дает таблетки.
мне мама дает таблетки, я медленно засыпаю,
ложусь под ковриком у стены, а кошка ложится с краю.
мне снятся программки в руках билетерши строгой и сухопарой,
и музыка крутится-вертится со скрипом пластинки старой.

Мирное время погибает военной смертью.
А военное мирной – выдыхается постепенно.
Это издали представляется чехардой или круговертью.
Те же картинки мелькают попеременно.
Попытка прорыва, потом отсидка в окопах.
Голову в плечи в ожидании артобстрела.
Засады карателей на партизанских тропах.
В этих делах эпоха поднаторела.
В мирное время пуля – это высшая мера
социальной защиты от чуждого элемента.
В военное время обычно воскресает детская вера.
Перед криком “в атаку” есть место для сентимента.
В мирное время скрипка уличного музыканта
поет военные песни, полные ностальгии.
А жильцы запасают хлеб-соль в ожидании оккупанта.
И оккупанты придут. Если не те, то – другие.

Для того, видать, и нужен червлёный щит,
чтобы лисы тявкали на него во тьме.
Для того и мыслям тесно – череп трещит,
чтобы никто не знал, что у тебя на уме.
Слово о полку – программа за класс шестой.
Кончаковна лежит в шароварах, Ярославна стоит на стене.
И трещит сверчок, знающий свой шесток,
и князи родом из грязи скачут по нищей стране.

он был в хорошей форме, то есть – в форме спецназа.
подрабатывал киллером. выстрел – и след простыл
в подброшенный коробок попадал с первого раза,

а в тюрьму – ни разу. у него был надежный тыл.
его любили женщины. потом всю жизнь тосковали,
обнимая тоскливых мужей. нет, он был несравним!
сильные мышцы. член из горячей стали.
нормальный мужик был хлюпиком рядом с ним.
вершиной его карьеры была охрана
первых лиц государства, вернее. державных морд.
он берег тирана. но, когда свергали тирана,
лично его пристрелил. каков финальный аккорд!
наутро он был найден мертвым в своей постели,
в дешевом отеле: ни документов, ни особых примет.
его безымянным вскрыли. потом безымянным отпели.
все путем: убивал – убит. был отпетым, и вот – отпет.
Двойник

Четверть века ходил у Правителя в двойниках:
посещал заводы и фабрики, возлагал к обелискам венки.
Но Правитель умер, и дальше уже – никак.
Отставка без пенсии – прощайте, златые деньки.
Конечно, могли бы убить для порядка, но
Преемник был не слишком жесток и не слишком хитер.
Сначала двойник мечтал, что будут снимать в кино.
В конце концов, двойник – он тот же актер.
Но покойный Правитель был скучен – при нем воцарился мир,
И голод ни разу не случился при нем.
Народ при нем обленился, народ накапливал жир,
а в фильмах необходимо, чтобы сердце горело огнем.
Двойник устроился призраком, завернутым в простыню,
в отеле три звездочки, как дешевый коньяк.
Явление призрака в номер указывалось в меню.
Но постояльцы скупились и робели – а вдруг – маньяк?
Он ходил по горсаду в мундире с копиями орденов.
С ним рядом снимались. И это давало доход,
как говорится, достаточный для поддержания штанов,
особо, когда приходил туристический пароход.
Затем он стал появляться в праздник на фоне знамен,
именуя себя Правителем. Он нагнул с каждым днем.
Тут он был арестован, судим и приговорен
к пластической операции. И больше – ни слова о нем.

Михаил Сипер
НЕ ТРАНЗИТ СИК

Моя мама, в девичестве Гержой,
Из Песчанки попавши на Урал,
Не сменила тот говор на чужой,
Идиш свой не покинул пьедестал.

Моя мама, в девичестве Гержой,
Отпускала на улицу меня.
Ехал возчик на двор, тряся вожжой,
На весь город бидонами звеня.

Я ходил по заснеженному льду,
По двору магазина «Гастроном»,
В этом малом озлобленном аду
Пахло мерзлой помойкой и говном.

Среди сверстниц и сверстников моих
Я был чуждым, вот чёрт меня дери,
Хоть плевал через зубы лучше них,
Хоть свистел в пальцы громче раза в три,

Хоть гонял я быстрее колесо,
Хоть стоял на воротах всех прочней,
Да и массу немислимых высот
Брал намного и легче и точней.

Я не вырос занудой и ханжой,
Хоть ничто не мешало ими быть –
Моя мама, в девичестве Гержой,
Свято чтит свой местечковый быт:

«Не торчи из построенных рядов,
Не носи вещи, словно попугай,
Помни, кто ты, и будь всегда готов,
Убежать, если слышно чей-то лай...»

Я кивал и опять спешил во двор,
В гущу морд и паноптикум зверей.
Одногодки мне ставили в укор,
Что я умный, спокойный и еврей.

Чтоб меня не разъело этой ржой,
Я пейзаж навсегда переменял.
...Мою маму, в девичестве Гержой,
На кибуцном погосте схоронил.

Сидим с Аркадием Тигаем –
Уже который час подряд
Лудим-паяем-починаем
Заморский чудо-аппарат.

Вливаем в сей сосуд программы
На чистом русском языке,
И к нам приходят панорамы,
Что раньше жили вдалеке.

А как сплетается беседа!
Стихи, и проза, и кино,
Друзья и счастье, ложь и беды –
Всё, что в мозги занесено

Шальными ветрами эпохи,
Покуда не совсем стары.
Мы не раззявы и не лохи,
Но всё ж добры, добры, добры.

Меж нами нет сплошного мира,
Мы спорим так, что впору выть,
Но знаем не слабей Шекспира,
Что быть важнее, чем не быть.

Сидим с Аркадием Тигаем
Под карк вороний со двора...
Читатель рифму ждёт «тягаем»
И не дожждётся ни хера.

НМК

В пустоте злого дня или плотной бессмысленной ночи,
Между Сциллой небес и Харибдой сплошной слепоты
Никуда он не мчит. Как мне кажется – просто не хочет.
Он вдыхает весь мир, а взамен выдыхает мечты.

Окружающий свет непривычен и странен, поверьте,
Это бостон-костюм, бостон-танец и Бостон-дома.
Так устроено, что на развес не получишь бессмертья,
Так уж всё повелось, что по скидке не купишь ума.

Где бывшие друзья? Их костлявая крепко схватила.
Лист пожухлый, опавший по-прежнему ветром гоним...
Но свозь явную немощь проглянет нежданная сила,
И в невольном поклоне склоняюсь и я перед ним.

Путь неясен и скрыт, понапрасну мы зенки таращим,
Непонятен маршрут и для умниц и для дураков,
Но во тьме мирозданья укажет дорогу пропащим
Свет невидящих глаз сквозь могучие стёкла очков...

Змеёй дожди ползли по окнам,
Картинку эту я храню,
И электричество промокло –
Сдыхало пару раз на дню.
Я думал – песенка пропета,

Но тут пришли другие сны,
Когда на нас напало лето
Без объявления весны,
Когда, сквозь кожу проникая,
Из крови жар творил желе,
А ты была тогда такая,
Что больше нету на Земле.
Как узник Беломорканала,
Я был застрелен на бегу,
И море медленно стирало
Твои следы на берегу.
Потом – опять другое время,
Опять другие голоса,
Моё слабеющее племя
Ушло за дальние леса.
Опали ясени и липы,
Сгорев в нагрянувших боях.
Остались мне дагерротипы,
Где я и ты, где ты и я.
Пусть не в алмазе, не в корунде
Мой изваян печальный лик,
Но наша gloria, хоть мунди,
Но верю я – не транзит сик.

Александр Елин
ИЗ ЦИКЛА “СОВЫ”

У одной девушки дома жили совы – тряпичные, фарфоровые, пластмассовые, деревянные... Я обещал поселить у неё сов зарифмованных.

И выполнил обещание.

(начало)

На дне рождения пчелы сова
Сыча так поразила лысого
И поволокой, и повадкой
И коготком, и гузкой сладкой
Что всей поляной мы сечём -
Творится странное с сычом.
Стал говорливым, плясоватым
Ты осторожнее, сова, там

(птица – талисман)

От коготков до острых ушек
похожи на смешных старушек
хлебнувших всякого с лихвой
Забавно вертят головой
глаза восторженно круглы,
во все глядевшие углы,
впитавшие всю мудрость мира...
Но пискнет где-то мышь-проньера
и вниз со страшной силой ух!
вот это зоркость! это слух!
вот это клюв из под усов!
у сов

(почему я)

Один кричит – поедem в Гродно!
Другой – да нет, в отель Савой!
Но лишь со мною где угодно
Ты сможешь быть самой совой

(ночная птица)

обычно днём я вял и неприметен
но, дамы, так обманчива личина!
и то, что стал я вдруг героем сплетен
тому есть очень веская причина

я столько птичек ночью разлохматил!
в ход шли и хвост, и мышца носовая
нет дамы, вы не правы, я не дятел
я чудо в перьях, верно – но сова я

(словослав)

Любое слово – праздничный пирог
В нем минимум четыре сладких слоя
И как вставлять сигналы между строк
Давным давно освоил ремесло я:
И вот мы обсуждали разных птах -
Удодов уд и попу попугая
И то, и сё, и ты такая – ах!
И вдруг прижалась вся, меня пугая,
Внезапно оказалась без трусов
И вспыхнула, как маслом на поленья...
А я имел в виду покупку сов
Когда сказал тебе “совокупленья”

(ум птиц)

Я вам скажу как орнитолог
У птиц обычно ум не долгов
Возьми хоть сойку, хоть клеста

Не смогут сосчитать до ста
И с виду типа мудрый ворон
тупит. И осторожно – вор он.
И как вопрос бы ни был прост
А не ответит певчий дрозд....
Зато у сов есть много плюсов
И вот за это я люблю сов

(лес)

Пожилый богатый филин
был немного педофилен
и таскался по тусовкам
приставая к юным совкам.
Совки с ним летали в личку
за мышей и за наличку.
И Совбез в их жизнь не лез –
потому что это лес.

(голосование)

как то стать певцом попсовым
захотелось соловью
и в жури к особым совам
он пришел на интервью

выдал им такие трели,
пел и мурку и ту way...
совы грустно посмотрели
и сказали – “соловей,

от твоих балдеем фенек,
но вчера был козодой
голос дрянь, но дал нам денег,
так что быть ему звездой”

(жёлтая пресса)

корреспонденты всех каналов
радиостанций и журналов

мне микрофон в лицо совали –
“вы, извините, не сова ли?
наш зритель хочет знать о совах
любых подробностей джинсовых
любой фактуры пожирней
про сов чувих и сов парней
про грязный секс в семействе совых
где, как и на каких условиях
это случается? везде?
в дупле? в родительском гнезде?...”

я вот что им сказал за сов –
“вас надо в клетку, на засов”

(се ля ви)

Я охочусь, долетая
До Китая и Алтая
До Рязани и Тамбова
До Ужопинска любого
До Техаса и Дакоты
В Арканзас и Иллинойс
И всё время далеко ты
И всё время не со мной-с
Что поделать, се ля ви...
Но нельзя же без любви
И для радостей совместных
нанимаю я сов местных

(дозор)

обрыдли ваши котики
трясёт от ваших псов
хочу изящной готики
хочу волшебных сов
они дозоры божии
они готовят Суд
не обслюнявят рожи и
в ботинок не нассут

глазами-объективами
фиксируют расклад
не злыми и не льстивыми –
пускай за мной следят
а я умом и обликом
не буду размазня
и слово там, за Облаком
замолвят за меня

(любовь зла)

не отрвать сову от филина
хоть у него одна извилина
не жди умения от сов
совятам выбирать отцов

(риСОВАние)

Художник русский Васнецов
Сидит, бывало, дразнит сов

Мечтает сеновал с овином
Нарисовать пером совиным...

Дали видали, усача?
Он рисовал пером сыча
и ясно, что его величье –
отчасти птичье.

(детская косметика)

мы смешали сопли, слюни
с ложкой птичьего дерьма –
получились и шампуни
и присыпки и крема

испытали на младенцах
те смеются и сопят
обосрались в полотенцах
и глаза как у совят

(сплин)

сова лежала на софе
и всё не нравилось сове
ни мир, ни смысл жизни совьей
ни те, кто предлагал любовь ей
и всё, что хочешь, в клюве...
но
спасало белое вино

(ночная работа)

Вот повезло же им сычам
Спокойно дрыхнут по ночам
сожрав сосиски выпив виски
И на сову сваливши риски

И Даже иностранный босс
Сказал с акцентом, но всерьёз:
– “ви, сыч, тер’яли сов’есть,
она в Россия лишь у сов есть”

(сомнения)

Дамы любят красивых кумиров
И жуиров и бонвиванов
Обаятельных ричадов гиров
Или ургантов скажем иванов

Я ж похож и на Дэнни де Вито
и на Крамарова Савелия
Просто праздник для антисемита...
Вот такой вот нужен сове ли я?

(цейтнот)

Сов снимают на лету.
Мы к примеру знали ту,
что поставила рекорд -

без заправки и накрутки,
как крутой военный борт,
не присев, летала сутки.
Филин, лапочка и мурз
Лег на параллельный курс
быстро килем к ней пристроясь,
взял своё, налив бокал...
Но потом заела совесть,
что от дела отвлекал

(полет)

Сова летела самолётом.
– пилоты, мать вашу, аллэ там!
кто так ложится на крыло?
ослепли, а?мозги свело?
и при заходе на посадку
впишитесь правильно в глиссадку...
Да, я эксперт, блядь, я сова
А вы? вы курицы едва...
Не налетали вы часов
И четверть от нормальных сов!

Но приземлились в заданный квадрат...
И гляньте, филин то как рад!

(подружки)

Тяжело сове с овечкой
То зайдет баран со свечкой
То вальяжно сексапилен
Подлетит к окошку филин
То заскочит вдруг Бианки –
Типа что вы, лесбиянки?
Очень нелегко подругам
В это мире неупругом
Не попить спокойно чаю...

Вот и я им докучаю.

(идиллия)

Я из верхнего регистра
джентльмен и эзотерик
добр и устаю не быстро
от скандалов и истерик
и красив и не юродив
об меня не бьётся ваза
почему ж все птички против?

хорошо что хоть сова за

(конфликт)

не ждите пенья от совы
как от Георга Отса вы
она совсем другой системы
все что приносим на хвосте мы
её не видит зоркий глаз
она вообще не видит нас...

и не пойдет Сова на роли
что жизнь писала для сорок...

так, например, Сованароле
нельзя ни секс ни драгс ни рок

(финал)

Еще вчера мы были совами
под небесами невесомыми
парили, дружно хохоча
но что то я недоучёл
не то красавчика сыча
не то жужжанье диких пчёл
не то Тельца и Близнецов...
а только больше нет сов

Ханох Дашевский

Переводы с иврита

Иммануил Франсис (1630-1700)

ХАНА И НАОМИ

Когда в лучах зари сияет Хана,
Когда Наоми вижу в час заката, –
Душа моя то пламенем объята,
То кровью истекает, будто рана!

Душа и плоть в разладе постоянно:
Расстаться с Ханой – горькая утрата.
А страсть к Наоми – путь, где нет возврата,
Ибо не вырвать сердце из капкана!

И так же, как наждачный камень точит
Железный лемех, искры высекая,
Так страсть одна, с другой сойдясь, клокочет.

Суди же, Бог, меня: или влагая
Второе сердце в грудь, где боль рокошет, –
Или одно на части разбивая!

Исаак Луццатто (1730-1803)

УЖ ЛУЧШЕ СМЕРТЬ

Уж лучше смерть и вечная разлука,
Чем жить в оковах, по тебе страдая!

Звезда восхода! В сердце боль без края,
И бледность черт моих тому порука.

Уж лучше гибель, ибо страсти мука
В моей гнездится плоти, дух терзая.
Не жду пощады, об одном мечтая:
В тиши лежать, без мысли и без звука.

Чем, скорбный путь пройдя до половины,
Перед твоим напрасно вянуть ликом,
Уж лучше сразу встретить день кончины.

Ибо очаг без дров золою тлеет,
Лев, дичь не чуя, лес не будит рыком,
И без дождя речной поток мелеет.

Меир Галеви Леттерис(1800-1871)

ДОЧЬ ИУДЕИ

Полна её поступь величья и стати,
Над нею луна своё сеет мерцанье;
В глазах её звёздные сходятся рати,
И ночи и дня в них царит сочетание.
А лику её не нужны украшения –
Не гаснет в нём свет семикратный Творенья.

И пусть её образ окутан печалью,
Её красота и во мраке сверкает:
Коса развеивается чёрною шалью,
И скрытое пламя сердца обжигает.
Блаженство несёт она каждому взгляду,
И каждому встречному – мир и отраду!

Нет равных зеницам её голубиным.
Светла она в грусти своей молчаливой.
Уста её крашены алым кармином,
И пальме подобна она горделивой.

Не могут смутить её душу пороки –
В душе этой вечного счастья истоки!

Менахем Мендл Долицкий (1856-1931)

К ШУЛАМИТ

Как Божья свеча – солнца луч безмятежный –
Сияет твой взор непорочный.
Как отблеск серебряный россыпи снежной,
Лицо твоё в час полуночный.

Как капли росы на соцветиях розы,
Глаза твои в свете зарницы.
И грусти ночной золотистые слёзы
Наводит луна на ресницы.

Как слава Сиона весь край наш родимый,
Так страсть грудь твою наполняет.
Там властвуют чары, там прелесть любимой
И сердце и душу пленяет.

Идём же со мной, Шуламит дорогая,
И будешь, в стране наших грёз расцветая,
Цветов её дивных чудесней.
И там, среди лилий долин, моё счастье,
Забудешь печаль, как весною ненастье,
И песней звучать станешь, песней!

Мордехай Цви Мане (1859-1886)

РОЗА

Как блещешь ты, роза, весенней красой!
Полны твои вены рубином багряным.
То плачешь, сверкая вечерней росой,
То взором сияющим льнёшь к моим ранам.

Цвет белый, цвет жёлтый – всю гамму цветенья
Ты в завязи прячешь, и ждёшь, что природа,
Тебе аромат подарив от рожденья,
Добавит к нему запах дикого мёда.

И с тихим жужжаньем пчела золотая
Украсить тебя блеском крыльев стремится.
Пьёт сладкий твой сок, над тобою витая,
И ты оживаешь, вспорхнув словно птица.

Хаим Нахман Бялик (1873-1934)

СЛЕЗА

Не согнуть слезе моей тяжкой – мы с нею
Всегда неразлучны. Слезу ту скрываю
Я в недрах души и храню, и лелею,
И в муках рожденья из глаз изливаю.

Один я, один этой ночью бессонной,
К их чёрствым сердцам со словами укора;
Страдаю от боли, шепчу иступлённо:
«Народ погибающий, племя позора...»

И дни и недели слезу очищая,
Скоблю её в сердце до слоя седьмого;
И высохшим сердце моё оставляя,
Слеза вместо крови пролиться готова.

И эту слезу исторгаю я в муке,
Увидев весь срам глухоты их постылой:
Проклятие вам, ибо есть у вас руки,
И можете с горем померяться силой!

Верны мои слёзы, сам Бог это знает:
Весь сгусток страдания те слёзы вместили;
И с каждой слезой, что из глаз вытекает,
Частицу души хороню я в могиле.

Но есть у меня и слеза роковая,
Зачатая гневом, рождённая в боли;
Не спит и не дремлет она, разрывая
Отчаяньем душу: «Где помощь?! Доколе?!»

Как гной на костях, в моём прячется теле,
Как тайный мой грех, не даёт мне покоя;
Смущает мой день, гонит сон от постели,
Как смертная тень – всюду рядом со мною.

И всё же я верю: пророк ещё встанет!
Он землю слезою великой омоет.
И громом рыданье небесное грянет,
И мир содрогнётся, и в ужасе вззоет!

Шаул Черниковский (1875-1943)

ДОЧЬ РАББИ

Гуляет казацкое войско – погром
Для города Дубно не внове;
Нагрянули тучей, прошли, словно гром,
Походные торбы набили добром –
Пьяны от вина и от крови.
«Эй, крали!» – зовут – «Подходите! Сейчас
В шелка разоденем заморские вас!»

С добычей богатой ещё со вчера
Телеги стоят на майдане.
Атлас там и бархат, а рядом гора
Субботних подсвечников из серебра,
И жемчуг и яркие ткани.
Там гогот весёлый царит над толпой,
Но где атаман, атаман молодой?

Сегодня ему не добыча нужна,
Не брага, не пьяные речи,
Но брови, как бархат, но очи без дна,

Атласные груди, лица белизна,
И нежные девичьи плечи.
Хмельнее, чем сладкие вина,
Уста этой дочки раввина.

Она в своей комнате, страх затая,
Глядит на кафтан атамана:
«К тебе прикипел я, красotka моя,
С той самой поры, как холопом был я
В имении здешнего пана!
Я мчался сюда, не жалея коней,
Чтоб стала ты, краля, женою моей!

Не зря пощадил я твою красоту!
Вон там, на пригорке, над гаем,
Лишь губы твои прикоснутся к кресту,
Наброшу тебе я на косы фату,
И свадьбу с тобою сыграем!
Наденешь шелка, золотую парчу,
Сто шаферов будут! Мне всё по плечу!»

«Казак! Твоя сабля меня не страшит!
Всегда, если буду с тобою,
Убитую мать мне напомнит твой вид,
Напомнит отца мне, который лежит
С пробитой насквозь головою.
Не жди, что в одеждах пройду золотых
По трупам растерзанных братьев моих!» —

«Ну что же, как знаешь!» — И парень встаёт,
Стремительно к девушке прянув:
Подумай ещё! Мы уходим в поход
На Умань — туда польский гетман ведёт
Стреляющих метко уланов.
И если не встретится пуля со мной,
Клянусь тебе: станешь моею женой!» —

«Коль так, то смелее садись на коня,
И мчись, изготовившись к бою.

От пуль заклинание есть у меня,
Хочу, чтобы жизнь твою в битве храня,
Всегда оно было с тобою.
Смеёшься? Не веришь? Попробуй! Узнай!
Прицелься в меня и не бойся! Стреляй!»

И вытащил он пистолет свой, огнём
Готовый разить...Серебрится
Его рукоять, пуля верная в нём –
И встала дочь рабби в проёме дверном:
«К мезузе хочу прислониться!»
И выстрел и грохот – наверно, рука
Скользнула нечаянно у казака...

Её на постель положил атаман,
И, глядя на мёртвое тело,
Подумал: «Что было здесь? Чары? Дурман?
Она говорила, что есть талисман,
Но, видно, лишь смерти хотела» –
И слёз не скрывая, шагнул за порог:
«Жидовка шальная! Прости её, Бог!»

Ури Цви Гринберг (1896-1981)

Домой в Модииин

Отведи меня, друг мой, домой, в Модииин,
и рабом не считай: я из тех иудеев,
что когда-то в изгнание отсюда ушли,
и ушла вместе с ними Тора Маккавеев.

Не смотри на меня, удивляясь, что я,
как пришелец одет, не как сын Модииина;
в жизни я не привык сторониться огня,
и не жду снисхождения врага-господина.

Мои братья забыли, что есть Модииин,
потому свет Небес не сияет над ними;

жар восстанья великий бояться разжечь:
ведь тогда возгорится бессмертное Имя.

Отведи меня, друг мой, скорей в Модииин:
может, старый очаг ещё теплится в доме;
верю в день Никанора в Аравии я,
и надеюсь на день Никанора в Эдоме.

Неужели один я остался с тех пор,
и наставников пламенных нет в Модииине?
Где лежит освящённый восстанием меч?
Не схоронен ли он вместе с прахом Святыни?

Нет меча? И пророческих Светочей нет?
Недруг снёс Модииин, память предков развеяв?
И остались лишь узкие тропы в горах,
по которым я шёл в бейт-мидраш Маккавеев?

Где та кузня, в которой ковали мечи,
и священный огонь раздували мехами?
Лишь рубашка, как в том Модииине, на мне:
потому-то и жжёт до сих пор его пламя.

Не оставили меч?! Разве их погребли
не с мечами, щиты прислонив к изголовью,
в бело-синих талитах, на грудь возложив
свиток огненный – свиток, пропитанный кровью?!

Отведи меня, друг мой, домой, в Модииин:
камни я поцелую и кладбище львиных
богатырских останков сумею узнать
по размаху над ним быстрых крыл ястребиных.

Распластаемся, друг, и руками копать
на руинах мы станем с утра до заката,
и скелеты героев откроются нам,
и в сиянии солнечном – отблеск булата!

Игорь Губерман

ЗАМЕТКИ ВДОЛЬ ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ

(Отрывки из книги)

Арабески

Не правда ли – довольно наглое название главы? Я помню, что такое именно было у Гоголя. Но дело в том, что арабески (Интернет мне объяснил вполне подробно) – это такой орнамент, для которого годятся буквы, цифры, закорюки любой конфигурации, листья, травы и цветы – всё, что угодно, чтоб орнамент был сплошным на ткани, вышивке ковра или бумаге. Если бы я этого не знал, то главку из моих несвязных заметок поименовал гораздо проще – например «Клочки и обрывки», но такое название где-то уже было у меня. Тем более Интернет пояснил мне, что арабески – это ещё и собрание мелких произведений, нанизанных на одну тончайшую нить – личность автора. Правда, было в этом пояснении одно слово, заставившее меня тяжело и грустно задуматься: речь шла о произведениях художественных, то есть никак не относящихся к моим житейским почеркушкам. Ну и пускай, подумал я, уж больно выглядит красиво это слово, наглость – второе счастье.

Итак – арабески.

Почему-то этот вечерний эпизод врезался мне в память глубже всех впечатлений от недавних гастролей по Америке. От Лос-Анджелеса и Сан-Франциско мы доехали до Бостона и Нью-Йорка, прихватив по пути ещё несколько городов. А запомнился накрепко всего один вечер, уже по окончании гастролей. Вот представьте себе: день Колумба, день открытия Америки. Это в октябре, числа не помню. Где-то флаги, фейерверки, иллюминация и прочий ри-

туал. А в городе Вавилоне (есть такой невядалеке от Нью-Йорка) сидят на закате дня два пожилых еврея и неторопливо обсуждают сравнительные качества водки, настоящей на хрене, растущем в огороде хозяина дома. Разумеется, усиленно дегустируя эту дивную жидкость. А закусывая – малиной, густо кустящейся вдоль забора. И настолько ошутимый душевный покой клубится над этим мудрым занятием, что посреди вселенской суеты нельзя не оценить такой оазис. И Вавилонский плен упоминался в разговоре, и сомнительная национальность Колумба (с понтом – итальянец, но мы-то знаем), пир души и именины сердца совершались одновременно и умиротворённо. Мог ли я такое не запомнить?

Всё время об одном я думаю с недавних пор – особенно когда стихи кропаю, огорчаясь к вечеру, если ничего не накарябал. Зачем я это делаю с таким усердием? Порой со страстью даже. Огромный в Интернете есть отдел, он специально для стихов, и кто ни попадя там может поместить свои бессмертные творения. Полмиллиона авторов (я округляю, их намного больше) там уже давно гнезятся. Наваяли они тридцать миллионов виршей (представляете себе это количество?) и рьяно продолжают свой бессмысленный и упоённый труд. Зачем я затесался в эту безумную толпу счастливцев? Ужели настолько властен надо мной грех стихоложества? А задав себе такой вопрос, нельзя не выпить и не вспомнить вечер в Вавилоне.

Случаются и неожиданные радости. Вот, например, старшая моя внучка, доблестно отслужив в армии два года, в самом конце своего патриотического срока угодила в настоящую военную тюрьму. На двадцать дней. Она с однополчанами обоих полов то ли вечером немного выпила, а то ли накурилась, но вошла в кураж и позвонила домой какому-то офицеру (телефон его откуда-то имелся). Когда тебе довольно поздним вечером звонят твои солдаты и говорят, какой ты сукин сын и вообще скотина, не любимая никем, то глупо утром не доложить об этом начальству. Внучка моя никого, естественно, не выдала, вину взяла исключительно на себя и получила срок. Но это же израильская армия: ей тут же было предоставлено свидание с матерью, чтоб та везла в тюрьму продукты повкуснее, сигареты и какое-нибудь назидание. Внучка сидела весёлая и счастливая – увидев мать, она восторженно сказала: «Мама, я теперь как дедушка!» И старый зэк, узнав об этом, стыдно прослезился.

А вот лежит передо мной аккуратно вырезанный кусок из какой-то американской русскоязычной газеты (им нет числа на континенте). Статейка называется «Вуди Аллен зарабатывает деньги игрой на кларнете». Дальше – текст об этом знаменитом кинорежиссёре, а фотография под заголовком – вашего покорного слуги во время завывания стишков. Пустяк, однако же забавно и смешно.

Порой меня вдруг тянет философствовать. Но я тогда поем и засыпаю. Только это ведь блаженство на всего лишь час, потом проснёшься, и опять охота что-нибудь зарифмовать. И снова вспоминаешь Вавилон и ту прекрасную отключку от реальности.

На пьянках дружеских – особенно на тех, что удались, и постигает нас хмельное чувство единения – мы поём нестройным хором махровые советские песни. «Майскими короткими ночами», «Дан приказ ему на запад», «Шёл отряд по берегу», «Вышел в степь донецкую парень молодой», и даже – «Артиллеристы, Сталин дал приказ». Отчего мы поём именно их чаще, чем, например, Окужаву? Да, это песни нашей молодости, да – многие из них хороши, но только мы ведь их поём с неким душевным подмигиванием. Себе самим и часто – собутыльникам. Как будто мы слегка смеёмся над собой, что поём именно это. Что за усада вышедших на волю рабов и холопов? Я никак не могу опознать и сформулировать это странное чувство. Не сродни ли оно тому успеху, с которым продаются нынче бюсты Сталина, Ленина, Дзержинского? И не оно ли побуждает множество рестораторов к интерьеру своих заведений в советском духе, с дизайном из портретов бывших вождей, плакатов и самых разнообразных вещей того времени – от старых радиоприёмников до пионерского горна и дряхлого утюга? Во многих, очень многих городах бывал я в таких кормёжных залах – даже с тюремными решётками и тусклой камерной лампочкой под потолком. А вот совсем недавно в городе Твери сидел я с парой старых друзей в кафе «Калинин» (город ведь долго носил имя этого убогого и наверняка несчастного старичка, который вытерпел молчком даже посадку в лагерь собственной жены). И всё тут было оформлено в духе той испарившейся эпохи: и огромный портрет маслом всесоюзного старосты, и разные бытовые вещи той поры, и даже большая мраморная доска со здания областного КГБ (за немалые, должно быть, деньги выкупили её владельцы этого кафе). Но более всего умилило меня меню. Там, например,

значился «Лангет «Офицерский»», а чуть ниже следовало пояснение: «Блюдо из меню закрытой спецстоловой на Арбате для «суточных» сотрудников «наружки» МУРа в 40-е годы». Тебе, читатель в возрасте, не надо растолковывать суть этого лакомого пояснения. И та же самая душевная усмешка чувствуется здесь, уже в целях разумных и коммерческих.

Меня всегда очень интересовала психиатрия, и в одной из научно-популярных книг я много писал об изучении нашего чёрного ящика. И были у меня знакомые врачи, поэтому с больными я тоже разговаривал, вникая в содержание их бреда. Потом пошли другие увлечения, другие книги, как-то охладел мой интерес к патологическим извивам нашего мышления. Но вот недавно услышал я бред неимоверного масштаба, и хотя свихнувшиеся люди часто мыслят (если тут годится это слово) на мировом, а то и вселенском уровне, но услышанное мной было поразительно глобально. Вот, судите сами, я подробно и старательно записывал.

Мировой еврейский заговор ни разу не был упомянут, говорилось просто – «евреи», только с очевидностью в виду имелся некий тайный комитет – сионских, очевидно, мудрецов. Всесильный и всемирно влиятельный. Так вот эти евреи пришли к выводу о ненадёжности Израиля. Где-то в середине монолога промелькнули страшные слова о том, что евреи уже сожгли шесть миллионов «своих сородичей, чтобы получить государство» (!), но оно оказалось в слишком большой опасности среди чудовищного арабского окружения. И поэтому теперь новым местом поселения всех евреев планеты выбрана была Россия. Для начала евреи разрушили Советский Союз, чтобы отсечь все опасные республики – азиатские с их мусульманством, Кавказ и Прибалтику. На уютное пространство от Перми до Петербурга решено было переселить всех евреев мира. А для этого всю Европу принялись наводнять арабами (Германию – турками), чтобы евреи испугались и огромной массой двинулись в Россию. Тем более что в Европарламенте уже давно евреев – большинство. Нет, Америка для этой цели не годилась, несмотря на всю привлекательность тамошней жизни. Ибо упущена возможность: там уже слишком много негров, которые фактически владеют страной, а также большой избыток прочего пришлого народа. В том числе – латиноамериканцев, которые уже полностью захватили южные штаты. А евреев американских надо запугать мировым террором, который и устроили сами евреи.

Кроме того, они готовят дикую войну Индии с Пакистаном, чтобы в мире стало меньше мусульман. И вообще они готовят четвёртую мировую войну (что представляла собой третья, которой ещё не было, больной умолчал). Кроме того, они натравили Америку на азиатские страны – с той же целью ослабления ислама.

А в России уже тщательно готовится площадка – знаете ли вы, почему посадили Ходорковского? Нет, не за то совсем, что якобы он украл какие-то деньги («другие украли больше»). А за то, что он начал осуществлять этот еврейский план. Простейшим образом: дав каждому депутату Государственной думы по миллиону долларов, он подговорит их на объявление референдума. И снова деньги всем участникам, и его избирают президентом. Готов последний причал для евреев всего мира! Приедет миллионов пятнадцать, с полукровками наберётся тридцать, вот и готова новая страна, где править будут исключительно евреи. И россиянам тоже будет хорошо, поскольку сплав еврейского и русского интеллекта – страшная сила.

На этом выдохся больной, сникли его пафос и активная жестикуляция. Пора теперь сказать, хотя наверняка уже читатель догадался, что нёс эти бредовые слова вице-спикер российской Государственной думы полукровка Владимир Вольфович Жириновский. И никаких не надо комментариев, по-моему.

Не перечислить злоключения, выпавшие на долю надгробных плит с еврейских кладбищ. Плитами этими мостили дороги, укрепляли берега норовистых рек, употребляли в разных бытовых постройках. Одна история, услышанная мной, меня и вовсе поразила. На концерте в городе Ариэль подошёл ко мне в антракте пожилой еврей и застенчиво спросил, известно ли мне, что в Одессе на здании Комитета государственной безопасности значится шестиконечная звезда. Нет, это не было мне известно, хотя всё могло случиться в Одессе. И услышал я нечто уникальное. Самуил Форшайт («Вы легко запомните мою фамилию – вы ведь читали «Сагу о Форсайтах»»?) был главным инженером какого-то строительного треста. (Или не главным, но строительного.) И однажды вызвал его начальник треста, объявив, что срочно, за девять месяцев всего, ему, Форшайту, надлежит устроить реконструкцию Театра оперы (возможно, оперетты, с памятью неважно у меня, а разговор наш протекал в антракте). Это был конец семидесятых годов, и спорить о сроках не приходилось.

– Но где я возьму белый и чёрный мрамор? – в ужасе спросил Форшайт, зная, как никто, о дефиците всяких и любых материалов.

– Самуил, ты достанешь, – успокоил его начальник.

И действительно, белый мрамор опытный Самуил достал довольно быстро, а вот с чёрным была полная беда. Инженер-добытчик даже смотался куда-то за тридевять земель к приятелю, который был по этой части. Тот угостил его отменной выпивкой с закуской, но бессильно развёл руками в ответ на просьбу о чёрном мраморе. И Форшайт ни с чем вернулся в Одессу. Сроки поджимали неуклонно. А вдобавок приключилась новая беда: в город приехал из самой Москвы какой-то генерал госбезопасности, который дико возмутился, что на здании, известном всей Одессе, нет большой и гордой доски с обозначением его родного distinguished учреждения. И некий крупный местный чекист явился в трест, потребовав немедленно (немедленно!) установить такую доску. Разумеется – из чёрного мрамора. Начальник треста, побледнев изрядно, вызвал своего главного инженера, и Форшайт опять бессмысленно спросил, где он возьмёт чёрный мрамор.

– Ты найдёшь! – грозно ободрил его крупный чекист.

Положение становилось критическим, поскольку срок был – до отбытия генерала. Кто-то надоумил Форшайта сходить на некий склад, где горами хранились могильные плиты и стелы с недавно разорённого старинного еврейского кладбища (варварское это хамство и надругательство совершено было в Одессе в семьдесят шестом, по-моему, году, теперь там хилая берёзовая роща). И тут же вся проблема разрешилась.

– Возьми могильную плиту, – великодушно объяснил начальник склада, – распили её на тонкие пластины, вот и вся поебень.

Надгробная плита из отменного чёрного мрамора нашлась немедленно, а так как поручение чекиста было главным, то первая же полоса – с лицевой стороны плиты – стала висеть на этом зловещем здании. Было аккуратно выбито на ней высокое название конторы, а на изнанке, тесно к зданию прижавшись, значилась шестиконечная звезда. А мне-то, пока я слушал эту забавную историю, печальная мыслишка в голову пришла: ведь там ещё остались имя и фамилия того еврея-бедолаги, что посмертно стал привинчен-приколочен к подлому и страшному учреждению.

В ранней, совсем ранней юности нас порой захлёстывает вдруг волна необузданного, невнятного счастья – уверен, что это помнится многим. Хочется петь, подпрыгивать, плясать, что-то выкрикивать, бежать в любом направлении. Это же, кстати, свойственно и юным животным. Вечером мы с женой выходим погулять на небольшую, уже безлюдную в это время площадь – по ней носится, разве что не кувыряясь, маленький котёнок – большое удовольствие смотреть на этот комок радости от своего существования. Так вот я, человек весьма уже охлаждённого возраста, недавно испытал это забытое счастье, да притом по совершенно мизерной причине. Мы с женой летели в Симферополь на какой-то ежегодный съезд (слёт, конференцию?) библиотекарей, куда меня позвали почитать при случае стишки. В московском аэропорту, сдав уже чемоданы (там, естественно, хранилась у меня бутылка виски), проходили мы контроль по досмотру вещей, которые ручная кладь. А там неосторожно положил я ещё одну литровую бутылку – на целую неделю ехали, не бегать же по магазинам в городе Судак. К тому же я и в самолёте собирался чуточку хлебнуть, чтобы не думать о несовершенстве нынешних летающих конструкций. И вдруг девушка, сидевшая у проверочного экрана, сказала, что в дорожной сумке у меня бутылка, а это запрещено.

– Она же запечатана, – взмолился я, – я только что её купил!

– Или бросайте её в ту вон мусорную корзину, или вернитесь и сдайте её в багаж, – холодно объяснила мне эта юная садистка.

– Может быть, я попрошу начальницу вашей смены?

– Это, – сказала долговязая девица, стоявшая сбоку, – запрещено, вы что, не слышали? В корзину или возвращайтесь.

Очередь за мной уже издавала какие-то неприязненные звуки. Я обречённо и понуро полёз в сумку и обнаружил там вторую, пластмассовую бутылку с водой. Чуть руку задержав – девицы обратились к конвейеру, где полз уже очередной багаж – и что-то возмущённо бормоча, я выбросил бутылку с водой.

– Теперь идите, – холодно сказала главная девица.

И я пошёл. Что со мной было! Клокотало что-то радостное, распирало меня счастье несусветное, хотелось петь, подпрыгивать и что-нибудь выкрикивать – выше я всё это перечислил. Только в самолёте я слегка остыл и чуть отпил из чудом упасённого сосуда. А как же я был горд собой! И всё из-за такой вот мелочи. «Нет, загадочные мы натуры», – подумал я и отхлебнул ещё немного.

В любых воспоминаниях (особенно старческих) не только полезно – просто необходимо упоминать какие-нибудь веские фигуры – для повышения собственной значимости в этой жизни, где всем на всех наплевать, но какие-то личности вдруг возбуждают читателя и освежают повествование. Вы их даже можете не знать, но лёгкого намёка на причастность тоже вполне достаточно. А уж если довелось поговорить! Вот мне недавно позвонил некий знаменитый классик советской поэзии. С места мне не сойти, если вру. Было уже около двенадцати ночи. Только что закончился американский боевик, я уже выпил свою вечернюю порцию виски, мы собирались идти спать. Так поздно нам уже давно никто не звонил.

– Можно ли попросить Игоря Губермана? – вежливый незнакомый голос.

– Это я, – ответил я неприветливо, – а вы кто будете?

– Это Женя, – с некоторым кокетством ответил голос, явно не собираясь извиняться за столь поздний звонок.

– Жень до хуя, – сказал я ему, – а вы кто?

– О! – обрадовался голос. – Значит, я правильно попал. Это Евгений Евтушенко.

– Здравствуйте, Евгений Александрович, – вежливо ответил я, тщательно соблюдая иерархию. – Слушаю вас внимательно.

Оказалось, что Евтушенко писал обо мне статью, и по его замыслу мне следовало что-то к ней дописать. Я категорически отказался участвовать в этом лестном проекте. А статья появилась вскоре (кажется, в «Известиях», лень уточнять), и называлась она очень примечательно: «Поэт, который себя недооценивает». У меня когда-то был стишок, которого я несколько стеснялся – его идея мной была украдена у Ницше. Ни одну из книг философа я никогда не мог осилить до конца, уж очень становилось скучно и малопонятно, а идею прочитал где-то в виде цитаты (очевидно), и она запала в память. Так что кража моя была не слишком осознанной, что меня ничуть не извиняет. А нехитрая идея состояла в том, что если человек заглядывает в бездну, то она в него заглядывает тоже. Кто-то мне однажды пояснил, что это Ницше. Ну и ладно, я неоднократно черпал воду из чужих колодцев. Но автор похвальной статьи обо мне усмотрел в этом стишке нечто тючевское («пахнуло Тютчевым» – так он, кажется, написал, о краже не ведая), в силу чего предположил, что я во всех своих житейских странствиях возил с собой заветный томик этого высокого поэта.

Я, кстати, ценю его не слишком, мой любимый – Заболоцкий. А статью эту мне кто-то переслал, и я над ней похмыкал благодарно, так что Евтушенко нынче смело упоминаю в качестве участника своей вялотекущей литературной жизни.

Столица Казахстана город Астана – это не город, а прекрасное явление. Посреди безразмерной голой степи, на месте крохотного Акмолинска, ставшего потом убогим Целиноградом, – яркое и впечатляющее чудо возможностей современной архитектуры. Огромные и красивые невероятно здания из цветного стекла (сталь и бетон в них почти незаметны), роскошные зелёные парки с экзотическими деревьями и кустами, гигантский шатёр торгово-развлекательного центра и много прочих прихотей и капризов строительного воображения. Это всё планировал какой-то знаменитый японский архитектор и его французские и английские коллеги. А широченные проспекты! Словом, очень видно и понятно, как можно с толком распорядиться доходами от полезных ископаемых. И лучше про российские дела тут хоть на время позабыть. Не зря посольства чуть ли не восьмидесяти государств кучкуются тут, суля стране большое будущее. А ещё отсюда ездили учиться в лучших университетах Запада – восемь тысяч одарённых молодых людей. За счёт государства. И все они вернулись, вот что главное! Ну, кроме нескольких девиц, которые там вышли замуж. Утоляя моё естественное удивление, мне объяснили некое условие: если бы кто-то не вернулся, то все расходы на его поездку и учёбу были бы востребованы с родни, так что проявленный этой молодёжью патриотизм имел достаточную подстраховку. Только всё равно ведь убедительное это было мероприятие, честь и хвала мудрости президента. А в центре города – невысокое здание, зовут его все – Дом президента, хотя как-то иначе оно называется. Там помещается музей подарков президенту (громадная коллекция), там залы для различных конференций-заседаний, всякие научно-просветительские кабинеты. И вот на паперти этого храма государственности я стоял не меньше часа, занимаясь интересным делом: извинялся перед теми, кто пришёл на мой концерт. Накануне оказалось, что назначенная дата пришлась на Йом Кипур – самый высокий наш тревожный праздник, день, когда на небе где-то решалась судьба каждого еврея – жить ли ему следующий год. Мы как-то не подумали об этом вовремя, теперь о невозможности концерта в этот день напомнил мне посол Израиля.

Вот я стоял, сам вызвавшись на такое занимательное мероприятие, и извинялся, приглашая всех пришедших на завтра в то же время. И никто не сокрушался и не возмущался, обещали завтра снова прибраться (сдержали слово), только просили сделать фотографию на память. Так что эта извинительная акция превратилась в фотосессию, что мне было забавно и приятно. А назавтра всё было прекрасно. Потому ещё, что появилось много местных молодых поэтов. Ещё не поселилось в них пренебрежение ко всем своим коллегам, были они дивно восприимчивые слушатели.

Но только это ведь – всего лишь предисловие. Моё давнишнее душевное устройство так зациклено на горестном прошлом, что всюду я интересуюсь лагерной историей тех городов, где мне доводится бывать.

Совсем недалеко от Астаны – место, где располагался некогда печально знаменитый женский лагерь – АЛЖИР (Акмолинский лагерь жён изменников родины). Средневековая – нет, скорее, древняя – жестокая замашка карать и родственников тех, кто уже каре подвергся, не могла миновать разум усатого палача народов. Отсюда и лагерь жён. Узнав, что там построен некий музей-мемориал в память этих несчастных женщин, я попросил меня туда отвезти. Очень достойный построили казахи мемориал. И даже величественный по размаху. Как осуждали этих женщин, приведу лишь один пример (списано с одного из настенных экспонатов). Некая Славина Эсфирь Исааковна, педагог из города Слуцка. Выписка из приговора: «Достаточно изобличается в том, что была женой врага народа Славина И. Б.». И срок огромный. Я не случайно выбрал несомненную еврейку, их тут было жуткое количество. Здесь было русских жён немного более четырёх тысяч, а на втором месте – восемьсот пятьдесят еврейских. Представительницы остальных народов империи (кроме украинок) несоизмеримо отставали по количеству. Не стану комментировать приведённые цифры, хоть они и повод для раздумий. Всего этих несчастных было шесть тысяч с небольшим. Это в степи с невыносимым летним жаром и дикими зимними морозами с ветром.

Но я хочу пересказать одну прекрасную историю, услышанную мной в этом музее (даже в стихах она изложена на одном из экспонатов, но так оно и было в реальности). Как-то зимой большую группу эзчек погнали на замёрзшее озеро рубить камыш. Не знаю, для каких конкретных нужд лагерного хозяйства. На открытом про-

странстве, где сливаются мороз и ветер, это было адским наказанием. А между тем на берегу, не выступая из-за линии кустов, явились вдруг два старика-казаха в тёплых национальных халатах, обильно расшитых золотой тесьмой, явно почтенные аксакалы. Они недолго постояли, наблюдая, а потом исчезли. Им на смену через час пришли женщины в сопровождении подростков. И мальчишки принялись бросать в эзек камни. Эти камни подавали им женщины. А женщины, рубившие камыш, все, как одна, принялись плакать от этого неожиданного унижения. Пока одна из эзек, споткнувшись о брошенный камень, не обнаружила, что это замороженное молоко. Тут все они принялись подбирать эти камни, снова навзрыд рыдая – но уже от благодарного потрясения. Охрана не мешала, как бы ничего не замечая.

Под впечатлением услышанного я и покидал музей. Благословенна будь страна, которая хотя бы строит мемориалы!

Внук одного моего коллеги долго приставал к своей бабушке с просьбой назвать возраст. Никакие увещевания, что у женщины неприлично спрашивать о её возрасте, не помогали. Ну хотя бы скажи первую цифру, настаивал внук. Бабушка на пальцах показала цифру два (что было меньше трети истинной). Ну а теперь скажи вторую, канючил внук. Бабушка молча показала цифру восемь. Внук подумал, догадался и попросил: теперь скажи третью.

Тот несомненный факт (по-моему), что чувства добрые я лирой пробуждал, недавно замечательно подтвердился. На одном из выступлений (кажется, в Харькове) я среди кучи записок обнаружил запечатанный конверт. Открыл я его дома. Там лежала купюра в сто долларов и записка. Некий американский гражданин, по-домашнему назвавший себя Шмуликом (так что, очевидно, Самуил), сообщал мне, что семнадцать лет назад, будучи на гастролях, я в некоем американском городке (следовало название, но я уже не помнил это место) дал ему свою книжку – под обещание прислать за неё плату по почте. И вот сейчас (всего семнадцать лет прошло), снова сидя у меня на концерте, он вспомнил этот долг и с благодарностью его возвращает. Так как книжки мои всегда стоили в Америке всего лишь двадцать долларов, то душевная его подвижка была очень велика. Спасибо, Шмулик!

А ещё, кстати сказать, на том концерте получил я дивную записку: «Игорь Миронович, как часто вы меняете причёску (на голове)?»

Примерно год тому назад я получил по почте лист из тонкого картона, на котором сообщалось мне, что по опросам русскоязычного населения я удостоен звания «Человек года» в области культуры. Текст этот был заключён в чёрную рамку, отчего напоминал похоронные объявления, которые клеят на дома в нашем районе религиозные жители. Я хотел повесить его в сортире, где у меня на стенах торжествует культ личности – концертные афиши и лестные фотографии, но пока что прилепил его на дверь – в надежде, что какие-нибудь гости глянут и оценят по достоинству. Я целый год за ними наблюдал, но ни один не обратил внимания. Так что пора уже его перемещать на подобающее место. Впрочем, интересно тут совсем иное обстоятельство, тут интересно совпадение. Мне этот лист как раз в те редкие минуты принесли (они бывают у меня), когда я с элегической печалью думал, что уже я стар, а так ни разу не был удостоен никакой литературной премии – из тех престижных, за которые ещё и денежки дают. И в тот же миг насмешливо откликнулась судьба и горечь мою смыла без остатка.

В одном латвийском городе (я был там только что) администрация некогда вернула еврейской общине здание бывшей синагоги. И руководство общины тут же сдало это здание в аренду. Там возник-образовался большой городской рынок. А спустя лет десять представители общины заявили с просьбой выделить им под синагогу какой-нибудь подходящий дом. Но вам ведь уже давно вернули старое здание, удивилась администрация. Эко вспомнили, ответили евреи, нам нельзя молиться там, где торговали свининой.

Мне довелось недавно снова прокатиться по Америке наискок. С такой немыслимой гастрольной скоростью, что в памяти почти что ничего и не осталось. Разве что прекрасное и как бы новое ощущение, как много зелени в этой стране повсюду и как она ухожена везде. А в Сан-Франциско повезло со встречей – интересной, хотя скорее поучительной. Мне импресарио сказал, что тут меня разыскивает очень настоятельно какой-то человек, имеющий нечто сообщить. Я дал телефон своего товарища, у которого всегда останавливаюсь, и вскоре человек тот позвонил. Он мне сказал, что давно уже любит мои стихи, что водит он экскурсии и что меня – бесплатно совершенно – может хоть в Лос-Анджелес свозить, а если мне так далеко не хочется, то в разные винарни во-

круг города. Я благодарным голосом ему ответил, что я тронут очень, а насчёт поездки – хорошо бы завтра утром наскоро смотаться на блошинный рынок, это для меня большое удовольствие. И утром он за мной заехал – симпатичный, молодой и много знающий (что выяснилось позже). И немедленно мне опять сказал, что издавна мои стихи читает, очень помогают они жить ему, а вот одно четверостишие просто живёт в его душе и постоянно он его себе напоминает. Тут я, естественно, спросил, какое именно. И с чувством прочитал он мне стих Игоря Иртеньева.

Галоп по европам

Я всю эту поездку помню очень плохо (то ли чувствовал себя неважно, то ли старческий склероз – не поручусь), и лишь какие-то моменты в памяти запечатлелись. Так я в Праге постоял возле могилы Франца Кафки. За полчаса до этого на радио «Свобода» у меня спросили, отчего, на мой взгляд, в сегодняшней российской власти так много совершенно явных монстров. И не задумавшись ничуть, ответил я, что нынче у России очень острый монструальный цикл. Спыхватываюсь я гораздо позже, чем говорю. И вот, раздумывая о своей правоте, было как-то очень уместно покурить именно возле могилы Франца Кафки. А в Осло (мы переправлялись на пароме в Данию) поймал себя на пакостном злорадстве. Дня за три до поездки прочитал я в Интернете, что в столице Норвегии какая-то исламская организация потребовала отделить от государства один из центральных районов этой столицы – Грённланн, в изобилии населённый мусульманами. Сейчас, уже вернувшись и начав эту главу, я разыскал тот текст. Там изумительные по наглости слова (по всей Европе они скоро повторятся): «Оставьте Грённланн и дайте нам возможность управлять им по законам шариата. Мы не хотим жить рядом с грязными чудовищами вроде вас... Не вынуждайте нас делать то, чего ещё можно избежать...»

«Кошмар какой!» – подумал я, покуда переписывал, и вновь не избежал злорадства.

А что ещё я помню из этого странного, как будто стёршегося путешествия по Дании, Швеции и Чехии?

Полночи я не спал в симпатичном датском городе Орхусе. Я сперва горестно думал о своём несомненно старческом возрасте.

Мы с приятелем жили в семье двух учёных-физиологов. Когда-то они закончили Московский университет, а нынче работали в университете местном. Кстати, отец мужа приурочил свой прилёт из Тулы специально к этим дням, чтобы меня послушать – до Москвы из Тулы он никак не мог добраться. Он весьма польстил мне знанием множества моих стихов. Но я отвлёкся. А в вечернем разговоре обнаружилось, что в Москве преподавали этим физиологам (людям возраста уже скорее среднего) – ученики тех учёных, с которыми я общался, когда писал статьи и книги о науке. В ужас я пришёл от мафусаилова своего возраста и с этим чувством спать отправился. Только не мог заснуть (хоть выпито немало было) от выплывшего вдруг воспоминания. Оказалось, что я уже много лет обманывал всех тех, кто спрашивал меня, откуда взялись гарики. Я что-то врал пустое, что к четверостишиям пришёл случайно, ибо их легко было прочесть на пьянках – длинные стихи никто б не выдержал. И на мысли свои куцые ссылался грустно и кокетливо.

На самом деле родились мои короткие стихи от зависти. Жгучей, острой, едкой зависти, глубоко, на годы затаившейся во мне. Со мной на курсе в институте училась некая Людмила Солдатенкова (и если ты ещё жива, старушка Мила, то прими привет и благодарность). Она писала стихи, которые порой застенчиво читала. И как-то мне четверостишие прочла. Нехитрое, но я-то его помню уже несколько десятков лет:

Выпить хочется, денег нет,
а без денег вина не купишь,
электрический льётся свет,
освеща моральный кукиш.

Я потрясён был, что можно писать так лаконично. Но ещё лет пять, как не побольше, сочинял я длинные стихи, чувствуя, что совершаю глупость, их кропая (вовсе не случайно я их позже утопил в ведре помойном). И тогда – из глубины какой-то неизведанной душевной – вспомнился стишок тот и тогдашняя зависть. Так и появились гарики.

Я воровски и хамски покурив в открытую форточку (в доме не курили) и успокоился после двух сигарет.

Я выступал в этой поездке в нескольких школах (для взрослой, разумеется, аудитории), в старинной церкви, в зале какой-то ро-

скошной гостиницы (всюду нынче в изобилии живут бывшие советские граждане), провёл вечер и ночь в отменном загородном доме датского миллионера (по приглашению его русской жены), и ничего почти что не осталось в памяти, а врать чего-то неохота. Но вот одну из стран вполне сознательно в маршруте нашем я упомянуть как бы забыл. Я к ней и перейду.

Честно сказать, мне самому не верится, что я недавно побывал в Исландии. Но побывал ведь, и пускай лопнут от зависти все те, кто не желает мне добра и утоления невянущего любопытства.

Исландия – это нечто такое, о чём хочется немедленно рассказывать, бессовестно хвалясь (хотя бы в интонации), что ты всё это видел лично и вблизи. Необозримые поля, покрытые серо-чёрной вулканической лавой, напоминают о Луне (хотя там вроде нынче обнаружены какие-то строения). И всюду мох несказанно разного цвета – от жёлтого, зелёного и бурого до ярко-красного. Им кормятся исландские овечки. А воду они, кстати, пьют чистойшую – от ледников, которые повсюду. А гигантские, дикой могучести водопады! А разноцветные скалы! Вообще всё время хочется во всех перечислениях ставить восклицательный знак. Только и он бессилён, чтобы передать ощущения, томящие в Долине гейзеров. Когда взрывается земля и метров на двадцать вздымается облако кипятка и пара, то что-то вздрагивает у тебя внутри. Толпы туристов, приклеенных к своим фотоаппаратам, переживают, очевидно, меньше, ибо заняты заботами о вспышке, фокусе и других деталях запечатления. У гейзеров в этой долине есть свои имена. Так, Строккур извергается каждые минут пять-семь, а собственно Гейзер (давший своё имя этому чуду) – гораздо реже. Есть просто каменные ямы с яростно кипящей в них водой. Всюду текут медленно остывающие ручьи. Когда-то в городах они текли по улицам, и женщины стирали в них бельё (передаю, что слышал и читал). Северное сияние я не застал, но радугу от края и до края горизонта видел лично. Полярный день с его круглосуточным светом есть в Исландии, а подлинной полярной ночи нет, на несколько часов тьма отступает.

Даже птицы там (глупыши, тупики, пафины) – совершенно особые, у них лапки пингины, а головы – попугайные. И множество вулканов. До поры безмолвных, кратеры их торчат, как большие каменные чаши – эдакие лопнувшие пузыри Земли. Заполненные голубой водой. А вот один из них недавно извергался. Сейчас я

выпишу по буквам его название, прочитать которое вслух, по моему, невозможно: Эйяфьядлайёкюдль. Впрочем, после того как в Южной Америке (то ли в Перу, то ли в Чили) обнаружился вулкан Хуинапутина, я уже не удивляюсь никаким названиям. Этот исландский вулкан, кстати, извергался так могуче и обильно, что на время парализовал множество европейских аэропортов. Ещё горячие озёра есть по всей стране, они и для купания пригодны (а точнее – доступны, ибо всё-таки не кипятки).

Это север Атлантического океана, и почти всё время дует острый и холодный ветер, и со страшной скоростью меняется погода. Утешительная есть в Исландии народная поговорка: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже». Только тысячам туристов эти неприятности – до лампочки, ибо такой повсюдной красоты они нигде не видели и не увидят. Я не фанат роскошества природного, но тут я непрерывно (то вполголоса, то громче) изрекал слова, запрещённые ныне идиотизмом российской Государственной думы. Со мной такое бывает только в музеях, когда я вижу холсты любимых художников.

Но тут, конечно, автору приличному необходимо вкратце изложить историю Исландии и те причины, по которым удивительна её природа. Поступлю подобным образом и я.

Исландия находится на стыке двух земных платформ, несущих наши континенты, – европейской и американской. Она плавает над этим разломом, отсюда и гейзеры, и вулканы, и землетрясения. Открыл её в девятом веке викинг Флоки Ворон, он и назвал её Ледяной землёй. Забавно, что точно в эти же годы викинги стали править в Киеве (Аскольд и Дир), и в Новгороде Великом (князь Рюрик). Вообще, викинги – тема неисчерпаемая до сих пор в Исландии и Скандинавии. Музеи, посвящённые их жизни и подвигам, легко найти повсюду. Мне в Дании сказала одна женщина с пренебрежительной усмешкой: «Как только найдут скелет или лодку, тут же открывают музей викингов». Однако эта смесь пиратов и сухопутных грабителей, купцов и завоевателей в самом деле вызывает восхищение: они ведь чёрт-те куда добирались на своих утлых корабликах, аж до Северной Африки. Много раз осаждали и захватывали крупные европейские города. Грабили они и Гамбург, и Париж, Харальд Синезубый стал королём Дании, а Свен Синебородый завоевал Англию. А кстати, ведь и до Америки далеко до Колумба доплыл викинг Лейв Эйрикссон Счастливы. Тут

бы хорошо блеснуть цитатами из «Исландских саг», но я их, честно сказать, не смог осилить (хотя раза три пытался). С радостью поэтому прочёл я где-то, что они сочинены и записаны много позже эпохи викингов и потому не очень достоверны. Мне гораздо больше по душе другие герои того времени – поэты, скальды. Их было очень много, особенно учитывая крохотное население острова. Этих поэтов даже приглашали на гастроли во дворцы и замки Европы. Как они туда добирались, бедные мои коллеги? А на каком языке пели? Может быть, это знают историки, но только вряд ли.

Ну, а теперь пора, пора уже признаться, что всё написанное выше – только вступление, прелюдия к тому главному, что было в этом путешествии. В Рейкьявике (самой, кстати, северной из европейских столиц) существует некий музей, названный громоздко и научно: фаллологический. То есть на самом деле это единственный в мире музей хуёв. Не вздрагивайте, уважаемый читатель, это типичный естественно-научный музей, только его единственный объект – члены земных тварей мужского рода. И это жутко интересно. Вы когда-нибудь видели член слона? А фаллос кенгуру? А пенис белого медведя? А я видел. Правда, член кита представлен только одной третью – с меня высотой, а я выше среднего роста. Но у кита этот орган – пятиметровый и никак не мог в музее поместиться. Вроде бы там только млекопитающие, но зато в каком количестве! Дельфины разных видов, тюлени, кабаны, олени, лошади, росомахи и волки, павиан и медведь пещерный. Около трёхсот экспонатов, бережно хранящихся в огромных стеклянных банках, залитых формалином и спиртом. Ну, кроме тех, что выставлены могут быть в засушенном виде, – те висят по стенам, как оленины рога – у охотников и собирателей. И один человеческий экспонат уже есть в музее – жалкое зрелище. О владельце этого достоинства я расскажу чуть позже, потому что тут одну историю никак нельзя не вставить.

Пётр Первый из его европейских странствий привёз себе в качестве гайдука (телохранителя, проще говоря) некоего француза по имени Буржуа. Ростом ещё выше царя (а в Петре было более двух метров), он обладал огромным мужским достоинством (не в психологическом смысле, а по нашей теме). Тайная идея Петра состояла в том, чтобы вывести особо крупную породу россиян, для чего и предназначался этот гигант-француз. Но из затеи царской

ничего не вышло, ибо красавец Буржуа был сифилитиком, в чём признался только после приезда в Россию. От этого печального заболевания он вскоре и умер. А чтобы всё-таки была от него польза для страны, царь повелел выставить его скелет в Кунсткамере и там же сохранить в спирту его огромный член.

А далее – рассказ человека, работавшего там экскурсоводом в поздние советские времена. Очень многие партийные дамы (в том числе – жёны работников Центрального Комитета), приезжая в Ленинград, с интересом посещали Кунсткамеру. Конечно же, они просились и в специальное отделение музея, недоступное для рядовых посетителей. Там хранились всякие экспонаты, неприличные с партийной точки зрения (табуретки из моржовых хуёв, к примеру, у моржей ведь этот орган – кость, как известно). И всякими намёками с ужимками они стеснительно просили показать им самый легендарный экспонат – член француза Буржуа. И тут экскурсовод, воздав должное осведомлённости и любознательности дам, указывал на банку, в которой содержалось нечто сморщенное, мизерное и омерзительно убогое. А в ответ на явную разочарованность он разъяснял, что в семнадцатом году произошла Октябрьская революция, и матросы, ворвавшиеся в Кунсткамеру, выпили весь спирт, в котором содержался этот экспонат, и экспонат усох, и ничего уже нельзя поделывать. «И нет у меня слов, чтоб описать нескрываемое огорчение этих партийных дам!» – заканчивал экскурсовод эту печальную музейную историю.

Но вернёмся в Исландию, чтобы воздать честь и память основателю фаллологического музея. Школьный преподаватель истории Сигурдур Хьяртарсон получил некогда в подарок плётку из засушенного бычьего хера – отсюда, очевидно, и возникла у него идея необычного коллекционерства. А ведь собирание любой коллекции – это не занятие, а диагноз («все члены в гости будут к нам»). И число экспонатов будущего музея (эта мысль пришла к нему не сразу) стали пополнять охотники и рыболовы. Сперва исландские, а после всего света. И притом бесплатно – из высокой солидарности с идеей. Заплатил он лишь однажды – за метровый слоновий хер, и, видит Бог, покупка того стоила. Сейчас он, прикрепленный на стене, висит настолько гордо, что владелец музея и фотографировался, положив на него руку. Я б такой и у себя повесил, но жена, конечно, не позволит. Хотя моржовый у меня висит, и куда внушительнее он, чем тот, что под стеклом в Исландии.

Когда же он учредил музей (и городские власти помогли ему деньгами), то принялась его коллекция расти ещё быстрее. Не было в ней только предмета мужской гордыни. Правда, уже были там в стеклянной загородке гипсовые отливки пятнадцати разнокалиберных мужских членов – это сборная Исландии по гандболу так отметила свою серебряную медаль на каких-то мировых соревнованиях.

Но как-то встретил он своего старинного знакомого, и Пол Арансон, известный бабник и хвастун, рассказал другу, что женщин в его жизни было – около трёхсот. Когда-то (а к моменту разговора Полу уже было девяносто с небольшим) он возил экскурсии по всей стране, и было множество туристов, желавших получить от путешествия наиболее полное впечатление. «Войдёшь в историю», – сказал Полу азартный Сигурдур, и Пол Арансон оставил соответствующее завещание. А в девяносто пять скончался. Только что-то там неправильно сделали с консервацией ценного экспоната, потому и вышло, повторяю, жалкое и несимпатичное зрелище. Но уже хранятся в музее копии четырёх завещаний из разных стран, так что пополнится коллекция в каком-то недалёком будущем, хотя дай Бог здоровья этим благородным (и тщеславным) завещателям.

А ещё там есть сосуды, заполненные формалином, но больше ничего там нет. Это пенисы водяного, который невидим, эльфов и даже тролля. Существа они мифические, так что кинуть в банку нечего, а посмотреть – интересно. Или я не разглядел чего-то? И такое вероятно.

Я в музее думал о справедливости фаллического культа, столь распространённого у далёких наших предков. Но так как знаю я об этом очень мало (только множество картинок видел, с культом связанных), то чуть понаблюдал за посетителями уникального музея. Ну, мужики пошучивали явно, а женщины (их, кстати, большинство среди тех, кто сюда приходит) бродили со старательно отрешёнными лицами, их мысли я угадывать не собирался.

Нет-нет, совсем не попусту я посетил страну Исландию.

Давид Шехтер

ШАРОН, КАКИМ Я ЕГО ЗАПОМНЮ

За восемь лет работы в Кнессете пресс-секретарем партии Израэль ба-алия, а затем советником министра абсорбции и министра по делам диаспоры, я много раз встречался с Ариэлем Шароном. Это были встречи на предвыборных митингах, на заседаниях репатриантского штаба Шарона, заседаниях правительства. В течение этих лет я перестал любить и начал бояться Ариэля Шарона. Бояться его далеко идущих планов по отступлению перед палестинскими террористами.

Впервые я увидел Ариэля Шарона еще в 1974 году в ...Одессе. Нет, нет прославленный генерал не приехал с официальным визитом – между Израилем и СССР не было дипломатических отношений. Да и частная поездка в поисках исторических корней или для посещения могил предков, как это модно сегодня, была невозможна в атмосфере государственного антисемитизма, охватившего СССР. Просто мой отец, вернувшись с работы домой, с гордостью показал очередную антиизраильскую брошюру, которые пачками выходили тогда во всех издательствах. Я знал много евреев, собиравших эти пасквили. У моего тестя была целая полка такого рода «литературы», где красовались низкопробная – для плебса, «Палестина в петле сионизма» и более солидная, для интеллигенции – «Египет времен президента Насера», Евгения Примакова – будущего российского премьера, а тогда собкора «Правды» в Каире.

Название книжонки, принесенной отцом, улетучилось из памяти, зато я хорошо помню свое удивление – отец не принадлежал к числу еврейских мазохистов, коллекционировавших эти издания и не пытался извлечь из них хоть какую-то полезную информацию об Израиле. Он ненавидел советскую власть и с конца шестидесятых годов, как только появилась возможность выезда в Израиль, мечтал о репатриации. Ни на йоту не веря советским СМИ, отец

слушал разные «голоса», в том числе «Голос Израиля», из которых и черпал всю информацию. Поэтому я был сильно удивлен, когда увидел в его руках антиссионистскую брошюру.

– Посмотри, посмотри, какой красавец, только из-за него я и купил это паскудство!», – воскликнул отец и показал фотографию группы израильских генералов, в центре которой стоял высокий, чуть полноватый человек в полевой форме, с марлевой повязкой на гордо поднято, с растрепанной шевелюрой голове.

– Это – Шарон, тот самый, который спас Израиль во время войны Судного дня, когда прорвался на египетский берег Суэцкого канала и окружил две арабские армии. Я столько слышал о нем, а вот теперь впервые увидел фотографию», – сказал растроганный отец, – «И как наши идиоты ее напечатали, она ведь говорит намного больше, чем вся большевистская пропаганда!»

Мне тоже понравилось лицо этого «израильского агрессора» – именно так я и представлял себе сабр, новое поколение евреев, выросших не в галуте – свободных, гордых, с прямым взглядом и твердой осанкой. От человека на фотографии исходила сила и уверенность, которой так не хватало тогда и мне и большинству моих знакомых евреев. Мог ли я тогда вообразить, что спустя 17 лет я буду одним руководителей предвыборного штаба Ариэля Шарона – кандидата на пост премьер-министра Израиля от партии Ликуд – мне доведется вплотную работать с ним и даже инструктировать его, как и что говорить в интервью ...российскому телевидению?!!

Впервые по настоящему, «живьем» увидеть Шарона мне довелось много лет спустя, летом 1991 года, когда группу израильских русскоязычных журналистов пригласили в канцелярию министра строительства – этот пост занимал Арик в правительстве Ицхака Шамира. Я хорошо помню отчаянные статьи в израильской прессе начала 90-х годов, когда массовая алия из СССР застала Израиль врасплох. Все свободные квартиры закончились, под съем сдавались уже любые углы и чуланы, а поток репатриантов не только не шел на убыль, а усиливался с каждым месяцем. Все ожидали, что вскоре их, как репатриантов пятидесятых годов, придется селить в палатках.

Известный израильский общественный деятель Эйби Натан даже слетал в Пекин, где приобрел несколько больших военных палаток, использовавшихся в китайской армии. Палатки оказались

хорошими – они не протекали и брезент в них был плотным, давая защиту от ветра. Натан хотел не только помочь новым гражданам, но и неплохо заработать, ведь таких палаток потребовались бы тысячи. И тут Шарон стал министром строительства. В короткий срок он сделал то, что, казалось, было не под силу никому – сломал мафию строительных подрядчиков, заинтересованных в высоких ценах и, следовательно, невысоких темпах строительства. За два года он выстроил 144 тысячи квартир и закупил тысячи караванов.

Ох, сколько грязи вылили на Шарона его политические противники за эти самые караваны, как только не изгалялись пропагандисты Рабочей партии по их поводу! А правда состояла в том, что благодаря Шарону, нашедшему быстрое и относительно хорошее (пусть и временное) решение жилищной проблемы, десятки тысяч репатриантов поселились в караванах, а не в брезентовых палатках. Да, в караванах было жарковато летом и не так уж тепло зимой, но это было – при всех недостатках – нормальное жилье : комнаты, кухонька, туалет и даже ванна. В качестве временной меры они вполне сгодились, а спустя несколько лет большая часть репатриантов перебралась из караванов в собственные квартиры.

Когда летом 1991 я оказался в кабинете Шарона, алия была в самом разгаре, строительство караванных городков шло полным ходом и никто особенно не задумывался, сколько они стоят и насколько удобно в них жить. Нужно было обеспечить крышей над головой сотни тысяч уже приехавших репатриантов и подготовиться к приему следующей волны алии.

Арик рассказывал нам о реализации своих планов, но я больше вслушивался не в содержимое его речи, а в ее тон, в артикуляцию, мимику этого человека, давным-давно ставшего для меня легендой. Несмотря на то, что Арик уже давно демобилизовался, передо мной сидел генерал – и по внешности, и по характеру и по замашкам. Он говорил четкими, рублеными фразами, странно сочетавшимися с мягким тоном и характерной шароновской улыбкой. Но меня ни этот тон, ни эта улыбка ничуть не обманывали – бывшего генерала выдавали глаза, блестящие жестко и решительно, глаза человека, привыкшего отдавать приказы и не любящего выслушивать возражения.

Шарон сразу же заявил, что пресс-конференция посвящена исключительно вопросам абсорбции (в качестве живого доказа-

тельства этого в кабинете присутствовала тогдашний заместитель министра абсорбции Геула Козн) и решению жилищной проблемы новых репатриантов. Зная, что у израильских политиков длинный язык и они очень любят поговорить на любые темы, сперва я, а затем и мои коллеги, попытались «раскрутить» Арика на политические вопросы. Но Шарон решительно отменил все наши попытки. «Я ведь сказал – говорим только об абсорбции. Значит, так оно и будет», – отрезал Шарон.

Я вышел с пресс-конференции со смешанными чувствами. Долгожданной встречи с героем не получилось, расстрогаться, что вот, наконец беседую с Ариком, да-да, тем самым!! – не удалось. Деловой, жесткий темп разговора не способствовал сантиментам и это – не скрою – меня несколько расстроило. Но потом я понял – иначе и не могло быть. Лирический тон подходил бы для героя, ушедшего на покой и вспоминающего с грустью и нежностью дела давно минувших дней и самого себя – молодого, полного сил, так непохожего на нынешнего, отрезанного от активной деятельности пенсионера. Но Арику, находившемуся в разгаре одной из самых важных кампаний его жизни – битвы за устройство репатриантов, битвы, от которой зависела судьба алии – то есть приезда еще сотен тысяч евреев – было не до сентиментальных воспоминаний. Он прекрасно понимал, что стояло тогда на карте. Он руководил дивизиями строителей, планировал и воздвигал новые кварталы, создавал поселения вдоль зеленой черты, которые должны были стать и стали! – барьером на границе с палестинцами и поэтому не имел ничего общего с героем, вышедшим в почетную отставку. А генерал в самом разгаре сражения мог быть только таким, каким он и предстал перед нами – жестким, решительным, отмечающим все, что мешало ему двигаться к поставленной цели.

ДВА БЕРЕГА ОДНОЙ РЕКИ

В бытность пресс-секретарем парламентской фракции Исроэль ба-алия мне приходилось очень часто сталкиваться с Ариком – комнаты фракций Исроэль ба-алия и Ликуда располагались дверь в дверь, а глава оппозиции Ариэль Шарон старался не пропустить ни одного дня работы Кнессета. Приход его я называл явлением Арика народу – он появлялся около полудня, когда пятый этаж

Кнессета, на котором располагались комнаты фракций, был уже заполнен журналистами, парламентскими помощниками и депутатами. Арик – грузный, всегда в черном костюме, с высоко поднятой седой головой, окруженный телохранителями и свитой, рассекая толпу шел по коридору стремительно, несмотря на возраст и вес. Он никогда не останавливался, лишь кивком головы отвечая на приветствия не задерживался возле журналистов, как с удовольствием делали многие депутаты, для которых разговор с представителем СМИ – причем на любую тему – зачастую является главной целью появления в Кнессете. Арик всегда спешил, будто бы впереди его ожидало какое-то важное событие, хотя, в начале каденции Эхуда Барака, когда, всем казалось, что премьер от Рабочей партии пришел к власти на добрые восемь лет, какие важные дела могли быть у лидера потерпевшего сокрушительное поражение Ликуда? Спешить ему, действительно, было некуда, просто такой уж характер у Шарона – он все делал стремительно, с уверенностью в том, что нынешняя задача – самая важная и решить ее надлежит быстро и эффективно.

День за днем наблюдая за Ариком – не только, естественно, за его проходами по корридорам Кнессета, но и в парламентской работе: на заседаниях комиссий, выступлениях с трибуны, участии в прениях, я не мог не отдать должное этой уверенности, этому отсутствию – конечно же внешнему – сомнений в том, что дело, которое ты делаешь сегодня – главное, в отсутствии колебаний и сентиментов. Мне казалось, что кличка, прилепленная Шарону – «бульдозер», действительно как нельзя лучше отражает его характер – такая стальная машина, в любых условиях, невзирая ни на что, прущая к поставленной цели. И вот однажды, декабрьским вечером 1999 года, когда в зале заседаний Кнессета шло последнее обсуждение госбюджета на следующий год, передо мной предстал совершенно другой Арик.

Парламентская фракция Исраэль ба-алия отказалась поддерживать бюджет, что было грубейшим нарушением коалиционной дисциплины. Но иначе поступить она не могла – после многочасовых переговоров с тогдашним министром финансов Байгой Шохатом и самим премьером Бараком, бюджет министерства абсорбции был все таки урезан на 70 миллионов шекелей. Причем урезан именно в параграфах, касавшихся деятельности репатриантских общественных организаций и помощи частным бизнесам новых

граждан страны. Депутаты Исраэль ба-алия, как представители людей, по которым наносился этот удар, сочли неприемлемым поддержать такой бюджет и в знак протеста решили не участвовать в голосовании по нему. Вся фракция демонстративно уселась в депутатском буфете и спокойно ужинала, не обращая внимания на бурные дебаты, шедшие в соседнем зале.

Мы сдвинули два столика и удобно расположились в самом центре буфета. Спустя несколько минут к нам подседа депутат от Рабочей партии Яэль Даян – дочь Моше Даяна. В тот момент она испытывала к мятежной фракции самые теплые чувства, ведь пост министра абсорбции занимала Юлия Тамир – политический соперник Яэль, также претендовавшая на роль первой дамы Рабочей партии. Критика бюджета Исраэль ба-алия касалась и Тамир, не сумевшей – да и не очень-то стремившейся – отстоять интересы репатриантских организаций. А любой афронт по отношению к Тамир играл, естественно, на руку Даян. Мы вели с ней светскую беседу, и она уже явно начала искать повод, чтобы откланяться, как тут в буфете появился Шарон, стремительно подошел к нашему столику и уселся на свободное место рядом со мной.

Я, честно говоря, ожидал, что появление Арика станет для Яэль тем самым поводом: одно дело выражать симпатии к хоть и фрондерствующей, но все же коалиционной фракции, и совсем, совсем другое – оказаться в компании с лидером оппозиции, да еще таким, как Шарон. Но к моему великому удивлению Яэль не только не ушла, а завела самую что ни на есть душевную беседу с Ариком, быстро перешедшую в обмен воспоминаниями. Оказалось, что они вместе воевали в войну Судного дня, провели чуть ли не в одном танке несколько недель в Синае и Арик подробно описал, какой замечательный ужин приготовила Яэль буквально из ничего в один из самых тяжелых дней войны. «Она буквально спасла нас от голодной смерти», – прочувствованно сказал Арик.

Я смотрел на двух этих людей, которые с нескрываемой нежностью вспоминали совместное прошлое – битвы, споры, общих друзей и не верил собственным ушам. А когда Арик рассказал, что был свидетелем на свадьбе у Яэль, удивления не скрыл даже обычно сдержанный Щаранский. Еще бы: в израильском Кнессете не было двух больших антиподов – крайне правый Арик и крайне левая Даян.

Он не желал отдать арабам даже одного сантиметра земли, она – неистово добивалась немедленного мира с палестинцами и передачи им всей Иудеи с Самарией. Он при каждом удобном случае повторял, что Арафат – это враг, более того – военный преступник. А она при первой же возможности шастала в гости к главарю автономии. Арик – примерный семьянин и однолюб, Яэль – рупор гомиков и лесбиянок, притаскивавшая эту братию в Кнессет. И вот эти люди, которых, как мне казалось, разделяла пропасть, имели, оказывается и общее прошлое и многочисленных общих знакомых и явно испытывали друг к другу глубокое уважение!

Я понял в тот вечер, как все же много общего у израильтян, принадлежащих к самым противоположным политическим лагерям, денно и ночно проклинаящим друг друга. Собственно, великой мудрости в столь нехитром выводе не содержалось, но одно дело – понимать это абстрактно, а другое – убедиться лично, да еще на таком примере!

С годами, после того, как Шарон разработал и осуществил план одностороннего размежевания, разрушив все поселения Гуш-Катиф и выведя из него войска, я понял и другое – идеологические расхождения между Шароном и Яэль Даян, казавшиеся мне непреодолимыми, на самом деле вовсе не были столь уж значительными.

Беседа Шарона с Даян продемонстрировала мне, что клей, скрепляющий израильское общество, разрываемое внутренними конфликтами и распрями, на самом деле очень крепок, и расчеты врагов разорвать нас изнутри обречены на провал.

И еще я понял, как все же толератны коренные жители страны. Ведь мы, вновь прибывшие, не имеем этого общего прошлого, общих поражений и побед. Мы должны быть для них чужими и, если быть до конца честными – по большому счету чужими и являемся. И все же они принимают нас, пусть не всегда на равных, но принимают в свой круг, не давая в большинстве случаев почувствовать этой чужести.

В тот вечер Арик и Яэль – соль земли Израиля – разговаривали с нами, политическими представителями новых репатриантов, на равных, как со своими. И, кстати, не только в тот вечер. Но тогда, в буфете Кнессета все утверждения о ксенофобии израильтян, об их неприязни к новеньким были еще раз опровергнуты на моих глазах.

ПОСКРИПТУМ

В течение четырех с половиной лет нахождения Шарона на посту премьер-министра я неоднократно встречался с ним во время заседаний правительства. За эти годы я был свидетелем разных историй. О двух из них хочу рассказать.

Заседание кабинета министров Израиля начинается в девять часов утра и длится обычно три-четыре часа. С часов одиннадцати в небольшой комнате, примыкающей к залу заседаний правительства, сотрудники канцелярии премьер-министра накрывают стол с легкими закусками. Ничего особенного – нарезанные овощи, брынза, хлеб, бурекасы, сладкие пирожки. Заседание длится без перерыва, но министры потихоньку выходят в этот “предбанник”, перекусывают, выкуривают сигарету. Если же заседание затягивается, то тогда другой зал, расположенный на том же, втором этаже канцелярии, где установлен длинный стол и кресла, оббитые оленьей кожей и происходят заседания межминистерских комиссий, превращается в обеденный. Поэтому во времена шароновского премьерства его неофициально называли “Ресторан Арика”.

Мне несколько раз довелось попробовать угощение, подаваемое в “Ресторане Арика”, и могу засвидетельствовать – никаких особенных яств, недоступных простым смертным, обитатели израильского политического Олимпа не вкушают. Несколько видов мяса, обычный набор салатов, питы, хлеб, хумус и тхина. В любом иерусалимском ресторанчике выбор блюд не хуже, если не лучше.

Шарон покидал зал заседаний только в том случае, если объявлялся обеденный перерыв. Он вел заседание правительства от начала и до конца (выходя из зала на короткие паузы, длившиеся буквально несколько минут). Поэтому, в отличие от министров, к концу заседания премьер был голоден. Как-то раз мне довелось сидеть прямо напротив него, в ряду, где размещаются советники министров, и я наблюдал картину борьбы Шарона с самим собой.

Перед премьером поставили блюдецко с бейгале – толстенькими, покрытыми кунжутowymi семечками, баранками. Они явно содержали уйму калорий и Шарону, при его весе, эти бейгале были совершенно ни к чему. Но Арик взял одну баранку, вторую, третью. На четвертой началась борьба – он разломил ее на две части, одну съел, а вторую вернул в блюдецко. Но оставшаяся половинка не давала Шарону покоя. Он несколько раз протягивал к ней руку,

в последнюю секунду сдерживал себя и делал вид, что поправляет блюдечко – то придвигал его к себе, то отодвигал в сторону. На четвертой попытке премьер сдался и взял с тарелочки оставшуюся половинку. Но борьба продолжилась – он разломил ее на три части, две вернул на место, а одну съел. Несколько минут Шарон просидел спокойно, а потом махнул рукой – да черт с ними, с калориями, взял две оставшиеся части и сразу положил в рот. А потом с силой оттолкнул от себя блюдечко – так, что оно уехало на другую сторону стола, где сидел Шауль Мофаз – подтянутый и стройный министр обороны. Мофаз взглянул на блюдечко, отодвинул его спокойно в сторону и до конца заседания так и не прикоснулся к бейгале.

Вся эта сцена длилась минут десять и мне, не страдающему дистрофией, была так по-человечески понятна и близка борьба премьера с самим собой, что я совершенно перестал следить за тем, что происходило на заседании кабинета.

Запомнился мне также скандал, разгоревшийся на одном из заседаний правительства. Мой босс, министр по делам диаспоры Натан Щаранский, докладывал о программе “Иудаизм для всех”. В канцелярии Щаранского я был ответственен за эту программу, которую про себя именовал “еврейский ликбез”.

Это, действительно, была попытка ликвидации еврейской безграмотности – программа предназначалась для тех, кто интересуется еврейской традицией, но не хочет по тем или иным причинам ходить в синагогу. Программа организовывала встречи самых больших праздников в матнасах (культурных центрах) или спортивных залах. То есть тот, кто интересовался, что же такое Йом Кипур, мог получить полное представление о нем, не будучи связанным ограничениями синагоги, то есть, не участвуя в молитве и даже не надевая на голову ермолку. Это была суперлиберальная программа, набиравшая все большую и большую популярность.

Поэтому я был уверен, что доклад Щаранского с одобрением примут все члены правительства. Но не тут то было. Как только Щаранский закончил свою речь, министры антирелигиозной партии Шинуй бросились в бой. Их нападки были столь вопиюще несправедливыми, что министр сельского хозяйства Исраэль Кац не выдержал – “Господа, то, что вы говорите, просто антисемитизм”.

Конец дебатам положил Шарон. Сильно стукнув несколько раз

председательским молотком, он сказал, обращаясь к министрам Шинуя – “Ну, в самом деле, почему, как только вы слышите слово “иудаизм”, нужно обязательно кидаться в атаку. Наша традиция и наша религия, связь с Эрец Исраэль – это то, что сохраняло еврейский народ в галуте и то, что поддерживает наше существование здесь”.

Куда делось это понимание связи между землей и народом в последние годы правления Шарона – я понять не мог, не понимаю и сейчас. С той же энергией и последовательностью бульдозера – стальной машины, в любых условиях, невзирая ни на что, прущей к поставленной цели, он разрушал то, что строил десятилетиями. Разрушил созданный им же Гуш-Катиф, попытался уничтожить Ликуд. Шарон шел к цели, разрывая дружбу с людьми, длившуюся десятилетиями, коверкая судьбы, попирая нормы морали, порядочности, демократии, а, порой, и закона. Не случайно, когда у Меира Хар-Циона спросили, что он думает по поводу болезни Шарона, бывший друг и соратник потряс всех, ответив – “После трансфера евреев из Гуш-Катиф Шарон меня совершенно не интересует”. Руководя Ликудом и страной, Шарон показал себя лидером, которому в значительной мере чужды демократические принципы и возвел уровень коррупции в израильской политике на доселе невиданные высоты.

За эти годы он перестал быть для меня человеком, точно знающим, что лучше всего для государства Израиль. Осуществленный им трансфер евреев из Гуш-Катиф и передача “филадельфийского коридора” в руки египтян, что сразу же превратило сектор Газа в арсенал террористических организаций и удобную площадку для обстрела ракетами “Кассам” уже не только Сдерот, но Ашдода и Ашкелона, стал, по мнению многих, грубейшей стратегической ошибкой. Последствия этой ошибки нам всем еще долго придется расхлебывать.

Но особое опасение вызывали дальнейшие планы Шарона по проведению односторонних отступлений, которые привели бы Израиль к границам 1967 года, названные Аббой Эвеном “границами Освенцима”. Как это ни было странно и даже ужасно для меня самого, в какой-то момент понял, что точно также, как пять лет назад я прилагал максимальные усилия, чтобы Шарон стал главой правительства, сейчас я постараюсь сделать все, от меня зависящее, чтобы не допустить его переизбрания на этот пост.

Конечно, когда Шарон заболел, я, вместе со всеми молился за его скорейшее выздоровление. За свою долгую жизнь Шарон сделал так много хорошего для еврейского государства, что заслужил спокойную старость на своей ферме, в окружении детей и внуков.

Когда мы подводим итог деятельности Ариэля Шарона как политика, полководца, общественного деятеля, общий баланс оказывается положительным. Это была сложная, противоречивая, но крупная личность – добившаяся значительных достижений, и совершившая огромные ошибки. Достижений, думается, все-таки, было больше.

Наши мудрецы говорят, что человеку даются страдания в этом мире для искупления грехов и для того, чтобы на Высший Суд он предстал уже без них. Можно, конечно, сказать, что Шарон случайно пролежал в коме ровно (чуть ли не день в день) восемь лет. А можно увидеть в этом вовсе не случайность, а Б-жественный промысел и искупление грехов. Страшное, но искупление.

И всё же, и всё же....Последние деяния Шарона были настолько травматичными для страны, что когда сегодня я думаю, какие ассоциации вызывает у меня его имя, перед моими глазами встает не гордый красавец генерал с перебинтованной головой, а страшная картина – поселенцы Гуш-Катиф, несущие на своих плечах снятый с крыши их синагоги семисвечник. Картина, с трагической точностью совпадающая с барельефом на арке императора Тита, до сих пор стоящей в Риме. Император Тит – разрушитель Иерусалима, премьер Шарон – разрушитель Ямита и Гуш-Катифа.

Я не сомневаюсь – Ариэль Шарон искренне любил еврейский народ и еврейское государство, защите которых посвятил всю свою жизнь. Таким я хотел бы запомнить его навсегда. Хотел бы, но не могу.

Михаил Сидоров

КОМПЛЕКС ИЗМАИЛА

Еще в XIX столетии высокомерное пренебрежение к религии и восторженный трепет перед мощью интеллекта и всемогуществом науки стали признаками хорошего тона. Однако уже к концу XX века человеческая гордыня подошла изрядно уязвленной. Две мировые войны, революции, коммунистический эксперимент, нацизм, атомные бомбардировки и аварии, угроза экологической катастрофы, международный терроризм – все эти «чудеса» – свершившиеся или еще только маячащие на горизонте, стали возможны не в последнюю очередь «благодаря» достижениям науки и техники (о политиках и народных массах пока умолчим). Прогресс теперь характеризуется как явление амбивалентное, а доклады Римскому клубу вообще потребовали в качестве необходимого условия выживания рода человеческого обуздать безудержную гонку экономического роста.

Что же до религии, то многие века ее важнейшей социальной функцией было освящение морали. Теологи и философы сходились на том, что нравственные законы даны людям свыше, и религия признавалась основой этики. Иммануил Кант, как известно, выдвинул положение о независимости морали от религии. Тем не менее, и он был убежден, что хотя «мораль отнюдь не нуждается в религии», она «неизбежно ведет к религии». Но куда может забрести нравственность, если религия вообще отвергается обществом? Не чересчур ли оптимистичным оказался «надменный ум», уверенно взявший на себя функции как инструмента, так и критерия, и оставшийся единственным ориентиром человека в лабиринте прогресса? Разумеется, речь идет не об изъянах разума как исключительного достояния человека разумного, а о манипулятивном интеллекте (Эрих Фромм) – инструменте достижения практических целей. Иначе, вряд ли появились бы в XX веке проекты

«религии любви» (А.Швейцер), «новой этики» (Римский клуб) и, наконец, «Проект всемирного этоса» (Ганс Кюнг).

Авторитет науки – вполне заслуженно – велик и непререкаем: ведь даже ракетно-ядерное оружие, созданное если и не для истребления, то хотя бы для устрашения потенциального противника, и способное уничтожить человеческую цивилизацию, может в принципе (как уже убедительно показали голливудские фильмы) спасти жизнь на Земле, если нашей планете будет угрожать космическая катастрофа. Так что отнюдь не по простоте душевной – особенно в переломные, смутные времена – «под науку» подгоняют свои поделки разного рода и масштаба дельцы: одержимые, заблуждающиеся и просто шарлатаны. В итоге, помимо подлинных, нетленных ценностей, за время своего существования человечество поднакопило и приличный багаж пошлостей, также поражающих своей живучестью.

Среди последних слепяще-фальшивым блеском выделяется антисемитизм. Вполне закономерно, что если в Средние века для обоснования ненависти к евреям хватало с лихвой суеверий, облеченных в религиозную форму, то в просвещенную эпоху к этому, по-прежнему «святому» делу стали притягивать и науку (особенно «арийскую», «партийную», а в последнее время – еще и «социалистической ориентации»). Хотя, по правде сказать, в данном случае подлинная наука (то есть безо всякой «ориентации») совершенно ни при чем.

В 1935 году Карл Раймунд Поппер сформулировал принцип фальсифицируемости, в соответствии с которым теория, не опровергаемая никакими, даже и воображаемыми фактами – ненаучна. Поппер исходил из того, что псевдопредложения не сопоставимы в принципе ни с подтверждающими, ни с опровергающими их фактами, поэтому они (как, например, фантазии, иллюзии) уживаются с любыми фактами. Нефальсифицируемость антисемитизма, его «подтверждение» какими угодно «фактами» – лишнее свидетельство его мифичности.

Как-то И.Шафаревич, создавая удобный прецедент для генерала от юдофобии А.Макашова, в свою защиту от обвинений в обыкновенном антисемитизме, выдвинул такой аргумент: «...Если объединить всех, кто когда-то критически относился к каким-то еврейским группам и течениям, то получится очень пестрый список: евангелист Иоанн, Цицерон, Тацит, Иоанн Златоуст, Савонарола,

Лютер, Шекспир, Петр Великий, Вольтер, Державин, Наполеон, Фурье, Вагнер, Достоевский, Розанов, Блок и очень многие другие».

Перед названными авторитетами, собранными Шафаревичем в одну компанию, просто теряешься. Напрашивается вывод: попасть в нее, даже среди «очень многих других», – большая честь. Первое желание – снять шляпу, откашляться и тихо удалиться, горюя о собственной незначительности и непонимании чего-то «такого».

Одна беда – «Гитлер в этом списке, конечно, тоже должен быть», – признавал Шафаревич. Но тут же успокаивал слегка смущенного читателя: Гитлер, естественно, «занимает совершенно особое место». С последним замечанием, пожалуй, можно согласиться (а все-таки интересно, какое место в «пестром списке» отвел бы Гитлеру Шафаревич?). Простим известному математику и банальную логическую ошибку, которая называется «довод к человеку», – пользуясь таким приемом, можно было бы не напрягая памяти назвать с десятков знаменитостей, бывших, к примеру, равнодушными к спиртному, и сделать соответствующее умозаключение.

Вопрос в другом: какое место в этом списке, составленном в хронологической последовательности, занимает его автор, академик Шафаревич; или, иными словами, – как быть с историей? Ответ очевиден: после Гитлера, с его критическим, говоря словами Шафаревича, отношением абсолютно ко всем «еврейским группам и течениям», включая стариков и младенцев, апеллировать к Цицерону и Достоевскому по меньшей мере неуместно.

Почему же появился «пестрый список», и почему он не завершается Гитлером – ведь это было бы единственно достойное человеческого разума и совести «особое место» для фюрера?

Когда мы говорим о юдофобской мифологии, то имеем в виду лживость, реакционность и человеконенавистничество антисемитизма. Ему и впрямь присущи такие свойства мифа, выявленные Клодом Леви-Строссом, как диахроничность (повествование о прошлом) и синхроничность (инструмент «объяснения» настоящего и даже будущего). Приведший к Холокосту, этот чудовищный в своем иррационализме миф, казалось бы, должен был полностью и навсегда себя дискредитировать. Однако он живет и, оставаясь на какой-то неуловимой и неуничтожаемой основе,

постоянно модернизируется и ускользает от рациональной критики.

Более того, время от времени, то здесь то там, он переходит в контратаку, усилиями своих новых адептов пытаясь опровергнуть известное и общепризнанное, бросая дерзкий вызов здравому смыслу и человеческой памяти. «Застывший миф умирает», – констатировал Карл Густав Юнг. Но юдофобской мифологии смерть пока не грозит, ибо появляются среди ее проповедников то принявший на старости лет ислам бывший член руководства Французской компартии, «ревизионист» Роже Гароди, то британский историк Дэвид Ирвинг, то австрийский политический деятель Йорг Хайдер, то греческий певец Микис Теодоракис. Эти мыслители-мифотворцы неторопливо и основательно готовят почву для практиков, которые с ножом или бутылочной «розочкой» врываются в синагоги и пускают кровь представителям ненавистного племени.

Думается, все это происходит и потому, что критика антисемитизма, какой бы убедительной и остроумной она ни была, остается по своему содержанию и направленности на уровне просветительской критики древней мифологии, рассматривавшейся Вольтером, Дидро, Монтескье и другими лишь как продукт невежества и обмана. В этом смысле со «списком Шафаревича» приходится считаться, так как людей, числящихся в нем, едва ли можно заподозрить в невежестве или склонности поддаться на обман.

Все это и наводит на мысль о связи юдофобии с коллективным бессознательным, то есть об архетипических корнях антисемитизма. Занятно, что обстоятельно изложенный в «Протоколах сионских мудрецов» политический миф почти целиком повторяет структуру памфлета М.Жоли «Диалог в аду», направленного против деспотизма. И дело здесь не только в дешевом плагиате. Недаром К.Г.Юнг отмечал, что архетипы имеют не содержательную, а исключительно формальную характеристику, и что архетип как таковой не морален и не имморален, не прекрасен и не безобразен, но в нем заложены возможности для предельных проявлений добра и зла. «В основе архетипических утверждений, – говорил создатель аналитической психологии, – лежат инстинктивные предпосылки, не имеющие никакого отношения к разуму; их невозможно ни доказать, ни опровергнуть при помощи здравого смысла».

Самое простое в нашем случае – предположить, что антисемитизм базируется на архетипе, не выходящем за рамки бинарной оппозиции «свой – чужой». Но не будем торопиться, тем более что такая версия как раз и устроила бы многих юдофобов, или, в лучшем случае, Л.Гумилева с его фантастической концепцией этногенеза, согласно которой на суперэтническом уровне возникают «химерные композиции»; вторгшиеся этносы-паразиты, «народы-торгаши» живут за счет коренных «народов-героев» и т.п.

Дихотомический конфликт «свой – чужой» может быть преодолен более или менее легко изгнанием чужого, имеющего враждебные намерения. Но куда же было изгонять евреев, и без того уже согнанных со своей земли одним из «народов-героев», а главное, обязанных, по раввинистическому кодексу, защищать ту страну, в которой они живут, даже если бы им пришлось воевать против евреев, живущих во враждебной стране?!

Конечно, были в европейской истории примеры изгнания из некоторых государств «врагов Христовых». Но немало было в феодальной Европе и дальновидных государей, зазывавших к себе евреев, чтобы оживить экономику, поднять хозяйство. Позднее еврейский талант и еврейский энтузиазм стали проявляться и в интеллектуальной жизни стран рассеяния, в том числе и в России.

Родившаяся и выросшая в Петербурге Луиза (Лу) Андреас Саломе – незаурядная (и даже «роковая») женщина, дружившая и сотрудничавшая с Ницше, Рильке, Мартином Бубером и Фрейдом, – в статье «Русская философия и семитский дух» (1898) выражала надежду, что русские и евреи, столь различающиеся в духовной жизни, научатся понимать друг друга и друг в друга проникать (см. об этом в книге А.Эткинда «Эрос невозможного. История психоанализа в России»). То, что это – не пустые мечтания «финской еврейки» (в еврействе Лу упорно «уличала» позднее сестра Ф.Ницше), было доказано через десять лет выходом в свет знаменитого сборника «Вехи»: из семи его авторов трое были евреями.

Получается, что никакие не «чужие», а свои, «родственники»! Кем же приходится евреи другим народам в раздираемой непрерывными дразгами и ссорами единой человеческой семье? Даже если допустить, что сам вопрос поставлен вполне корректно, ответ на него не может быть выражен однозначно на том же языке. Поэтому предложим по крайней мере два варианта, две «ипостаси»:

как носитель Закона, живущий уже много десятков веков еврейский народ – «отец» другим этносам; перед Творцом – он им брат.

Итак, гипотеза первая: народ-патриарх.

Есть русская поговорка о том, что муж любит жену здоровую, а сестру богатую. Проза жизни: родню сильную уважают или боятся, состоятельную – любят или терпят, хоть и небескорыстно. Но каждый ли способен «возлюбить» старика-скитальца, у которого уже и отнять-то нечего, а поучиться у него уму-разуму – гонор не позволяет? Главное его богатство – переписанные в Большую Книгу с утерянных давным-давно каменных досок нудные наставления: не убивай, не кради, не возжелай. Тем более что куда проще, а часто и приятнее, делать как раз наоборот. И делали. И делают. И будут делать наоборот. Да и сам-то старичок – не без греха! И все же: «крошка-сын», с неизбежно возникающим у него вопросом «что такое хорошо и что такое плохо?», приходит, как водится, к отцу...

В «Веселой науке» Ницше пошутил: евреи чувствуют себя моральным гением среди прочих народов. Ирония мыслителя не может, однако, поставить под сомнение тот исторический факт, что нравственный закон действительно был внесен в западную цивилизацию евреями. В этом, собственно, и проявляется богоизбранность этого народа.

Значительная часть нееврейского мира уже давно весьма болезненно относится к феномену богоизбранности. В «лучшем» случае (не считая признания) особое положение еврейства среди других народов – повод для завистливых насмешек, в худшем – для обвинений евреев во «всемирном заговоре» с целью... неважно какой. Даже Н.А.Бердяев, делая тактическую уступку антисемитам, признавал существование еврейского самонения, «которое раздражает» (статья «Христианство и антисемитизм», 1938). А затем, переходя в наступление, Бердяев давал психологическое объяснение «самонению» евреев: «Этот народ был унижен другими народами, и он себя компенсирует сознанием своей избранности и своей высокой миссии».

И только-то?! Даже обидно за блестящего и тонкого философа, предложившего такое плоское «решение» проблемы. А ведь более чем за полвека до него другой русский религиозный мыслитель Владимир Соловьев смотрел на нее куда более масштабно и глубоко. В его теократии будущего (разумеется, христианской) евреи опять-таки занимают особое положение. «И как некогда

цвет еврейства послужил восприимчивой средой для воплощения Божества, – писал в 1884 году в своей работе «Еврейство и христианский вопрос» философ всеединства, – так грядущий Израиль послужит деятельным посредником для очеловечения материальной жизни и природы, для создания новой земли, идее же правда живет». Надо сказать, что похожей на бердяевскую точки зрения придерживался и Герберт Уэллс, считавший, что евреи отравлены национализмом, этим «ядом истории». В 1939 году он писал, что «склонность к расовому самомнению стала трагической традицией евреев и источником постоянного раздражения неевреев вокруг них».

Так вот, богоизбранность как историческая данность не нуждается ни в каком оправдании (религиозном или философском) и не таит в себе никакой опасности (кроме надумываемой юдофобами). Напротив, она носит исключительно позитивный характер. Отвлекаясь на минуту от религиозного аспекта еврейской исключительности, заметим, что осознание еврейским народом своей избранности – это залог его, так сказать, интенсивной самоидентификации, которая принципиально отвергает всякое навязывание собственных идеалов, обычаев и образа жизни другим народам, не отказывая в то же время последним в праве на их собственную историю. Вера же в единого (для всех людей!), вседущего и всеильного Бога делает смехотворной саму постановку вопроса о тайных планах и заговоре с целью... опять же неважно какой.

А вот когда с религией порывают, презрительно третируют ее как «опиум народа» и уже с атеистических позиций провозглашают богом евреев деньги и т.п., – тогда-то и превозносится до небес дьявольски соблазнительная и разрушительная идея, бродившая по Европе уже в эпоху Просвещения и четко сформулированная известным выкrestом в пресловутом «десятом тезисе о Фейербахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».

Надо же было додуматься до такого: не разобравшись толком в устройстве этого мира, отказавшись от его «объяснения», приступать сразу к его изменению! Но где здесь иудаизм и при чем тут избранный народ?

Разумеется, как и всем людям, евреям присуще великое множество недостатков и пороков, ибо богоизбранность не тожде-

ственна богоравности. Но на иудеях, даже чисто количественно, висит особый груз: из Моисеева Декалога они должны соблюдать по крайней мере на две заповеди больше, чем христиане, – не делать себе изваяний, не поклоняться им и помнить день субботний. (Можно сказать, что это несущественно – особенно соблюдение именно субботы, а не воскресенья или пятницы. Но вспомним историю с пятым постулатом Евклида... А тут мы имеем дело с «нравственными аксиомами», возможно, решающим образом определяющими моральное лицо и историческую судьбу общества.) Идолопоклонство же имеет прямое отношение к тоталитаризму.

Религиозную систему венчает Бог, мыслимый как совершенное во всех отношениях существо. Отсюда – сила и труднособлюдаемость религиозной морали. Тоталитарную же идеологию, представляющую собой светскую религию, – «возглавляет» человекобог – вождь или фюрер, – который не может быть совершенным по своей природе, хотя его образ предельно лакируется официальной пропагандой (тем более сокрушительно и разрушительно потом падение идола). Поскольку в тоталитарном государстве основой нравственности вынуждена была служить идеология («моральный кодекс строителя коммунизма», писанный циниками-ханжами высокого градуса, не сильно-то «усовершенствовал» Десять заповедей), этический стандарт здесь «освящал» человекобог. А это неизбежно влекло за собой деформацию моральных основ общества.

В самом деле, если человекобог жесток, то его жестокость преподносится уже как твердость, непримиримость к врагам и становится примером, нравственной нормой и идеалом; если он коварен, то это его качество трактуется как гибкость и мудрость; обычное невежество или хамство выдаются за простоту и близость к народу... Короче, как говорил Конфуций, если слова теряют свое значение, люди теряют свою свободу. В итоге естественная (или сверхъестественная?) моральная аксиоматика изменяется до неузнаваемости, этическая аномалия дезориентирует врожденный или традиционный нравственный компас человека, и он не в состоянии отличить добро от зла. Точнее даже, он не видит зла там, где оно есть.

Еще в начале XIX века вокруг проблемы кризиса человека развернулась полемика между Шарлем Фурье и маркизом де Садом.

К концу второй декады XX столетия, после Октябрьской революции, многим уже казалось, что победу одержал фурьеризм и что идея социального переустройства мира на «разумных» началах превратилась из утопии в реальность. Само по себе это было иллюзией, да и «реванш» не заставил себя долго ждать, и в 1933 году явился во всем своем ужасающем виде де-садовский «человек-монстр», претендующий стать «сверхчеловеком».

Но его раздражала и смущала мудрая, скептическая усмешка живущего рядом старика, который помнил и строительство Вавилонской башни, и крах великих, казавшихся вечными империй... И тогда человек-монстр объявил христианство частью еврейского заговора, совесть – изобретением евреев, а самого старика – своим смертельным врагом.

«Преодоление» иудео-христианской морали привело в действие самые глубинные, темные силы бессознательного, высвободило первобытные инстинкты. Общество было отброшено к уровню тотемной группы, а цивилизованный человек в историческое мгновение обратился в сапиентного дикаря. И произошло отцеубийство невиданного и немыслимого масштаба – геноцид народа-патриарха.

Как же так? Когда-то, в незапамятные времена, ангел Всевышнего отвел руку Авраама, занесенную над Исааком. Почему же не была отведена от еврейского народа рука обезумевшего нацистского палача? Отец не должен убивать сына, а «сын» может убить «отца»? Эдипов комплекс? Попытаемся «развернуть» изложенную выше схему.

Интересный факт был подмечен Станиславом Лемом в его статье «Провокация» (это – квазирецензия на вымышленную книгу несуществующего немецкого философа Хорста Асперникуса «Геноцид»): по прошествии десятилетий после Холокоста так и «не появились воспоминания палачей, которые – пусть бы и анонимно – описывали свои ощущения». Лем объясняет это «абсолютное молчание» по-своему – «равнодушием актера к давно отыгранной роли».

Уточним: один «мемуар палача» все же был опубликован – в 1949 году, то есть за тридцать лет до появления «Провокации» С.Лема. Автор «воспоминаний» был... Хорхе Луис Борхес. Герой его новеллы «Deutsches Requiem» – некий Отто Дитрих цур Линде, заместитель начальника концлагеря, – в исповеди перед

казню пишет об одной из своих жертв, еврейском поэте Давиде Иерусалеме: «Не знаю, понял ли Иерусалем, что я убил его, чтобы убить в себе жалость. Для меня он не был ни человеком, ни даже евреем; он стал символом всего, что я ненавидел в своей душе. Я пережил вместе с ним агонию, я умер вместе с ним, я в каком-то смысле погубил себя вместе с ним; так я сделался неуязвимым».

Что ж, вероятно и версия С.Лема приемлема, когда приходится объяснять необъяснимое. Но зададимся другим вопросом, памятуя о борхесовской мистификации: а что, собственно, палачи вообще могли ощущать и что могли вспомнить? О чем и на каком из человеческих языков они могли написать свои воспоминания? (Ведь до сих пор даже ни один самоубийца не смог внятно объяснить причин суицидального акта.) Не исключено, что ими двигал страх; но это был вовсе не страх перед бесчеловечностью режима (эта бесчеловечность ими же самими и создавалась), это был непреодолимый и неопишуемый ужас, прущий из самых темных закоулков подсознания и порождавший восторг убийства.

Более полувека назад на иерусалимском судебном процессе давал свои показания Адольф Эйхман, в 2000 году были опубликованы его дневники... Ну и что мы из них почерпнули? Заглянули в inferнальные глубины души этого злодея? Раскрыли какую-то ужасную его тайну? Да ничего подобного! «Отчет о проделанной работе», рассуждения бухгалтера, жалкие попытки оправдаться – и никаких «ощущений». Рутинная, обыденность и пошлость которой была поражена еще Ханна Арендт («Банальность зла»).

Сами по себе «будни» Катастрофы жутки – они способны поставить на грань безумия впервые узнавшего о них нормального человека своей запредельной бесчеловечностью. Так что же защищало души этих нелюдей от самоиспепеляющего огня совести? Что сделало их, наподобие борхесовского цур Линде, «неуязвимыми»?

Сговор! Если так можно выразиться, за спиной «Я» полюбовно договорились между собой «Оно» и «Сверх-Я». Хотя, по Фрейду, «Сверх-Я» и царит над «Я» как совесть или бессознательное чувство вины, по своему содержанию «Сверх-Я» все же оказывается близким и родственным «Оно», так как является «наследником эдипова комплекса и, следовательно, выражением самых мощных движений Оно и самых важных либидных судеб его» (З.Фрейд. «Я и Оно»).

Замечательную родственную связь в генезисе двух величайших мифов XX столетия, о которых уже говорилось, увидел В.Н.Муравьев. В 1918 году в своей статье «Рев племени», вошедшей в известный сборник «Из глубины», он писал, что самым последовательным выражением современной нерелигиозной культуры является «в области духовной – русская интеллигентская настроенность, в области же материальной – германский милитаризм». «На одной стороне, – продолжал русский публицист, – стоит религия – историческая действительность, на другой – отвлеченная мысль, одинаково гибельная и разрушительная, воплощается ли она в виде завоеваний социальной революции или всемирной военной империи».

В то время «Протоколы сионских мудрецов», состряпанные совместными усилиями черносотенцев и царской охраны (не стеснявшимися в средствах, как и их политические антиподы из левозэкстремистского лагеря), – готовились к своему триумфальному шествию по Германии. Обмен «духовными ценностями» состоялся: в благодарность за «научный социализм», Россия осыпала Веймарскую республику библией юдофобов.

Между прочим, в самой Германии опасные последствия игры с моралью, по-видимому, предчувствовал Макс Вебер. Он предупреждал, что абсолютная этика – «это не фиакр, который можно остановить в любой момент, чтобы войти и выйти по своему усмотрению». (Более чем через тридцать лет, в 1952 году, Мартин Бубер показал, насколько неправомерен и даже опасен «одномерный» – только философский или только политический, безрелигиозный подход к фундаментальным нравственным вопросам. В своей работе «Затмение Бога» он подчеркивал, что «возможность паулинистского преодоления Закона выпадает на долю только того, кто в состоянии на место совести поставить душу, а на это способны очень немногие».)

Необходимо добавить, что именно М.Вебер рискованно поставил «ребром» и проблему соотношения «этики убеждения» и «этики ответственности», не подозревая, вероятно, насколько «окончательным» будет ее решение. И вот Гиммлер, выступая перед высшими офицерами СС в октябре 1943 года, заявил: «Сейчас речь идет о депортации и об истреблении еврейской нации. Звучит это просто: «Евреи будут уничтожены». И далее: «Большинство присутствующих здесь знает, что это такое – видеть 100

или 500, или 1000 уложенных в ряд трупов. Суметь выдержать это – за исключением отдельных случаев человеческой слабости, – и сохранить в себе порядочность – вот испытание, которое закалило нас. Это славная неписанная страница нашей истории...»

Как бы дико ни выглядела эта риторика людоеда на тему порядочности и человеческих слабостей, она, надо признать, не выходит за рамки «этики ответственности». Внушенная фюрером загипнотизированной толпе, эта «этика» и стала для большинства немцев «высшим существом», «Идеалом-Я», воцарившимся над «Я», и, через голову последнего, разнуздала «Оно», вызвав массовую регрессию.

В конце концов, под грохот пушек и свист авиабомб союзных армий, гипноз рассеялся, миллионы евреев – свидетелей и жертв регрессии – легли в землю или обратились в пепел, многие их палачи еще доживают свой некороткий век, словно бы ничего и не произошло, а в благополучных демократических государствах некоторые интеллектуалы – любители статистики – от скуки или из чисто спортивного интереса с азартом занимаются решением сугубо научного, принципиального вопроса: сколько же миллионов европейских евреев было уничтожено – шесть или всего-навсего четыре с половиной? Воистину, Бог придумал качество, а дьявол – количество...

О странной покорности жертв Холокоста своим мучителям немало говорилось – с недоумением, удивлением, даже презрением. Как же! Не могли себя защитить, утратили инстинкт самосохранения. Да мы бы, сейчас... Массовое участие евреев во Второй мировой войне, в армиях стран антигитлеровской коалиции, в движении Сопротивления и партизанских отрядах, даже восстания в гетто – не могут «компенсировать» ту самую покорность. Явление это – совершенно иного качества, потому что 1,5 млн евреев с оружием в руках сражались не столько за себя и свой народ, сколько боролись за общее для человечества дело.

Покорность жертв нуждается не в опровержении или оправдании, а в понимании. Неужели у кого-нибудь хватит смелости упрекнуть в чем-то полтора миллиона еврейских ребятишек, не сознававших, что происходит, даже когда их убивали? И смог ли бы потом взглянуть в зеркало Януш Корчак, если бы он выпустил из своей руки чью-то детскую ручонку и остался на перроне вокзала в роли провожающего поезд смерти, что и предлагал ему сде-

лать начитанный немецкий офицер в припадке нацистской доброты?

Не соглашусь с Айзеком Азимовым, который в своем «Камешке в небе» (1950) постоянно подчеркивал: «фанатизм никогда не односторонен», «ненависть плодит ненависть». По-моему, в ксенофобии вообще, в антисемитизме – в частности отсутствует «адекватная» взаимность; не действует в обществе третий закон Ньютона. Не могу забыть лица еврейской старушки с фотографии «Селекция» в Яд ва-Шеме. В ее взгляде нет ни страха, ни ненависти, ни брезгливости – никакой позы, никакого аффекта. Легкий укор, чуть смущенная улыбка. Так смотрит на нашкодившего внука его бабушка. А ведь эта старая женщина смотрела в лицо смерти.

И стало мне ясно, что не могли они, евреи, вдруг отчаяться, ожесточиться и завывать по-волчьи только потому, что взбесился один из цивилизованных европейских народов, – не станет нормальный человек уподобляться пациенту психдиспансера, не будет обижаться на него, что бы тот ни вытворял. За плечами одного – сорок веков иудейской культуры, за спиной другого – ранец из телячьей кожи, а в нем – «Майн кампф».

Как повествует Агада, в эпоху Второго Храма, в дни праздника Суккот, приносили евреи жертву из семидесяти волов за благоденствие всех семидесяти народов Земли. И псалмопевец говорил: «За любовь мою они враждуют против меня, а я молюсь» (Пс. 109:4)...

Гипотеза вторая: брат.

Сколько в библейской истории примеров «братской ненависти»! Каин убивает Авеля, Исав соперничает с Иаковом, а Иосиф – с остальными своими братьями, по приказу Соломона убивают его брата Адонию... Не лучше обстоят дела в мифологии. Тесей боролся с пятьюдесятью своими двоюродными братьями – Паллантидами – и перебил их всех до одного, устроив им засаду. В близнечных же мифах соперничество между братьями начинается с самого их рождения, а заканчивается иногда, как в известной всем легенде о Ромуле и Реме.

Известный криминолог, профессор Шломо Шохам писал о «комплексе Исаака» – подсознательной исторической склонности евреев к жертвенности. Да, Бог подверг Авраама тяжкому испытанию, потребовав принести Ему в жертву сына Исаака... Попробуем вернуться по Библии на полтора десятка лет назад от этого события.

Служанка Сары Агарь родила Аврааму сына Измаила. Но через несколько лет, после вмешательства горних сил, у Сары и Авраама родился Исаак. Разгневанная высокомерием Агари и насмешками Измаила над братом, Сара потребовала изгнания египтянки и ее сына, чтобы он не наследовал вместе с Исааком.

«И показалось это весьма прискорбно Аврааму по поводу сына его. И сказал Всесильный Аврааму: «Пусть не покажется это тебе прискорбным ради отрока твоего и служанки твоей; все, что Сара тебе скажет, слушайся голоса ее, ибо в Ицхакке наречется тебе род. Но и от сына служанки – народ произведу Я из него, ибо он потомок твой» (Брейшит, 21:11-13). И Авраам «отослал» Агарь с Измаилом.

Итак, из-за своего младшего сына, ставшего прародителем еврейского народа, по настоянию его матери и с санкции Всевышнего, отец изгоняет старшего сына, положившего начало народу арабскому. Не эта ли запечатленная в Торе душевная травма, нанесенная сыну египтянки Агари в те комплексогенные времена, и стала первопричиной «комплекса Измаила», основанного на архетипе обиженного брата и проявляющегося в юдофобии, некоем социальном безумии? (Установление Юнгом причинно-следственных связей между архетипами и безумием Михаил Евзлин в своей книге «Космогония и ритуал» назвал одним из выдающихся современных открытий.)

Уместно возражение: архетип обиженного брата как-то объясняет только арабскую юдофобию, потому что именно арабы выводят свой род от Измаила (предание о том, что Измаил и его мать похоронены в Мекке, под черным камнем Кааба, величайшей святыней ислама, записано в Коране). Но, во-первых, не будем забывать причудливо тасуемую «колоду карт», о которой говорил один булгаковский персонаж. Не отдаленным ли зовом крови были навеяны проникновенные строки поэта-хлыста Николая Клюева:

«Есть Россия в багдадском монисте
С бедуинским изломом бровей...»?

Во-вторых, генерализации «комплекса Измаила» в модифицированной форме, по-видимому, способствовало распространение христианства. Своенравный народ, не пожелавший признать Бога в Иисусе и оставшийся верным религии Отца, не лишился тем не

менее своего статуса богоизбранности. Ведь и апостол Павел учил, что «весь Израиль спасется»; Господь по-прежнему любит иудеев, так как дал обещание их отцам, а «дары и призвание Божие непреложны» (Римл., 11:26, 29). Так «комплекс Измаила», усиленный «ревностью» теперь уже к брату старшему, зафиксировался и в коллективном бессознательном христианских народов. Показательно, что даже господин Свидригайлов, перед тем как свести счеты с жизнью, обращается со словом «брат» к еврею-пожарнику (на неслучайность, знаковую эту сцену из «Преступления и наказания» обратил внимание А.Воронель в своем эссе «Смердяков – философ современности»).

Наконец, далеко не все неевреи, в том числе и среди арабов, – юдофобы. Можно предположить далее, что индивидуальную склонность к антисемитизму проявляют главным образом те, кто пережил в семье подобную драму (конфликт с братом), или же творческие личности, сознание которых, по Юнгу, «затоплено» архетипическими материалами. Из «списка Шафаревича» к первым можно отнести, например, Петра Великого (хорошо известно об его соперничестве с братом Иоанном), а ко вторым – Р.Вагнера.

Поможет ли в данном социально-клиническом случае юдофобского невроза достигнуть терапевтического эффекта известный психоаналитический прием – доведение до сознания травмировавшего воспоминания, – сказать трудно. Скорее всего, нет: миф есть миф, и комплексы воспроизводятся в каждом новом поколении. Метод катарсиса, на который уповал еще Аристотель, – трагедия как средство духовного очищения, даже в виде реального исторического события, Катастрофы, – здесь также оказался, увы, бессильным.

Несмотря на это, хочется верить, что не поддающиеся счету жертвы, которыми XX век заплатил за настойчивые попытки «улучшить» социальное устройство и человеческую породу, не были напрасными: ведь в конце концов история убедительно продемонстрировала, как писал С.Л.Франк, «непреодолимое упорство мира, в котором обнаруживается его сверхчеловеческое происхождение».

Яков Нелькин

ТУПАЯ ИГЛА

Понятие “элита” утверждает ответственность за совершенствование видов Природы: отборные семена растений, лучшие особи животных для дальнейшей селекции, – а также особо преданные войска императора, полководца, народа. В развитии человечества элита – его социальный вектор, передовая идея, игла нити разума, острое хода истории.

Явление «элита» – древнейшее во Вселенной: поиск пути развития.

.... Бенгальский разрыв космических связей, державших Вселенную в плотном центре, разом послал в разлет все ее свехнагретое содержание в вечно-голодную пустоту – во всех направлениях пространственного угла в 360 градусов.

Миллионы лет первичного остывания и замедления вселенской сути образовали материал созидательных скоростей с зачатками будущих предчастиц.

Объединения предчастиц в атомы, молекулы, в группы молекул, открытые соударениям, соединениям, разъединениям многовариантного Вселенского множества обогащают его движение вечным поиском аномалий в стандартных комбинациях вещества и проверкой обещающих условий его строения.

По ходу сотен миллионов лет состав обретает способность поднимать и поддерживать информационные вспышки и сочетания физических свойств – прогрессию технологической активности всего материала – основу его будущих живых и технических объединений.

Очень возможно, что мы, земляне – единственные реально живые хранители жизнотворящей активности Космоса.

Наш Разум – двоит: заставляя виды обеспечивать «жизнь-сейчас», он изучает и дальние, перспективные Природные установки.

Инстинкт лесной белки – корм каждый день – и орехи на зиму. Белку ограбить, орехи украсть – почти наверно убить семью.

Разум и долг Элиты – обеспечение семьи на сегодня – но так же и курс человечества завтра. Со-трудничество с Природой – единственный здравый способ найти свое место в ней. Наша сила Природу не повернет: слишком силы-то не равны. Но силы народа хватит вымертвить курс народа – почти наверно убив его. Все канувшие народы, включая и Филистимский, пытались раскручивать курс Природы. И все свернулись в тупик развития.

Природа не лжет – и не принимает лжи.

Элитой (руководством) Египетского исхода Бог назначил Моше и Аарона. Ведя свой народ через быт пустыни, зной, голод, жажду, нужду, работу и войны, Элита решала и практическую, и философскую сверхзадачи: подъем своего народа из униженности рабского угнетения – к независимости свободного духа. Элита Бога стояла выше лично выгодных или вне-Природных путей. Удар посоха по скале был тяжело наказан.

Жизнь значительно осложнилась с тех пор, увеличилась масса занятий, вещей и путей принятия гражданских решений. Многие из них так масштабны, что чересильны ленивому человеку. И мы зовем: «Приди править нами». Профессиональная Элита приходит, привлеченная должностями, званиями, положением в иерархии – и доходами. Передача работы гражданской мысли от нашей с Природой – Элите – утрата гражданской свободы нации. Наемная Элита постановляет: то хорошо народу, что хорошо Элите. Не нам обижаться, что вслед за нею нас давят идеями Пан Ги Муна.

Материально Элита требует массы народных средств. Но ответ за ее работу возложен безвыборно на народ, – на граждан его, на грузку несущих: на семьи Биби Раз, Фогель, Козэн.... кровью, жизнью своих детей исправляющих бред Элиты. Неписанное задание Космоса требует от людей службы совсем не своим Элитам, не их противо-Природной политике, – а выполнению задач поколений, честному союзу мыслителя и работника с Землей и Природой Вселенной.

Способные думать сами, мы наняли холуев, не отвечающих лично за свои ограниченность, лень и глупость – такие же, как у нас.

Заставляя Природу Земли работать за пределом ее естественных ограничений, Элиты стран пытаются превзойти экологическую емкость планеты, – ответственность за насилие на себя не беря.

Лавинный рост преобразующей мир технологии концентрирует в руках современного индустриального человека процессы глобальной силы. Сама физическая устойчивость нашей Земли (то есть всемирная жизнь человека и уникальной Земной Природы) поставлены в моментальную зависимость от решений элитных руководителей мира. ОК, сегодня разумны их пан ги муны. Но Вселенская ответственность человечества за соблюдение плана Бога – вопрос уж никак не личный.

Взгляните в «YouTube прогресс новых способов уничтожения человека на пути к совершенному взрыву всей нашей планеты разом, – и вы усомнитесь в самой идее человеческой «службы Богу».

Политики государств уже видят расхождение целей земных Элит со Вселенским преназначением жизни. И хотя предназначение наше нам заранее неизвестно, но ясно, что в пару миллиардов лет после отделения Земли от Солнца ее развитие отвечало гиперболическому нарастанию числа и качества ее живых видов. Так шло до самого последнего времени. Однако в нашем миллионлети (6 – 3 последних нулей летоисчисления) в земной биомассе вспыхнул людской размышляющий разум. Его работа ускорила и углубила направленную эксплуатацию сил Природы – и запустила наше столетие взрывного роста численности и власти человека как вида. Разум и власть человека сжали столетие в десятилетия концентрации мощи, за которыми светят годы, переходящие в месяцы. Не стал бы для нас такой темп – концом, – мы не поспеваем глобально думать.

Миром правят концепции – системы взглядов влиятельных идеологов. Часто лживых.

Как узнать, что «Элита» лжет, если она себе и судья?

Правдивый судья Элиты – не она, а ее народ. И вот простая оценка работы Элиты: чем уже (от «узкий») остаток паразитизма в народе, тем успешнее работа Элиты – тем выше стоит ее ценить. Но и обратное тоже реально: один идеолог в преддверии Осло подхватил и пропел распространенный популистский куплет: «террор нельзя победить силой. Соглашению (с террористами) нет альтернативы».

Ложь началась с пересмотра фактов истории и указала Элитам мира, что безоговорочная капитуляция Германии во 2МВ была не решительной альтернативой террору, военной силой человечества принужденному прекратить свои действия на всех мировых фронтах, а... Так чем же она была, гермнская капитуляция?

Объявленная цель соглашения Осло – достижение мира на Ближнем Востоке – но не возвратом к Природной правде, а признанием самозванного Филистимского государства. Путь достижения соглашения, приемлемый для мировых Элит, – травля Израиля террором и провокациями при игнорировании вражды Ислама к режиму Элиты Запада. Способ достижения соглашения – взятка арабам Изрнаиля в виде Филистимского государства за счет Израиля. Тактика, ясная для Элит, – ложь о растущем единстве с террором методом частых уступок террору.

Наемная Элита Израиля, к 1992 году уже одряхлевшая и духовно усохшая, радостно ухватилась за «Соглашение» как за отставку своей отставки. Мир идиотов мира (в греческом понимании «идиот» – обыватель, уходящий от личной борьбы за свои права, но ожидающий их защиты) глотнул свою дозу социального равнодушия – и топкий, фальшивый «мирный процесс» потянул свою кровавую повседневность по нобелевской руководящей указке – к нам, на Восток, – в Израиль.

Мировые Элиты Осло вынудили Израиль вживаться в либеральные разговоры «о мире». Их ложь, тысячекратно всучаемая ПА как наука, годами осела в его сознании как законная опора провокациям и террору арабов против Израиля.

Террор – преступность как в международном его влиянии на политику, так и во внутренних связях страны.

Преступность Осло, допущенная мировым политическим коллективом без напряжения ответственной мысли, – пустым наветом тупой толпы. Навет создает что-то вроде касты, «морально» ограждающей «осторожных». Находясь вне ограды клана – вы один против всех внутри. Будь вы хоть трижды законно правы, вы «отщепенец», вы – против толпы. Толпа безмысленно – против вас.

И вас, отпавшего от коллектива, ложь клана гонит в ревизию национальной морали, в умственное помрачение и в анархию. Деловой инструмент террора – паразитизм. Попутный труду народа, он молча истощает народные силы, запасы, авторитет. Ржавчина

затягивает оси народного творчества, отравляет мораль страны и способность к защите граждан.

Осло стало представительным кланом, легко сколотившим «дело»: «Ближний Восток». Осталось пошить его на миру. Но ... разрывы природной логики Элиты могли затягивать только привычной взяткой. Плательщиком был назначен Израиль (как виноватый всегда во всем). Он оказался обязан платить судьбою, достоинством, кровью граждан и территорией своей родины – и «жестами доброй воли» убеждать арабов в прочности их исторической лжи – и приучать к «культуре».

В безумном международном давлении вам нужен весь ваш иудаизм, чтобы хранить направление острия иглы нации – к целям Вселенной, не ведающей национальностей.

ПА и не думала прекращать свой террор, – мир превратил его в прекрасно оплачиваемую профессию. Антисемиты охотно вносили и вносят на счет ПА недостижимые ее трудом суммы – не жалея на «святую» травлю евреев. Мир с одобрением наблюдал за отнятием у евреев земли их родины и возможности самозащиты, полагаясь на силы Ислама, наступавшего спокойно, уверенно, устремленно и нагло.

Тем временем Всемирные мирные шествия и “стол мирных переговоров” легализаторов терроризма расширили еврейский террор в европейский, в мировой, в правовой, в международный – и в постоянное средство вытеснения еврейского государства – Исламом.

Израиль, понимая свое одиночество в такой «справедливой» касте, вооружался, усиливался технически, экономически и идейно, изучал историю и вел борьбу за свою свободу – с ощутимым отпором, внеисторично осуждаемым ООН и миром.

Путь казался Элитам безопасным и, значит, правильным.

В 2015-16 годах атаки террора и лжи на Израиль стали культурным людям заметно омерзевать, а концентрация лицемерия оказала допинговое воздействие на Ислам.

И оказалось: Исламу мало захвата еврейского места в мире – и тяжело оно достается. И лучше Исламу отвратить Европу, ее объятия новой дружбы. Ислам и бросил свой “Drang nah Western” на Европу и другие не-исламские страны.

Беззащитность либеральных правительств атакованных государств уступила Исламу его позицию паразита на теле поражен-

ных им стран и народов. Разрушитель тяжело завоеванной миром культуры и противник цивилизации мира, Ислам поучающе пролил свет на святость планов Пророка: в «Доме мира» он уже подчинил себе население, в «Доме войны» – в наши дни подчинит.

Оба мирные «Дома» – и христианский мир, и Ислам, – претендуют на власть в Европе, европейцы – по праву создателей европейских слоев культуры, Ислам прав нет, остается – террор.

Террор – замена любым правам. Террор – констатация: мы захватили. Мы здесь хозяева. Вы же – люди Исламом подчиняемых государств. Джихад (если будет надо) развернет террористическую Мировую войну для обезглавливания всех тех, кто еще ищет свою свободу.

Итак, «тяжело завоеванной миром культуре» остается служить джихаду.

Вот, видим Европу в руках Ислама. Нет, не военный свершился захват, – «война» некрасивое слово. Оно не признано, не осознано ни мирной Элитой Запада, ни мирным (пока) напором Ислама. И хозяин, и паразит охотно общаются: «Дай нам права Ислама, согласен ты или нет!» – прорезает атмосферу Европы. Европа дает – и Ислам ведет освоение европейских территорий и законов при развитии разрыве сторон в две тысячи лет. Разрыв усиливает Исламскую сторону: согласен ты или нет, но вид тканей твоей страны вскрытыми пожиранию и выделениям паразита «мирно высвобождает» пораженные территории для Ислама.

Не защищая своей страны, не ожидай, Идиот, свободы. Ты просто не выгнан пока с континента. Поскольку Ислам пока не спешит.

И если в предвоенные годы мировая Элита десятком дивизий могла отвратить 2МВ с ее 100 миллионами жертв, то 80 лет не прибавили Элитам ни интеллигентности, ни ответственности за ведомых: рабство культуры во лжи «Мир сегодня!» (оплаченное Элитой Востока – Элите Запада) привлекательнее для обеих Элит, чем предотвращение миллиарда погибших в 3МВ.

Некоторые выводы из ситуации что ни день, то яснее:

История человека – вечный исход к свободе и восхождение к общей с Природой цели.

Еврейская страна и свобода – еврейское неделимое достояние, непорочимое никакой наемной Элите.

Террор – форма попрания народного права. Ни передача террора в его же руки, ни чей бы то ни было паразитизм – не союзники ни творящей Природе, ни творящему человеку.

Чем Запад покорней берет по морде, тем интенсивнее прет террор на ослабевающий Запад.

Задача Элиты – развитие народного разума и достоинства. Элита, которая не: – не социальный вектор, не создающая мировая идея, не направление подъема своей страны – она не Элита.

Живой народ презирует убогий ум – и не пойдет за тупой иглой.

Эдуард Бормашенко

У ЕДИНИЦЫ

“Отсутствующего – не исчислить”

Козлет, 1, 15.

*“Но посредством чего происходит различение?
Разве считают не с помощью единицы?”*

Н. Кузанский, “Простец о мудрости”.

“Единица – вздор, единица – ноль” писал пораженный кромешной метафизической глухотой Маяковский. Техническая изощренность у Владимира Владимировича органично дополнялось философской тупостью. Единица – не ноль, и совсем даже не ноль, единица – все. Кронекер говорил: “Г-сподь сотворил натуральный ряд, все остальное дело рук человеческих”. А натуральный ряд вырастает именно на единице, последовательным прибавлением все тех же единиц.

А. Воронель то ли в разговоре, то ли в переписке со мной обронил: “единица отделила порядок от хаоса”. Эта мысль гения достойна того, чтобы ее развернули. В физике мера порядка – энтропия, она же, по совместительству, – информация, и единицей ее измерения служит один бит, то есть опять же единица, единица порядка. Перед нами пример столь любимой Мерабом Мамардашвили философской тавтологии: единица есть единица. Если верить Мерабу Константиновичу, самые существенные положения философии – тавтологичны.

Порядок отличается от хаоса, тем, что в нем возможно различие, а различаем мы, как заметил Николай Кузанский, “при помощи единицы”. Итак, в основе всего – единица. Единица – единственное, чего нельзя придумать, она предшествует нашему сознанию, знанию о мире и самому миру. Ей же самой не предшествует ничто (но, может быть, предшествует ничто, ноль). Исчислимое – упорядочиваемо, отсутствующего не исчислить, не исчислимое – не существует, подобно парменидову небытию.

Поразительна способность единицы порождать прилагательные: единичный, одинокий, одиночный, единственный, уединенный, соединенный, объединенный. Но корень порядкового числительного “первый” – иной; сходное различие корней имеем в иврите, английском. Язык намекает на принципиальную разницу между обычными (кардинальными) и порядковыми (ординальными) числительными, ставшую столь явной лишь в двадцатом веке, в связи с парадоксами теории множеств.

В иврите истина, “эмэт” не имеет множественного числа. Истина – едина.

Знак единицы – вертикальная черта, у которой начинается и заканчивается понимание; чертова черта. Мы говорим ни черта не понимаю, скорее: ни черты. Начертания цифр эволюционировали во времени. Древние символы цифр совершенно не похожи на привычные, современные, стилизованные индийские. Не менялся только знак единицы – вертикальная черта, он назойливо повторяется в египетской, вавилонской, финикийской, сирийской, палмирской, греческой, сирийской, китайской, римской графиках. Однако символ единицы у евреев – алеф. Неравнодушный к “алефу” Борхес полагал, что в нем содержится все, “алеф” – символ полноты универсума.

Лейбниц в “Новых опытах” пишет: “числовые идеи более точны и различимы одна из другой, чем идеи протяжения, в которых не

так легко подметить и измерить всякое равенство, ибо в пространстве наша мысль не может найти определенной малой величины, подобной единице среди чисел, за пределы которой идти нельзя”.

Итак единица – первокирпичик, первичный атом математики, она непосредственно ясна и предельна понятна. Но, что же она такое, единица? В Большом Энциклопедическом Словаре “Математика”, составленном людьми вполне компетентными: А. Н. Колмогоровым, А. Д. Александровым, С. П. Новиковым, читаем: “единица – наименьшее из натуральных чисел”, мало того что это определение непредикативно, иначе говоря, единица определяется через другие числа, так ведь, вдобавок, единица определяется через натуральный ряд, хотя ожидаемо прямо противоположное: натуральный ряд следовало бы определить через единицу. Это знал уже Николай Кузанский: “разве единица, взятая единожды не есть один, а единица взятая дважды, – два, и единица, взятая трижды, три, и так далее? ... Итак, всякое число бывает благодаря единице” (“Простец о мудрости”). Трудность с определением единицы – не единична, наиболее ясные, первичные понятия, – трудно или вовсе неопределимы.

Мы не твердо знаем, что представляет собою единица, но ловко управляемся со счетом. Таков путь всякого познания, упаковывая непонимание в первичные понятия, мы бодро движемся дальше, скользя по фундаментальным проблемам, и оправдывая поверхностность несомненным успехом. Потом глубинное непонимание даст о себе знать, но это же, – потом.

Герман Вейль определяет единицу так: “существует единственное число 1, такое, что для него нельзя найти числа, за которым оно непосредственно следует; но для любого другого числа, отличного от 1, существует одно и только одно такое число” (“Континуум”). Заметьте, что определение Вейлем единицы “отрицательное”, апофатическое, “единица” задана тем, что предшественника у нее нет.

Загадочна сентенция, приписываемая Платоном Пармениду: “Следовательно, если существует одно, существует и число” (перевод Н. Н. Томасова). В переводе В. В. Библихина: “если существует единое, существует и число”. Между этими трактовками – пропасть. Но, может быть, этот фрагмент следует понимать так: если существует единое, то существует и единица, а если существует единица, то в нашем распоряжении и натуральный ряд, числа, а если так, то мир познаваем и потому переносим, ибо: “жизнь людей нуждается очень и в расчете, и в числе, мы живем числом с расчетом: вот ведь, что спасает людей” (Эпихарм, “Фрагменты ранних греческих философов”).

Не будем забывать о том, что греки не знали континуума, и замирали в ужасе перед несоизмеримыми отрезками, быть может, полагая, что непрерывное может быть познано лишь непрерывным же сознанием. И сегодня мы не знаем: дискретен окружающий нас мир, “мир в себе”, или непрерывен. Но мир “для нас”, текущий в нас, будучи расчлененным на биты информации; мир, построенный из единиц, органично опрокидывается в наше сознание, ибо акты сознания, по-видимому, дискретны (М. Мамардашвили, А. Пятигорский, “Символ и сознание”).

Единица оказывается значима в теории вероятностей, там, где ее меньше всего ждешь. Я бросаю монету, если она вполне симметрична, то вероятность упасть “орлом” – половина, “решкой” – опять же половина, в сумме – единица. Если центр тяжести монеты смещен, возможно иное распределение вероятностей, но в сумме они непременно дадут единицу. Единица в теории вероятностей – знак свершившегося события. Через теорию вероятностей, сделав сальто назад, единица возвращается в квантовую механику, в условия нормировки волновой функции. Квантовой частице, будучи размазанной в пространстве, все-таки приходится где-нибудь да находиться; ну, хотя бы распластаться во всем пространстве Вселенной.

Оконфузившаяся “Физика” Аристотеля приучает нас относиться к Философу запанибрата, и совершенно напрасно. В “Физике” Ари-

стотеля можно встретить прозрения совершенно изумительные. Например, рассуждение Аристотеля о времени: “таким образом, время не есть движение, но является им постольку, поскольку движение включает в себе число. Доказательством этому служит то, что большее или меньшее мы оцениваем числом, движение же, большее или меньшее, – временем, следовательно, время есть некоторое число”. А число, как мы знаем, покоится на единице. Следовательно, время замкнуто на единицу. Мы добрались до одного из возможных толкований еврейского символа веры, «Шма Исраэль»; ведь Вс-вышний, тот, кто был, есть и будет, Б-г времени, – один

У Платона: “беспредельное множество отдельных вещей свойств, содержащихся в них, неизбежно делает также беспредельной и бессмысленной твою мысль, вследствие чего ты не обращаешь внимания ни на какое число” («Филеб»). Итак, число, единица отвечают за смысл. Это вполне естественно, ибо единица превращает хаос в Космос.

Денис Соболев

«ЗАКАТ ГУМАНИЗМА» И ЛИТЕРАТУРА СЕГОДНЯ

Мы обнаруживаем себя в новой культурной ситуации; можно было бы даже сказать, в новой ситуации существования. Судя по всему, выражение «обнаруживаем себя», прочитанное буквально, и есть наиболее точная характеристика тех изменений, которые с нами происходят, а если попытаться сформулировать то же самое еще точнее, хотя и с нарушением привычных грамматических норм – тех изменений, которые «происходят нами». Иначе говоря, мы являемся не только объектом этих изменений, но – вольно, а еще чаще невольно – самой средой, в которой эти изменения происходят и становятся видимыми и ощутимыми. В этом смысле, все мы – медиумы того мира, чей пульс уже проникает во все сферы повседневности, но чьи общие контуры мы только начинаем различать. Но, пожалуй, в том-то и дело, что – говоря на более формальном языке – границы между традиционным и новым, привычкой и трансгрессией, возможным и действительным, когницией и технологией если и не исчезли, то изменили свои контуры, свой смысл, свое отношение к миру повседневных явлений и поведения. Все эти изменения нам еще только предстоит попытаться осмыслить. Подобное их осмысление не только может занять годы, но его результаты могут к тому времени оказаться уже принципиально устаревшими по отношению к тому миру, который будет на тот момент существовать.

Оглядываясь вокруг себя дома или на работе, не только поколение, родившееся в тридцатые, но и поколение, родившееся в семидесятые, находит не так уж и много вещей, из числа тех, которые окружали его в детстве – пожалуй, за исключением мебели. Большая часть этих предметов уже скорее декоративна, нежели функциональна в повседневном смысле, а многие из них и просто

пылятся по углам. Некоторые из нас так или иначе причастны как к становлению этих радикальных изменений в культуре и среде человеческого существования, так и их легитимизации – например, становлению интернет-литературы и ее превращению из маргинального явления в огромный культурный пласт – однако и в этом случае осознанные действия отдельного человека могут изменить лишь крайне незначительные элементы в том потоке изменений, объектом, средой и исполнителями которых мы оказались. В каком-то смысле все мы вернулись к состоянию человека средневековья. Несмотря на то, что мы думаем, что понимаем, как устроена вселенная с точки зрения астрофизики, мы уже не понимаем, как устроен непосредственно окружающий нас человеческий мир вокруг. Более того, скорость его изменений такова, что с высокой долей вероятности в ближайшей перспективе темп их осмысления не будет успевать за темпом самих изменений. В этом смысле сюжеты, картинки и высказывания, миллионами повторяющиеся в масс-медиа и социальных сетях, не должны вводить нас в заблуждение. Нам понятен буквальный смысл высказываний в социальных сетях (например, «Я еду в 24-ом автобусе! Какой кайф!» или «министр овощеводства Лапуты – это новый Гитлер. Если какой-то дебил с этим не согласен, то пусть отпишется, и я его отфрендю»), но нам все еще малопонятен как аналитический, так и системный смысл находящихся за этим более глубинных культурных изменений и их фактических последствий.

В этом, пожалуй, и состоит то первое, в чем нам предстоит себе сознаться: мы вернулись к существованию человека в мире, который он очень плохо понимает. Несмотря на экспоненциальное накопление фактических знаний, умножение высокотехнологичных гаджетов и грантов на самые неожиданные исследования, в экзистенциальном смысле эмблемой современного человека является уже не физик-теоретик, и даже не погруженный в себя «лирик», но скорее растерянный всадник, блуждающий по вечернему лесу верхом на еще более растерянном коне. Возможно, с этим связана и одна из основных причин относительно быстрого и радикального перехода массовой культуры от «научной» фантастики к фэнтези. Разумеется, это не самое приятное признание. Более того, на фоне сияющего гламура и ликования современной культуры и иллюзии ее поверхностности, простоты и функциональной

прозрачности, признание подобной сумеречной потерянности является еще и контринтуитивным. И все же необходимость отказаться от технологического и информационного нарциссизма, вероятно, является необходимым предусловием для любых попыток, ставящих своей целью лучше понять, как наше собственное существование в нынешней культурной ситуации, в целом, так и возможности и роль литературы в этой ситуации, в частности.

Влияние этой ситуации на литературу тоже не вполне очевидно. Точнее, достаточно очевиден тот факт, что средний человек гораздо меньше читает, тратит значительное время на всевозможные электронные гаджеты и социальные сети; а еще меньше, как кажется, читает самое младшее из поколений потенциальных читателей, так называемое «поколение Фейсбука». Инстаграм – мода, дополнившая Живой журнал, Фейсбук и Твиттер на еще более позднем этапе и, в первую очередь, среди относительно юных пользователей – почти всецело сводится к рассматриванию картинок и отказу от текстуальной передачи информации. В то же время, вопрос о том, в какой степени эти процессы являются глубинными или поверхностными, в какой степени они носят разрушительный и необратимый характер в отношении традиционной письменной культуры и художественного слова – этот вопрос, как кажется, не подлежит аргументированному ответу на нынешнем этапе. Все это слишком ново и происходит слишком быстро. Полярные ответы на эти вопросы можно обозначить как «мы присутствуем при конце трехтысячелетней письменной культуры» и «если детям хочется раздеваться перед камерой, оставьте их в покое и не лезьте в их дела». Истина, как мы знаем из фильмов про агентов Малдера и Скалли, «находится где-то рядом», но разброс этих возможных ответов столь велик, что знание их, так сказать, пограничных значений мало чем может помочь прояснить проблему.

Что же касается более определенных ответов, то и они, по крайней мере, на первый взгляд, лишь немногим проясняют ситуацию. Когда мы читаем научно-фантастические книги шестидесятых или смотрим фильмы, пытавшиеся представить себе ближайшее будущее, трудно спорить с тем, что мир, который представляли себе их авторы, в целом не состоялся. Мы не летаем в другие галактики, не окружены роботами, не научились изучать за неделю иностранные языки, не достигли всеобщего мира, но и не

вооружены космическими бластерами, бескорыстное стремление к знаниям не стало нормой, а средний человек не стал лучше понимать устройство мироздания. Совсем наоборот, за пределами своих прямых рабочих интересов современный средний человек с трудом владеет и родным языком; он невежественен как в области физики, так и в области поэзии, постоянно занят возней с мобильным телефоном, панически боится остаться наедине с самим собой, а книжные ларьки, в значительной степени, наполнены руководствами как разбогатеть, советами по семейной жизни, книгами по магии и энергетике и, наконец, шарлатанской историографией как националистического, так и либерального толка. В то же время, мы до сих пор не уничтожили друг друга и всю планету и, более того, достигли вполне впечатляющих результатов в некоторых практических и псевдопрактических областях. Одним из жанров «новостей» последних лет стали повторяющиеся рассказы про скорый переход на автомобили, которые не будут требовать водителей, автоматические пылесосы, которые действительно избавят от необходимости убираться, а некоторые европейские страны уже якобы анонсировали скорое появление роботов-проституток. В популярных рассуждениях будущее литературы и гуманитарной мысли обычно обсуждается именно в свете подобного технологического развития.

То, что в данном случае меня интересует во всем этом, это не степень достоверности подобных сообщений, но скорее низкая степень их релевантности для попыток очертить контуры проблемы. Действительно, роботы-пылесосы, безотносительно к степени их практической эффективности, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в фантазиях о будущем не включались в число читателей поэзии. Аналогичным образом, по крайней мере в теории, ловля покемонов с помощью мобильного телефона едва ли может помешать чтению литературы, требующей мысли и внимания, в большей степени, чем, например, охота на лис. Более серьезной и глубокой проблемой мне кажется вызванное этими технологическими изменениями достаточно резкое изменение практик и навыков чтения. Постепенный отказ от бумажных книг и переход на электронные носители плох не только утратой интереса к книге, как объекту, позволяющему приподняться над узкими рамками повседневности и стандартизированного мышления, но, как мне кажется, в первую очередь, благодаря развитию навыков чтения по

диагонали, по ключевым словам, почти автоматической привычке просматривания текста, как если бы этот текст находился на экране даже в тех случаях, когда речь все еще идет о «бумажных» книгах.

Если когда-то в пятидесятые и шестидесятые «литературные произведения» стали постепенно восприниматься в качестве «текстов» в бартовском смысле, то теперь на смену тексту пришел «контент». Пространство такого контента строится вокруг ключевых слов, привлекающих внимание, а остальное заполняется бесформенным словесным наполнителем. Контент больше не ждет от читателя внимательного следования за развитием мысли, чувства или даже просто сюжетных событий, но скорее – восприятия определенной точки зрения, как некоторого точечного высказывания, и некоторого набора предположительно верных фактов. Очень часто абзац является максимальным смысловым объектом, предполагающим последовательное удерживание внимания. С этим, пожалуй, связана более определенная форма неизвестности, неизбежная для литературного письма в настоящий момент: в большинстве случаев, мы не знаем, как наши книги будут читать, что именно выхватит из «текста» читающий по диагонали равнодушный глаз, каким образом удержать концентрацию взгляда и мысли читателя, привыкшего к просмотру ленты Фейсбука, не прибегая к методам детективной или сентиментальной прозы. Часто приходится слышать, что литературе следует принципиально отказаться от попыток говорить с более широким интеллигентным читателем и обращаться только к узким группам, провозгласившим себя «элитарными» и состоящими, главным образом, из людей, которые пишут и сами. Этот подход мне кажется и самообманом, и капитуляцией – в том числе и капитуляцией в смысле отказа от тех целей, которые ставила перед собой традиционная гуманистическая культура, и тех ценностей, которые с ней связаны.

Проблема «заката гуманизма», к которой привела нас довольно извилистая тропинка рассмотрения изменений и темнот современного культурного самосознания, как кажется, возникает в этом контексте не случайно. Значительную часть наиболее общих возможных ответов на вопрос о том, что происходит с современной культурой, можно собрать именно под этим заголовком. Более

того, и само выражение «закат гуманизма» относительно часто встречается в дискурсе современной культуры. Поскольку на протяжении столетий развитие художественной литературы было тесно связано с гуманистическим проектом Нового времени, мне кажется, что и сегодня осмысление места и будущего литературы в нынешнем мире требует более ясного продумывания аргументов, которые могут быть высказаны за и против позиций, описывающих начало двадцать первого века, как время конца традиционного европейского гуманизма.

Вопрос о крахе гуманизма – иногда прямо, чаще косвенно – поднимается сегодня в различных контекстах и ??по отношению к самым разным проблемам. В большинстве случаев, по крайней мере в повседневном интеллигентном дискурсе, обращенном к относительно широкому читателю, мы обычно сталкиваемся с двумя противоположными мнениями. Первое из них утверждает, что мы живем в эпоху, которая отказалась – осознанно или бессознательно, намеренно или вынужденно – от почти всех основных принципов “западного” гуманизма Нового времени и, более того, порвала с этическим и культурным наследием традиционного гуманизма. Говоря об этом, кажется естественным заострить внимание на коммерциализации и овеществлении человеческого существования в постиндустриальном мире, фиксации на инструментальной пользе и профессиональных знаниях, отчуждении личности и внутреннего мира, культе тела как коммерческого объекта, стремлении к подражанию визуальному «гламуру», распространении массовой культуры на все новые области деятельности и социальные группы, поглощении индивидуума виртуальной электронной средой, замене отношений близости и личных встреч разветвленными сетями случайных и поверхностных виртуальных знакомств.

На интуитивном уровне многое может быть высказано в пользу этой позиции и на уровне повседневной фактографии. Журналистские восхваления всего того, что приносит прибыль, публичное отрезание голов, бессудные армейские и полицейские расправы, волны террора и возвращение к коллективным наказаниям, дикие и фантастические новостные сообщения, интеллектуальная деградация общественного дискурса и дальнейшее совершенствование индустрии медиа-сплетен, давно уже невиданный подъем национализма и почти беспрецедентная нена-

висть к интеллигенции, погруженность самой интеллигенции в тиражирование идеологических клише, почти повсеместный отказ от последних «приличий» международного права и ловля покемонов – все это часто вызывает ощущение, что на смену хотя бы теоретической веры в ценность индивидуального человека и его личности, пришло всевластие безличной толпы. В последнее десятилетие в этом контексте все большее место занимает и обсуждение, так называемого, “транс-гуманизма”; а его фантазии о слиянии человека с машиной интерпретируются, как симптом описанной выше ситуации – впрочем, отражающий и совокупность этой ситуации, в целом. Возвращаясь к проблеме художественной литературы, кажется естественным, что в подобной ситуации для вдумчивого чтения Вергилия или Толстого просто не остается места.

В противовес этой точке зрения иногда подчеркивают, что утверждения о крахе гуманизма много раз высказывались и в прошлом, и что эти утверждения сопровождали большую часть истории классического гуманизма. С этой точки зрения, в нынешней ситуации нет практически ничего нового, и она продолжает повторять диалектику гуманистических деклараций, которые не реализуются или лишь частично реализуются на практике, с одной стороны, и обвинений в «предательстве гуманизма», направленных против текущего исторического момента, с другой. Согласно этому подходу, в нынешний период статус гуманизма не претерпел существенных изменений, а утверждения о его крахе не имеют под собой фактического основания и свидетельствуют, скорее, о коллективной истерии тех групп, чей культурный капитал (например, знание Вергилия или Толстого, а не умение писать приложения или ловить покемонов) в данный момент потерял в цене. Я не ставлю перед собой задачу занять чрезмерно однозначную и полностью уверенную в своей правоте позицию между этими двумя крайностями. Вместо этого, мне хотелось бы яснее очертить контуры проблемы и в значительной степени прояснить ее понятийную сторону; как мне кажется, часть разногласий связана с различиями в понимании того, о чем же собственно идет речь. В этом смысле понятийное прояснение, если и не является ответом на вопрос, то, по крайней мере, позволяет поставить его с большей степенью ясности. В дополнение, мне бы хотелось прибегнуть к тому, что в культурологии принято называть «дифферен-

циальным подходом» – иначе говоря, к вопросу «в отличие от чего». Да, согласится сторонник такого подхода, ловить покёмонов с помощью мобильного телефона – действительно не самое интеллектуальное занятие, но в отличие от чего? Просмотра мыльных опер или рекламы, хождения строевым шагом или перетягивания каната, сжигания книг или ведьм?

Использование понятия «гуманизм» в исторически-ориентированном смысле обычно связывается с эпохой Возрождения, французским классицизмом и Просвещением. В то же время, с аналитической точки зрения, это понятие включает два смысла, хотя и взаимосвязанных, но и принципиально разных, как с точки зрения их буквального, так сказать, словарного значения, так и принятых контекстов использования самого термина. Во-первых, речь идет о сознательном обращении к различным традициям античной классики, греческой и римской философии, литературы и скульптуры, обычно за счет частичного отказа от традиций, способов мышления и представлений, связанных с культурой западноевропейского средневековья. При таком переносе акцентов, изменении источников вдохновения и образцов для подражания, древнегреческая и римская культура начинают восприниматься в качестве «гуманистических» в пике «варварскому» средневековью. Несмотря на то, что на протяжении длительного времени подобное использование терминов «гуманизм» и «гуманист» было, вероятно, господствующим, сегодня им пользуются, в основном, историки культуры. И, соответственно, когда мы слышим о «конце гуманизма» в различных сферах и контекстах современной культуры, обычно речь не идет о снижении роли древнегреческой и римской культуры в качестве источника вдохновения и примера для подражания, хотя фактические основания для подобного утверждения несомненно есть. На протяжении всего двадцатого века относительная значимость “классической культуры” действительно постепенно размывалась, и все меньше и меньше образованных людей владели древнегреческим и латынью, хотя бы на уровне, необходимом для чтения несложных текстов. И все же, хотя указание на частичный отказ классического культурного наследия и может усилить утверждение об упадке гуманизма, речь идет не об этом.

Второе значение понятия «гуманизм» в его историческом понимании связано с постепенным переходом от теоцентристского к

антропоцентристскому видению мира, основных экзистенциальных и социальных проблем и вопросов. Об этом понятии гуманизма часто говорят, как о «переносе акцента на человека». Для средневековой культуры характерно стремление выводить ответы на основные вопросы, касающиеся человека и его существования в мире, из Библии, а также из теологических и онтологических соображений более общего характера, касающихся Бога и структуры Вселенной. Эпоха Возрождения и последовавшие за ней многочисленные течения нового времени постепенно переносят фокус рассмотрения на самого человека и человеческое общество; в качестве наглядной метафоры, достаточно вспомнить знаменитый рисунок Леонардо с человеком в центре, обычно называемый «Витрувианский человек». Впрочем, в терминах исторической фактографии, этот процесс был крайне нелинейным. И все же, в целом, это понимание позволяет вернуться к вопросу, который уже задавался выше. Когда сегодня мы слышим об отказе от гуманизма, идет ли речь о тенденции переносить фокус литературного и философского внимания в обратном направлении, с образов человека на онтологические вопросы? Как кажется, нет. Более того, современная культура затоплена образами человека во всех своих проявлениях. Человек в рекламе и в новостях; человек в поисках личного счастья и человек, предположительно занятый саморазвитием; массовое увлечение популярной психологией и психотерапией; человек самовыражающийся и человек голосующий; человек покупающий и человек совокупляющийся; тело как объект обсессивного внимания и технологические новинки в руках человека. Что же касается более общих поисков истины или смысла человеческой жизни, теологических и онтологических размышлений, веры в существование добра и зла, да и просто над-индивидуальных ценностей, более важных, чем личный поиск удовлетворения и решение психологических проблем – все они все больше воспринимаются как архаичные, сомнительные, подозрительные, фантастические, а часто и просто мотивированные скрытыми личными целями.

В свою очередь, большая часть вопросов, связанных с попытками понять устройство Вселенной, передана в относительно узкую компетенцию естественных наук. В современную эпоху культ технологической рациональности эти науки все еще окружены ореолом почти суеверного почтения; однако и это почтение

не является необусловленным – для сохранения своего статуса естественные науки должны были, во-первых, отказаться от попыток повлиять на систему образования таким образом, чтобы их выводы могли быть понятны среднему человеку, и, во-вторых, отказаться от попыток философского осмысления своих выводов. Говоря проще, они могут продолжать заниматься теорией элементарных частиц, но при условии, что это не будет мешать человечеству смотреть по интернету любимые сериалы. В противоположность этому гуманитарные науки подверглись двум принципиальным изменениям. Во-первых, они стали объектом массовой дискредитации со стороны повседневного сознания, медиа, массовой культуры и даже государственных служащих; в большинстве стран обучение этой дискредитации начинается еще в школе. Во-вторых, гуманитарные науки, как правило, стали уделять почти все внимание вопросам, связанным с психологическими и социальными аспектами человеческого существования, как таковыми, изолируя эти вопросы от философской проблематики в ее традиционном смысле. Более того, даже в тех случаях, когда гуманитарные и общественные науки все еще задают вопросы онтологического объема, преобладающей тенденцией являются попытки свести «онтологии» разных периодов и их вопросы к политическим, социальным, экономическим и психологическим реалиям и процессам тех времен. В результате, фантастический, изолированный от мироздания, психологизированный и физиологизированный образ человека разросся до размеров вселенной. А это, в свою очередь, означает, что нынешняя ситуация выглядит скорее, как гиперболизация и радикализация первоначального смысла гуманизма, как антропоцентризма, нежели как отказ от гуманистической традиции или, по крайней мере, ее эксцессов.

Тем не менее, интуитивно мы понимаем, что и это, наверное, не то главное, о чем идет речь, когда разговор заходит о проблеме гуманизма в настоящее время. Третий смысл понятия «гуманизм» менее формален, в меньшей степени укоренен в традиции исторического использования самого термина и значительно хуже поддается определению. «Гуманизм» в этом смысле можно было бы перевести как человечность, а саму проблему переформулировать как «закат человечности». Речь идет о постепенном исчезновении уважения к отдельному человеку, как индивидууму, и

исчезновения чувства сострадания по отношению к ближнему, если связь с ним не основана на кровном родстве. И, наоборот, брак и деторождение – а не, например, поиск истины, творчество или милосердие – возводятся в категорию высшей истины. Любовь же к детям, так же как и отношения кровного родства, в целом, начинают восприниматься массовым сознанием как абсолютная высшая ценность, находящаяся выше любых этических ценностей или человеческих убеждений, оправдывающая многие преступления – и в определенном смысле сущностно неподсудная. Продолжая ту же тему в несколько иной плоскости, я бы хотел пересказать историю, которая мне запомнилась. Несколько лет назад одна моя знакомая, психолог по профессии, сказала мне, что восхищается праведниками мира, но не понимает их; «я бы никогда не стала прятать посторонних людей», сказала она тогда, «если бы знала, что за это моих собственных детей могут убить». По ее словам, задавшись этим вопросом, она опросила нескольких своих знакомых, и они тоже ответили отрицательно. Читатель может попытаться искренне ответить самому себе, как бы поступил он.

Эти процессы исчезновения чувства сострадания, милосердия и, своего рода, связанности с ближним моральным императивом сопровождаются процессами не менее тревожными, о некоторых из которых уже шла речь в начале этой статьи: поглощением индивидуума культурой массовой коммерции и развлечений, увеличивающимся разрывом между специальными знаниями и общей эрудицией, этикой повседневной равнодушной жестокости. Действительно, система образования все в меньшей степени дает индивидууму общие знания и, хотя бы теоретически, способна создать относительно широкий личный кругозор. Вместо этого, она создает иллюзию свободного развития индивидуума, которое фактически осуществляется с помощью подражания образцам массовой культуры, и иллюзию возможности найти любую необходимую информацию с помощью средств электронного поиска, в то время как, на поверку, найденная фрагментарная информация обычно оказывается бесполезной вне отсутствующего контекста общих знаний, а электронные информационные средства, главным образом, служат целям развлечения и социализации. Общее снижение уровня и качества общественного дискурса, как на уровне политиков, так и на уровне медиа, уже не может не

бросаться в глаза. В результате, в большинстве случаев, в результате новых навыков чтения и ощутимой потребности к изложению, которое укладывалось бы в несколько предложений, аргументация и анализ фактических данных заменяется короткими и легкими для запоминания лозунгами. Наконец, в последние десятилетия обострилась проблема репрезентаций жестокости: как государственного насилия в отношении индивидуума, так и массового присутствия насилия в новостях, телесериалах и видеоиграх. Более того, по прошествии времени и по мере привыкания растет порог насилия, необходимого для возбуждения зрителя, и в последние годы новости и сериалы все чаще выводят на передний план образы насилия в натуралистических, а часто и крайних, формах, включая отрубание голов, убийства детей, изнасилования и даже сдирание кожи. В целом, как кажется, по крайней мере на первый взгляд, все это свидетельствует о постепенном исчезновении как человечности, как модальности миропонимания и чувства, так и человека, как индивидуума с социальной и культурной точки зрения.

И все же эта картина кажется мне крайне односторонней, а приведенные выше аргументы – убедительными только в отрыве от исторической перспективы. Сколь бы много и часто, для развлечения и устрашения своей невежественной аудитории, массмедиа не педалировали действительные насилия и зверства, которые происходят на Ближнем Востоке в последние десятилетия, так же как и европейские теракты недавнего времени, при более трезвом рассмотрении очевидно, что количество убитых даже отдаленно не приближается к числу жертв двух мировых войн, Семилетней войны или Тридцатилетней войны – в результате которой, как принято считать, погибла приблизительно треть жителей Священной Римской империи. Не только девочки с ножницами, несколько месяцев назад приведшие в такое неистовство израильского обывателя, но даже публичное отрезание голов убийцами из ИГИЛа не идут ни в какое сравнение с чудовищными преступлениями, совершенными европейцами на протяжении всего Нового времени, как на территории самой Европы, так и в колониях. А это, в свою очередь, означает, что европейский гуманизм, хотя и не был иллюзией или фантомом, но не был и социальным фактом; скорее он был проектом, во многом устремленным в будущее, во многом утопическим, существовав-

шим на фоне ужасов и изуверств фактической истории. Аналогичным образом, даже на пике широкого гуманистического образования образца девятнадцатого и начала двадцатого века, возможность получения этого образования существовала для небольшого привилегированного меньшинства на фоне огромного неграмотного и молчащего большинства. Участью же большинства была, главным образом, бедность, изматывающий труд, невежество и почти полное отсутствие медицинской помощи. Это самые простые исторические истины – но, вероятно, именно поэтому про них так удобно забывать.

Впрочем, и недолгий «век джентльменов» быстро подошел к концу. Уже в начале двадцатого века Ортега-и-Гассет писал о постепенном захвате «массовым человеком» все новых аспектов общественной, политической и культурной жизни. Латынь и греческий оказались плохим утешением в траншеях и во время газовых атак. Если же говорить о более позднем времени, то почти все классики критической мысли в философии, социологии и социальной психологии писали о стремлении индивидуума, созданного двадцатым веком, слиться с автоматизированным обществом, об огромной власти коммерческой и массовой культуры, об «индустрии культуры» и производстве массового сознания. Это стремление сыграло огромную роль в становлении общества потребления североамериканского образца и того, что Ги Дебор называл «обществом спектакля». Аналогичным образом, стремление индивидуума к слиянию с массами, а также массовая пропаганда, сыграли значительную роль в появлении и становлении европейских тоталитарных и авторитарных режимов первой половины двадцатого века. Говорит ли это об исчезновении проекта западного гуманизма? Я думаю, что нет; часть наиболее значимых для гуманизма книг была написана именно в это время. В то же время это означает, что гуманизм никогда не был данностью, наличной социальной ситуацией; он был – и, вероятно, остается – позицией, которую можно занять или отвергнуть, приняв существующее как неизбежное.

Означает ли сказанное выше, что на более сущностном уровне ничто не изменилось, и что разговоры о кризисе гуманизма не имеет под собой основания? Или, наоборот, что мир социальных сетей, ИГИЛа, покемонов и мечтаний о говорящих пылесосах все-таки является миром «транс-гуманизма», в котором дальнейший

разговор о гуманизме лишен осмысленного содержания? Говоря на языке культурологии, идет ли речь об «эпистемологическом разрыве» или «эпистемологической континуальности»? Мне кажется, что в свете сказанного выше любое обобщение было бы неуместным, а понимание обеих сторон проблемы необходимым образом дополняет друг друга. Вероятно, несмотря на все технологические различия, нынешняя ситуация отличается от ситуации тридцатых или шестидесятых лишь частично, и не во всех своих основаниях. Так, как уже было сказано, если коммерческая культура, по-видимому, действительно подчиняет себе все больше областей культурной и практической деятельности, то виртуальное насилие в средствах «массовой информации» все же не приближается к масштабам массовых убийств и зверств не только времен Второй мировой войны, но даже войны во Вьетнаме. Более того, не только Биафра и Вьетнамская война, Красные кхмеры и южноамериканские диктатуры, но и Вторая мировая война, Холокост и ГУЛАГ, произошли слишком недавно для того, чтобы их можно было отместить как преодоленное страшное прошлое человечества, не имеющее отношения к проблемам нынешнего гуманизма, и полностью сосредоточиться на отупляющих эффектах социальных сетей или ловли виртуальных монстров. Действительно, читательские привычки и практики претерпели радикальные и разрушительные изменения, книгоиздание находится в глубоком кризисе, свободная мысль ценится как никогда низко, общее образование в упадке, а вера в бескорыстие утрачена; наконец, все большие сегменты общества уже не разделяют идеалов справедливости и милосердия по отношению к индивидууму. Семья возведена в объект культа, а вместе с ней объектом культа снова становится нация. Но и такие ситуации уже бывали в прошлом, а идеалы человечности, провозглашенные в последние несколько десятилетий, на самом деле, на практическом уровне были реализованы в относительно ограниченных масштабах и были фактически исключены из многих социальных, политических и военных практик.

Если гуманизм не является достигнутым состоянием культуры, но не является и навсегда утраченным прошлым, то что же значит быть гуманистом в нынешней культурной ситуации, и какое отношение все это имеет к литературе? Для полностью аргументиро-

ванного ответа на этот вопрос мне бы пришлось совершить развернутый экскурс по значительной части нашей науки, а обсуждение самого ответа отложилось бы на десятки страниц. Когда-то я уже пытался совершить подобный экскурс в относительно компактной и доступной форме, и именно к нему мне кажется разумным переадресовать читателя¹. Сейчас же я попытаюсь сказать несколько самых кратких слов про ту его часть, которая имеет непосредственное отношение к обсуждаемой проблеме. Аналитическое знание, доступное современной культурологии, говорит о том, что человеческое сознание, личность, мысли, желания и поведение сформированы значительным количеством самых разных культурных содержаний, структур, функций и процессов, имеющих различную природу, находящихся на разных уровнях общности, сложным образом накладывающихся друг на друга и друг с другом взаимодействующих. Значительная часть этих культурных содержаний и процессов находятся ниже уровня сознания, и, таким образом, практически не выявляются с помощью интроспекции. Иначе говоря, мы знаем, что мы сформированы этими культурными содержаниями и процессами, но знаем это не за счет самонаблюдения и самоанализа, которые в этом смысле почти бесполезны, но благодаря сложным методам косвенного культурного анализа. На разных исторических этапах власть над индивидуальным человеком может осуществляться и в большей степени путем прямого принуждения, с помощью армии, полиции и судов, и с помощью формирования личности, желаний и поведения индивидуума за счет модифицирования этого чрезвычайно сложного и взаимосвязанного комплекса культурных содержаний, структур и процессов.

И все же в этом только половина правды. В отличие от большинства физических объектов, человек недетерминирован даже всей совокупностью этих культурных процессов и содержаний. Никому и никогда не удавалось показать, что, например, «Гамлет» предопределен совокупностью культурных содержаний, структур и процессов елизаветинского времени, как бы внимательно мы их

¹ Денис Соболев. Культура и бессознательное // Фундаментальные проблемы культурологии. Т.5 Теория и методология современной культурологии. СПб: Новый хронограф, Эйдос, 2009, С. 86–118.

(<http://www.culturalnet.ru/main/person/709>)

ни изучали и как бы хорошо мы их ни знали. Почти все они находят выражение в шекспировских пьесах – иногда почти прямое, иногда чрезвычайно опосредованное – но не определяют их. Повторяя то же самое на более общем уровне, можно сказать, что не менее базисным фактом, нежели сложное и, в основном, бессознательное культурное конструирование индивидуума, является факт свободы. Иначе говоря, человек способен к выбору. Более того, почти в любой культуре постархаического общества спектр тех содержаний и процессов, о которых шла речь выше, столь велик, что для индивидуума существует достаточно широкое поле выбора как в плоскости мысли и веры, так и в области ценностей и чувств. Это верно и в отношении современной культуры. С одной стороны, цельная индивидуальность личности иллюзорна; она является продуктом множественных содержаний и процессов, находящихся ниже порога сознания. Более того, по мере развития культуры европейского Нового времени, власть над индивидуумом все больше осуществлялась за счет именно этих содержаний и процессов, формирующих личность, мировосприятие и желания, а не за счет прямого подавления машиной государственного насилия. В современной культуре именно такое использование механизма власти является центральным. Для индивидуального человека подобная ситуация сохраняет субъективную иллюзию индивидуальной свободы.

И все же свобода существует и не является иллюзией – но это не «свобода самовыражения» и не иллюзия «спонтанного» поведения, а свобода осознанного выбора. Это понимание, в свою очередь, позволяет попытаться ответить на вопрос, что значит оставаться гуманистом – и человеком – в нынешней культурной ситуации. Это значит попытаться убить в себе робота или, обращаясь к более современным метафорам, попытаться убить в себе смартфон – и попытаться помочь сделать то же самое окружающим. Попытаться – не значит убить. Механизмы культурного конструирования индивидуума невозможно не разрушить, на «обесточить». И все же в человеческих силах попытаться приподняться над ними в акте осознанного выбора своей жизни и ее целей, в акте выбора свободы и человечности, ценностей и личностного осознания, в акте отказа от автоматизма и коллективных мифологий. Очень многие из тех изменений, о которых шла речь в этой статье, в современном мире служат все более сложным и

совершенным механизмами культурного конструирования личности, ее мыслей и желаний: от рекламы до социальных сетей, от потока технологических новшеств до культа тела, как вещи. Наверное, именно поэтому эти изменения так часто создают интуитивное ощущение конца классического гуманизма.

Но в культуре есть и другое. Разумеется, литература, как и личность, является продуктом сложного взаимодействия различных культурных содержаний, структур и процессов в их исторической определенности; однако, парадоксальным образом, она же является и пространством свободы, которое может позволить человеку приподняться над этой чрезвычайно сложной системой культурных детерминаций. Именно такой дестабилизации личности и функции личности в обществе боялся уже Платон, когда в «Государстве» он требовал изгнать поэтов из своего идеального государства. Литература – и, возможно, искусство, в целом – дает человеку возможность заглушить в себе машину. И снова: заглушить, не значит уничтожить; возможность – не значит, что обязательно так в большинстве случаев должно происходить. И все же именно эта возможность охватывает широчайшее разнообразие литературных текстов. Каким образом это становится возможным? Это сложный вопрос, и у меня нет на него простого ответа. На заключительных страницах этой статьи я попытаюсь очертить контуры нескольких основных аналитических ответов. Я оставляю эти ответы контурными вполне сознательно; мне кажется, это те вопросы – возможно самые серьезные вопросы литературной саморефлексии в нынешний культурный момент – над которыми мы все должны продолжать думать.

Среди тех ответов, или, точнее, компонент более сложного ответа, о которых мне хотелось бы сказать несколько слов, нет очевидной иерархии, так же, как мне кажется, и нет очевидного отношения логического следования. Тот порядок, в котором я их располагаю, связан как с необходимостью отделить эти компоненты друг от друга для более ясного видения каждой из них, так и с простой «дидактической» целью более последовательного изложения. Это аналитическое различение не означает, что сложность литературного произведения «разложима» на какие-то более простые – онтологические, эпистемологические или этические компоненты – но всего лишь, что, как кажется, нам проще увидеть и

понять каждый аспект в отдельности, сосредоточив взгляд именно на нем. В области теории литературы на протяжении долгого времени существовало стремление к некоторой тотальной теории, которая объяснила бы суть литературной деятельности и ее роль в человеческой жизни. В последние десятилетия стало достаточно ясным, что такая теория и невозможна, и нежелательна. У нас нет единой теории, которая объяснила бы все аспекты булыжника, лежащего на обочине дороги и поросшего мхом. Но человек очевидно значительно сложнее булыжника, и нет никаких причин, по которым его можно было бы объяснить единой простой теорией. В еще больше степени это можно сказать про литературу, несомненно являющуюся одним из высших достижений человеческого духа: я не вижу никаких причин, по которым она могла бы оказаться проще булыжника на дороге и, соответственно, оказаться анализируемой в более простых терминах. Поэтому, не пытаясь связать их воедино в рамках единого, сущностно-ориентированного, высказывания я попытаюсь обратиться именно к частичным аспектам значимости литературных произведений и практик.

Значительную часть тех особенностей литературных произведений, которые мне кажутся особенно значимыми в современной культурной ситуации, можно отнести к общей категории «особого онтологического содержания в эпистемологическом преломлении» – говоря проще, речь идет об особой способности литературы помочь нам лучше увидеть и понять окружающий мир. Один из классиков послевоенного американского литературоведения, Уимсатт, когда-то обозначил особую форму литературного познания реальности, как ориентацию на «конкретное универсальное». Несмотря на то, что в этом утверждении есть несомненный парадокс, его целью не является упражнение в парадоксальной мысли. На самом деле, мысль Уимсатта достаточно проста. Большая часть наук – от теоретической физики до когнитивной психологии – стремятся понять общие закономерности человека и окружающего мира, используя абстрактный и обобщенный аналитический язык. Соответственно, ученый напишет о законе гравитации, а не о том, что сегодня утром у моего соседа по ошибке упала со стола ложка. Иначе говоря, речь идет о стремлении говорить об универсальном на языке общего. В отличие от ученых, большинство людей, которые звонят нам по мобильному телефону, когда они оказались в пробке и им нечем заняться, рассказывают именно о

том, как они поругались утром с женой, пошли в супермаркет или что именно их знакомые прислали среди того словесного и визуального мусора, которым ежедневно наполняются наши электронные почтовые ящики. Об этом же обычно пишут и пользователи социальных сетей. Это конкретное на языке конкретного.

Особая способность литературы заключается в ее способности говорить об общем на языке конкретного. История философствующего датского принца, чей дядя убил его отца, – это чрезвычайно конкретная история. На личном, так сказать, экзистенциальном уровне я не знаком ни с одним философствующим датским принцем и ни с одним человеком, чьего отца убил его дядя. В этом смысле я должен быть равнодушен к этой истории еще в большей степени, чем к проблеме йогуртов, которые купил или не купил утром мой застрявший в пробке знакомый, а также к проблеме того, что этому знакомому нечем себя занять, кроме поисков очередной жертвы для звонка по мобильному телефону. В то же время, парадоксальным образом, из чрезвычайно «конкретной», практически идиосинкретической истории, на первый взгляд, рассказывающей о семейных сложностях несуществующего датского принца, мы способны узнать больше о человеческой душе, поведении и отношениях, чем из целого шкафа книг по прикладной психологии. Более того, если большинство этих книг устаревают за несколько лет, мы все еще способны читать про Гамлета или Джульетту, Электру или Одиссея – и начинать видеть мир иначе. Эта способность литературы кажется мне крайне важной, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, она позволяет говорить о сложном, не стараясь сделать его логически гладким и консистентным. Действительно, от научных утверждений мы обычно ждем внутренней логической стройности. Литература же позволяет говорить о мире, не пытаясь сделать его чрезмерно понятным, сохраняя его непоследовательность, непрозрачность, темноты, случайность, а часто и абсурдность. Если верно то, что было сказано в начале статьи о потере современным миром иллюзии понятности, эта способность литературы говорить о сложном, не сводя его к последовательному, становится особенно актуальной. То, что говорилось о нарастающем темпе изменений, добавляет к этому дополнительное измерение. Если темп нынешних изменений мира таков, что мы уже не способны системно осмыслить их значение и последствия для человеческой

жизни, литература – эта та призма, которая может помочь нам всматриваться в этот меняющийся, становящийся мир в его конкретности и фактичности, в его деталях, помочь лучше его увидеть, оказаться способным глубже про него думать и иначе осознать свои чувства по отношению к нему.

При обсуждении второй особенности литературного письма мне снова придется совершить краткий экскурс в историю вопроса. Некоторые классики девятнадцатого и начала двадцатого века, включая Кольриджа и Бергсона, писали о том, что в результате рационализации мышления и автоматизации человеческого существования человек лишился непосредственного контакта с миром вещей, он скорее скользит по своему существованию, нежели проживает его. Согласно им, литература способна вернуть человеку материальность мира. «Сделай его новым», писал Эзра Паунд. В свою очередь, Шкловский задался значительно более конкретным вопросом о том, как именно, каким образом, какими средствами, литература оказывается способной достичь этих целей, вернуть вещи «вещность»; так появилась знаменитая теория «остранения». В свое время я уже пытался писать о том, что на еще более базисном уровне находится проблема, не связанная напрямую с процессами автоматизации и бюрократизации времен индустриализации: сам базисный опыт человеческого существования в мире, в значительной степени, теряется при его предикативном выражении и описании. Соответственно, значительная часть литературы, и особенно поэзии, способна сделать обратное – сохранить и передать этот базисный «до-предикативный» опыт, и, более того, сделать его доступным опосредованному переживанию, пониманию и дальнейшему осмыслению. В нынешней ситуации обе эти способности кажутся мне чрезвычайно важными. Современный человек затоплен стандартизированными высказываниями и образами: «личными» высказываниями в социальных сетях и миллионными повторами политической пропаганды, фотографиями себя на фоне Эйфелевой башни, фотографиями свадеб и собственных детей, обсессивно навязываемых окружающим, детективами и семейными мелодрамами, сериалами из бесчисленного количества неразличимых серий, интернет-кошечками и интернет-закатами. Ниже этого наиболее видимого пласта информационного «белого шума» находятся многочисленные, сложные, неосознаваемые процессы, конструирующие личность, ее

мысли и желания, о которых шла речь выше. Дать человеку возможность «приподняться» над всем этим огромным миром автоматизаций, стандартизированных высказываний, визуализаций и поступков является, как мне кажется, одной из важнейших задач современного гуманизма, позволяющих сохранить человечность человека. И это одна из тех возможностей, которые находятся в распоряжении литературы и писателей.

Третья компонента связана с самой природой воображаемого. Бодрийяр когда-то писал о том, что реклама, как совокупность деятельности, направлена не только на продажу определённых товаров (например, того или иного сорта стирального порошка), но в не меньшей степени на утверждение самого мира товаров и продаж в качестве природы реального. Человек работает, чтобы производить товар, а на заработанные деньги скупает товар и развлекается; впрочем, продаваемые развлечения просто являются еще одной формой товара. На то же самое можно посмотреть и совсем с другой стороны. Когда-то еще Маркузе писал о том, что римляне голливудских фильмов – это просто американцы, переодетые в другую одежду, воссозданную с большей или меньшей степенью достоверности. Настоящее полностью поглотило инаковость истории, чуждость прошлого. Несмотря на все различия, в обоих случаях на более глубоком уровне речь идет о похожих культурных явлениях: для успешного функционирования тотальности социокультурного механизма существующее сейчас должно восприниматься в качестве самой реальности. То, что есть, то и было, то и будет всегда, да иначе быть и не может, потому что такова «человеческая природа» и, более того, такова сама «природа реального». Однако воображаемый мир, само литературное воображение, способно разрушить эту иллюзию фактически существующего как «единственно реального». Разумеется, это происходит не всегда. Так, в целом, книги о Гарри Поттере просто переносят существующий социальный мир в мир магии. А вот «Властелин колец», наоборот, ставит под сомнение не только необходимость подчиняться существующему социальному миру, в качестве единственной экзистенциальной возможности, но и его ценность. То же самое верно и в отношении «Одиссеи», и в отношении «Дон Кихота», и в отношении «Войны и мира», и в отношении средневековой китайской поэзии. Если мир уже был другим, то он может быть другим; если он мог быть другим в прошлом или

может быть в будущем, то он может быть другим и для меня сейчас. Существующий социальный порядок перестает быть тотальностью, которую надо принять и которой надо подчиниться. И в этом смысле тоже, само существование литературы – это пространство свободы.

То же самое верно и в отношении мысли, и в отношении чувств, и в отношении самой эстетической стороны литературного творчества. Разумеется, как уже говорилось, литературные тексты, как и любые другие, часто воспроизводят мировосприятие, образы мысли и чувств, ценности и нормы, господствующие в период их написания, – те самые механизмы культурного конструирования как индивидуума, так и практически любого текста. Более того, эти ценности и нормы могут быть подчинены далеко не гуманистическим ценностям и элементам культурных традиций. И все же само это разнообразие литературных миров, их образов бытия, мыслей и чувств, ими высказанных, уже отрицает узкую безвариативную тотальность современного восприятия и массового сознания. Глубинное, эмпатическое понимание другого, будь то даже вымышленный литературный герой, способно противопоставить отношения человечности и милосердия господствующим формам социального отчуждения, нормативного эгоизма и виртуального существования. Острое переживание эстетической стороны – будь то преувеличенная эстетическая гармония неоклассицизма или подчеркнутая дисгармония модернизма – в любом случае является значимой альтернативой хаотическому миру стандартизированных высказываний и коммерциализированных образов.

Человек, видящий разнообразие возможного существования, способный всматриваться в мир в его деталях и в его крайней сложности по ту сторону бесчисленно тиражируемых клише, иначе думать о человеке и о природе человеческой жизни, способный переживать широкое разнообразие чувств не из числа тех, которые навязываются ему коллективной социализацией, способный вообразить «иное», вообразить мир не как мир товара и семьи, способный почувствовать любовь другого и страдание другого, а значит и сострадание, способный пережить гармонию и дисгармонию искусства как личную значимую реальность, – как мне кажется, такой человек уже не является ни роботом, ни смартфоном. Такова, пожалуй, основная цель гуманизма в современном мире. В этом смысле, так же как и в прошлые века, гуманизм остается,

в первую очередь, «проектом» и избранной личной позицией. Может ли литература помочь в ее реализации? Как я попытался показать, литература служит так поставленной цели современного гуманизма, пожалуй, больше чем что бы то ни было другое. Достойна ли эта цель того, чтобы за нее бороться? Я думаю, что да. Достойна ли она того, чтобы бороться за нее даже тогда, когда мы не знаем, сколько у нас будет читателей, кто и по каким причинам нас будет читать, будут ли читать нами написанное стоя в пробке или проглядывая экран по диагонали? Я думаю, да – потому что литература все еще остается одним из тех немногих пространств, нахождение в котором заставляет человека в большей степени быть человеком, даже если это и происходит всего лишь на одну минуту.

СТИХИ И СТРУНЫ:

Раздел “Стихи и струны” можно увидеть на сайте журнала:
<http://www.sunround.com/club/journal.htm>

Сведения об авторах:

Дина Рубина – писатель, живет в горах под Иерусалимом.

Анна Файн – каббалистка из Бней-Брака. Автор книги прозы, колумнист в еврейских журналах.

Алина Загорская – журналист, прозаик, живет в Тель-Авиве.

Марта Кетро – писатель, блогер, колумнист, автор двух десятков книг. С декабря 2014 года живёт в Тель-Авиве.

Афанасий Мамедов – автор двух романов и нескольких книг прозы, выпускающий редактор журнала «Лехаим», лауреат многих литературных премий. Живет в Москве.

Григорий Розенберг – архитектор, автор стихов и прозы, живет в Петах-Тикве.

Давид Маркиш – писатель, лауреат израильских и международных литературных премий. Первая книга вышла в 1957 году. В Израиле с 1972 года.

Яков Шехтер – писатель, автор 18 книг прозы, колумнист, счастлив в большом Тель-Авиве.

Катя Капович – автор девяти поэтических книг на русском языке и двух на английском, лауреат многих литературных премий, живет в Кембридже (США).

Юлиана Новикова – автор двух поэтических книг, в 2004 году вместе с мужем, поэтом Денисом Новиковым переехала в Израиль, живет Беэр-Шеве.

Ирина Маулер – блондинка, пишет песни, картины, рассказы, а если повезет, и романы. Живет в Беэр-Яакове.

Феликс Чечик – автор нескольких поэтических книг, лауреат «Русской премии» за 2011 год, в Израиле с 1997 года.

Борис Херсонский – поэт, эссеист, переводчик. Клинический психолог. Автор многочисленных стихотворных сборников, отмеченных международными премиями. Живет в Одессе.

Михаил Сипер – автор пяти поэтических сборников, стихи переводились на английский, иврит, норвежский и болгарский. С 1991 года живет в кибуце Кфар Масарик (Израиль).

Александр Елин – поэт, причастный к созданию многих известных рок- и поп-гимнов. политический копирайтер и кинообозреватель. Живет в Москве.

Ханох Дашевский – один из руководителей подпольного литературно-художественного семинара «Рижские чтения по иудаике». С 1988 года живет в Иерусалиме.

Игорь Губерман, поэт, автор сатирических четверостиший – «га-риков». Живет в Иерусалиме.

Давид Шехтер – журналист, пресс-секретарь Еврейского агентства Сохнут. Живет в Ришон-ле-Ционе.

Михаил Сидоров – историк, публицист. Живет в Азоре.

Яков Нелькин – инженер, публицист. Живет в Тель-Авиве

Эдуард (Авраам) Бормашенко – профессор кафедры химической технологии Ариэльского университета. Живет в Ариэле.

Денис Соболев – писатель, филолог и историк культуры, профессор кафедры ивритской и сравнительной литературы Хайфского университета. Живет в Хайфе.

ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ:

Яков Шехтер

Михаил Юдсон

Ответственный секретарь:

Михаил Сидоров

Редколлегия:

Ирина Маулер, Ирина Морозовская, Эдуард Бормашенко,
Денис Соболев, Давид Шехтер

Сайт журнала:

<http://www.sunround.com/club/journal.htm>

Фейсбук:

<https://www.facebook.com/TelAvivskijSetevojZurnalArtikl>

Электронный адрес редакции:

articreda@gmail.com

